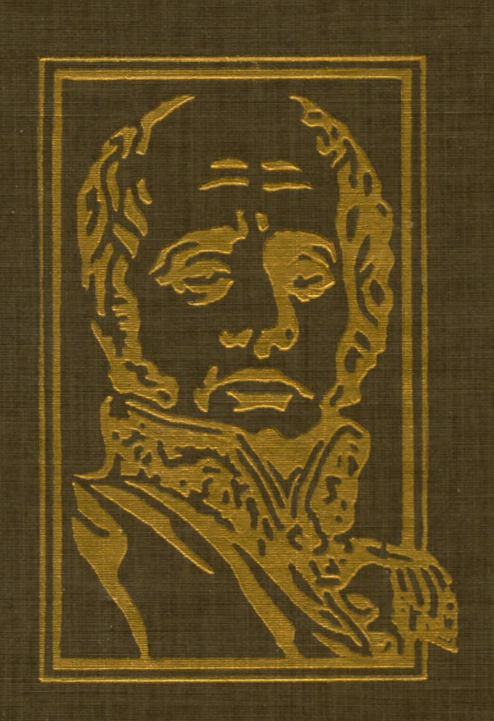
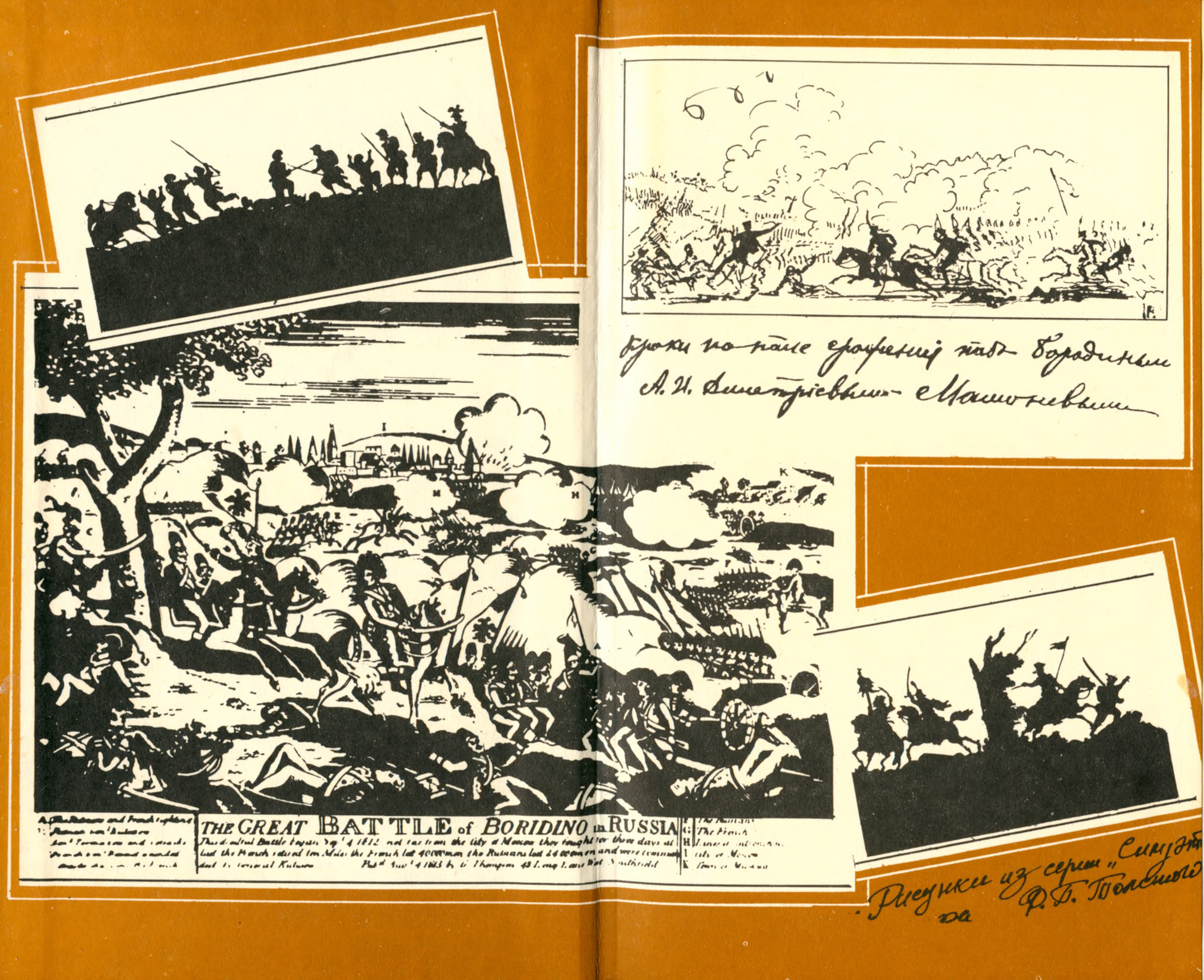
А.Г. Тартаковский · Неразгаданный БАРКЛАЙ

А.Г. Тартаковский



Неразгаданный Барклай

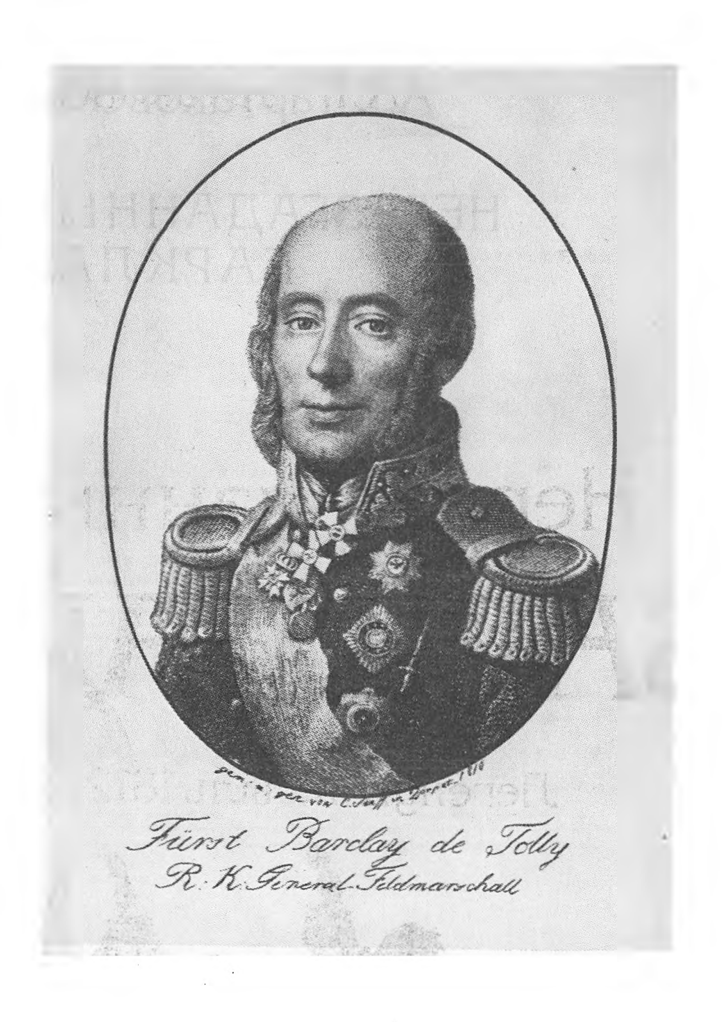


Эскизы на поле сраженія подъ Бородинымъ А. И. Дмитріевымъ-Мамоновымъ

Рисунки из серии „Силуэты" Ф. П. Толстого

А. Г. Тартаковский

НЕРАЗГАДАННЫЙ БАРКЛАЙ



Михаил Богданович Барклай де Толли.

Гравюра К. Зенфа. 1816г. ГИМ

А. Г. Тартаковский

Неразгаданный
БАРКЛАЙ

Легенды и быль 1812 года



АРХЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ББК 63.3(2)47
Т 19

Рецензент:

кафедра вспомогательных исторических дисциплин
Историко-архивного института Российского
государственного гуманитарного университета
(зав. кафедрой профессор В.А. Муравьев)

Тартаковский А.Г.

Т19 Неразгаданный Барклай. Легенды и быль 1812 года. — М.: Археографический центр, 1996. — 367 с.

ISBN 5–037–86169–5

Величественная и трагическая фигура замечательного русского полководца М.Б. Барклая де Толли долгое время была окружена атмосферой ожесточенных споров, мифических домыслов и легенд. Во многом загадочной она остается и поныне. В книге восстанавливается реальный облик и роль Барклая в военно-политической ситуации 1812 г., выявляется истинный масштаб и механизм возникновения гонений на него в армии и обществе, рассказывается о борьбе полководца за свою реабилитацию перед общественным мнением России. Перед читателем проходят многие исторические персонажи того времени.

Т $\frac{0505010000\text{-}034}{8ДО(03)\text{-}96}$ без объявления

ББК 63.3(2)47

ISBN 5–037–86169–5

Вступление в тему

Имя Михаила Богдановича Барклая де Толли навеки сплелось с исполненным трагических впечатлений отходом русской армии в 1812 г. в глубь страны. Борьба различных общественных сил вокруг его отступательной стратегии составила один из центральных «узлов» политической жизни России той эпохи, нашедших глубокий отзвук в русском обществе последующего времени.

Между тем об этом историческом «узле» 1812 г. мы знаем сравнительно мало. Предшествующая историография Отечественной войны занималась собственно военными и дипломатическими ее аспектами, причем главным образом тем периодом, который был связан с М.И. Кутузовым и ознаменован шумными и внушительными победами русского оружия, партизанским движением, преследованием отступавшей французской армии, а также московскими событиями 1812 г. и пожаром древней столицы. Но военно-общественные устремления первых месяцев кампании, в пору наивысшего национального напряжения, когда впервые за 200 лет Россия снова оказалась на грани государственного существования, были явно обойдены вниманием историков.

Такое положение вещей во многом было обусловлено тем, как вообще складывалась судьба Барклая в русском общественном мнении.

Опала, постигшая его в 1812 г., отбросила тень на всю оставшуюся его жизнь и наложила тяжелую печать на посмертное восприятие его облика. Вероятно, ни один другой крупный русский полководец нового времени не был окружен таким плотным туманом пристрастных слухов и документально не подтвержденных суждений, иногда чисто легендарного свойства, не изжитых в общественном сознании и по сию пору. Недаром военный историк А.Т. Борисевич еще в год столетнего юбилея Отечественной войны отмечал широкое распространение о Барклае всякого рода «вообразительных сказаний, догадок и толков»[1]. Его имя было, в сущности,

мифологизировано не только в массовых исторических представлениях, но даже в воспоминаниях самих участников событий.

С наибольшей остротой драматизм судьбы Барклая запечатлелся в знаменитом стихотворении А.С. Пушкина «Полководец» и в вызванной им жаркой полемике середины 1830-х годов. Далее мы еще коснемся этого важного эпизода, пока же отметим, что в нем как бы скрестились две тенденции истолкования облика Барклая. Одна была представлена самим пушкинским стихотворением. Непревзойденное по поэтическому совершенству и идейной глубине, оно оставило неизгладимый след в критике, публицистике, художественном творчестве, в обыденных воззрениях последующих поколений. Ведь и поныне, как только заходит речь о Барклае, в памяти любого мало-мальски образованного человека прежде всего всплывают чеканные строки «Полководца». Причем с особой силой пушкинское стихотворение воспринималось в периоды оживления передовой общественно-исторической мысли. Например, на рубеже 1850—1860-х годов, когда на волне демократического подъема вновь пробудился интерес к Отечественной войне, возродилось и пушкинское истолкование «величавой личности» Барклая, с которым «соединяются понятия о герое в истинном смысле этого слова» — им по праву «может гордиться наше отечество»[2].

Другая тенденция — стойкое предубеждение к Барклаю, восходящее не только к ожесточенным военным спорам 1812 г. с их резко выраженной национальной окраской, но и еще к предвоенной поре — к необычным для той эпохи обстоятельствам его возвышения, как они воспринимались военно-аристократическими верхами.

Предки Барклая из старинной шотландской фамилии еще в середине XVII в. переселились в Ригу, присоединенную в 1710 г. к России, были записаны в городское сословие и дворянство получили лишь вследствие личной выслуги. Не имея титулов и влиятельных покровителей, Барклай совершил свою карьеру благодаря громадной воле, упорному самообразованию, незаурядной храбрости и военным дарованиям. Участник едва ли не всех войн, которые вела Россия в последней четверти XVIII — начале XIX в., он получил генерал-майорский чин после 22-летней беспорочной офицерской службы и, пребывая до 50 лет в полной неизвестности, неожиданно прославился в

кампании 1806—1807 гг. как один из искуснейших русских военачальников[3]. Имя Барклая вновь прогремело в войне со Швецией, после легендарного похода в 1809 г. через Ботнический залив (современники уподобляли его даже переходу Суворова через Альпы).

В войнах начала века с их кровопролитными сражениями и изнурительными маршами, всегда на виду войск, Барклай снискал неподдельное уважение офицерского корпуса и солдатской массы. Вот характерная зарисовка облика полководца, данная непосредственно наблюдавшим его в Финляндии Ф.В. Булгариным: «Барклай де Толли создан был для командования войсками. Фигура его, голос, приемы, все внушало к нему уважение и доверенность. В сражении он был так же спокоен, как в своей комнате или на прогулке. Разъезжая на лошади шагом, в самых опасных местах он не обращал внимания на неприятельские выстрелы и, кажется, вполне верил русской солдатской поговорке: пуля виноватого найдет. 3-й Егерский полк обожал своего старого шефа, и кто только был под его начальством, тот непременно должен был полюбить своего храброго и справедливого начальника». Так же отзывались о нем позднее и его явные недоброжелатели. Как вспоминал, например, Д.В. Давыдов, «изумительным хладнокровием, невозмутимым мужеством и отличным знанием дела» он внушил «нашим солдатам пословицу: поглядя на Барклая, и страх не берет». «По благородному характеру и по доброте сердца его отменно любили в армии»,— свидетельствовал А.И. Михайловский-Данилевский[4].

С редкой для устоявшихся в России обычаев военного чинопроизводства быстротой — всего за два года (с марта 1807 по февраль 1809 г.) Барклай проделал путь от младшего генерал-майорского чина до «полного» генерала, по завершении Шведской кампании был определен главнокомандующим Финляндской армией и генерал-губернатором Финляндского края. Менее чем через год он занял должность Военного министра, внеся выдающийся вклад в подготовку к войне с Францией и в преобразование военного управления в России[5].

Стремительным своим возвышением Барклай, по словам А.П. Ермолова, «не только возбудил против себя зависть, но приобрел много неприятелей»[6]. Первый взрыв недовольства вспыхнул в связи с производством Барклая в 1809 г. в генералы от инфантерии. Инициатива

исходила от ряда военачальников, превышавших его чинами, должностями и наградами (к тому же отпрысков старинных русских дворянских родов), у которых в прежних кампаниях Барклай был в подчинении. Сочтя себя обойденными, они подали в знак протеста в отставку, и конфликт был еле улажен после вмешательства Александра I[7].

Жесткими мерами по наведению порядка в армейских делах Барклай восстановил против себя видных сановников из военного ведомства. Проводя свои преобразования на началах неукоснительно строгой дисциплины, но вместе с тем и уважения к солдатам, поддержания в них сознательного патриотизма и человеческого достоинства, он болезненно задел интересы военной бюрократии, насаждавшей «прусскую» систему воспитания войск.

Не последнюю роль в отношении к Барклаю правительственных верхов играли и некоторые черты его характера, поведения. Внутренне ощущая, видимо, прерванную связь со своим древним шотландским родом, он держался порой с гордым и суровым отчуждением, в житейских и деловых обстоятельствах был независим и холоден с окружающими, но главное, пренебрегал нормами придворной жизни («неловкий у двора», как удачно подметил это А.П. Ермолов[8]). Барклай не был царедворцем, чурался искательства среди приближенных к правящей династии особ и всем складом своей биографии и своим обликом воспринимался и старинной военной знатью, и новоявленной аристократией как лицо, выдвинувшееся случайно и незаслуженно.

Нечего и говорить, что такая «социальная репутация» сильно воздействовала на отношение к Барклаю в определенных общественных кругах и впоследствии.

Обросшая предрассудками, ксенофобская по своим социально-психологическим истокам тенденция предубеждения к полководцу давала себя знать всякий раз, как в обществе пробуждались националистические или патриархально-консервативные умонастроения. Естественно, что она находила поддержку прежде всего в официозной, казенно-патриотической среде, вызывая несогласие и споры со стороны передовых общественных течений. В этом отношении весьма показательна, например, позиция в оценке Барклая, занятая А.И. Тургеневым — яркой фигурой либеральной дворянской

интеллигенции 20—40-х годов XIX в. В письме к брату, Н.И. Тургеневу, от 21 сентября 1839 г. он осуждает за пристрастие и едва ли не за подлость известного тогда военного историка дворянско-монархической ориентации Д.П. Бутурлина, который в своем труде о 1812 годе только потому «против Барклая... что его имя не русское». Это был именно тот Бутурлин — впоследствии, в конце 1840-х годов глава приснопамятного цензурного комитета,— о котором декабрист С.Г. Волконский писал в своих записках, что он «взялся быть всеобщим историком русских войн, но из всего, что читано мною его творений, вот мое заключение: курил фимиам, кто еще жив и в силе, а падших не помнил и иногда чистые заслуги *других* порочил из вида лести к другим»[9].

Отчетливее всего эта тенденция проявлялась в регенерации пресловутой антитезы «Кутузов — Барклай», по которой он низводился до положения посредственного и незадачливого генерала-иностранца, неспособного к самостоятельным решениям и разумным стратегическим действиям, органически чуждого национальным интересам страны.

Такой, в сущности, точки зрения на Барклая придерживался в 60—70-х годах прошлого века близкий к славянофилам историк А.Н. Попов, много сделавший для научно-критического изучения эпохи 1812 г., автор целой серии источниковедчески глубоко оснащенных исследований.

Насколько этот крупный, основательный и осторожный в своих выводах ученый был нерасположен к полководцу, следует из таких, например, его почти фантастических утверждений: Барклай, «никогда не бывший главнокомандующим, знаком был с военным управлением только на бумаге»; его пребывание в августе 1812 г. на посту главнокомандующего грозило «погибелью обеим армиям»[10].

Сходным образом изображался он и в «Войне и мире». Генезис толстовского взгляда на Барклая достаточно сложен и заслуживал бы специального разбора. Не могло пройти тут бесследно патриархально-утопическое миросозерцание писателя, определившее систему его симпатий и антипатий к историческим персонажам романа. Возможно, сказалось при этом и влияние в годы создания «Войны и мира» славянофильского окружения Толстого, и его самобытные, резко расходившиеся с

профессиональной исторической мыслью того времени воззрения на историю. Имели, видимо, свое значение и историографические пристрастия писателя. При воссоздании военно-исторической канвы своего повествования он широко использовал «Описание Отечественной войны» официального историка А.И. Михайловского-Данилевского, считая его «даровитым произведением» и наряду с «Историей Консульства и Империи» А. Тьера — «главным историческим» трудом о той эпохе. Но о Барклае в 1812 г. говорилось здесь скупо и со скрытым недоброжелательством. Между тем «История Отечественной войны» М.И. Богдановича, где фигура полководца освещалась в исторически более достоверных тонах, оценивалась Толстым крайне отрицательно — он называл ее «позорной книгой», в которой нет «ни одной собственной мысли» автора. Нельзя, наконец, сбрасывать со счета и ограниченность источников, бывших в 60-х годах XIX в. в распоряжении писателя,— множество исторических материалов, из которых можно было составить всестороннее представление о личности и военной деятельности Барклая, было опубликовано уже после завершения работы Толстого над романом.

Как бы то ни было, но в ряде его сцен и в философско-исторических рассуждениях Толстого Барклай обрисован неприязненно, с оттенком сарказма — как «непопулярный», не внушающий доверия «немец-главнокомандующий», сухой и ограниченный педант, а в черновых редакциях романа к нему даже употреблен эпитет «ничтожный»[11].

Приходится признать, что эти несправедливые, оскорбительные оценки объективно противостояли пушкинской возвышенной апологии полководца. При огромном же воздействии толстовской эпопеи на историческое сознание русского общества, они, понятно, не могли не поддерживать живучести уничижительного отношения к Барклаю среди миллионов читателей романа — вплоть и до наших дней.

С новой силой оно неожиданно всплыло уже после того, как в 1947 г. было предано гласности одиозное высказывание Сталина о том, что «Кутузов как полководец был, бесспорно, двумя головами выше Барклая де Толли»[12]. В научно-историческом отношении совершенно несостоятельное, оно явилось одним из слагаемых официального курса на возрождение великодержавно-

националистических тенденций в нашей культуре и идеологии — уже само нерусское имя Барклая стало здесь камнем преткновения и удобным для того поводом.

Тем самым был обозначен очевидный отход не только от достижений старой историографии, но и от плодотворного изучения полководческой деятельности Барклая в ряде трудов 1930-х годов и, в частности, в блестящих по историческому письму книгах Е.В. Тарле с их полнокровной исторической конкретикой и впечатляюще воссозданным колоритом эпохи.

Тезис о «двух головах» был возведен в ранг непререкаемой догмы, на много лет определил отрицательный угол зрения на Барклая в общественно-ученом мнении и нашел своих агрессивных адептов среди присяжных историков военного ведомства. В работах весьма низкого профессионального уровня, иногда просто анекдотических по своему невежеству, они принялись всячески превозносить Кутузова, великие заслуги которого, давно признанные русской исторической наукой и общественной мыслью, вовсе в том не нуждались, за счет принижения и замалчивания полководческих усилий Барклая и его прямо-таки вульгарного поношения[13].

Таким образом, простая и ясная мысль Пушкина, развитая им в ходе полемики 1830-х годов, о бесплодности в историческом и нравственном плане противопоставления двух полководцев, творивших одно общее, спасительное для России дело, еще раз была предана забвению.

Были также пущены в ход выдумки об «угодничестве» Барклая перед царем, о его неспособности руководить войсками[14], о Барклае — «сварливом и ограниченном лицемере», о Барклае-иноземце: «...ему — иностранцу, не умевшему говорить по-русски,— были чужды и непонятны патриотические чувства, которыми был охвачен русский народ»[15]. Заметим, однако, что российский подданный в четвертом поколении, сын офицера русской армии, сам служивший в ней с юных лет, Барклай никакой другой родины, кроме России, не знал, считал себя русским гражданином и русским патриотом. По словам К. Клаузевица, «в нем ничего не было иностранного, кроме его фамилии»[16]. Примечательный эпизод: летом 1814 г. во время посещения в свите Александра I Лондона, на встрече с представителями шотландской ветви Барклаев, когда зашла речь о возможности приобретения им древ-

него фамильного замка, Барклай сказал, что «русский по рождению и со своей судьбой, неотделимой от России, он отказывается от этой идеи»[17].

Русские корни Барклая были действительно очень прочны и уходили еще в его детские годы. С трех лет он жил в Петербурге, в доме родной тетки. Ее муж, полковник Георг Вермейлен с 1750 г. состоял на русской службе, отличился в Семилетней войне, пользовался репутацией образованного и гуманного человека и имел широкий круг друзей среди известных тогда генералов — сподвижников П.С. Салтыкова и П.А. Румянцева. Юный Барклай, таким образом, уже с тех пор был погружен в атмосферу русской военной жизни, культуры, обычаев и т.д. Сам же Г. Вермейлен воспитывался в семье своего дяди — великого математика, ученого-энциклопедиста, одного из создателей академической науки в России Л. Эйлера, и когда тот вернулся в 1766 г. по приглашению Екатерины II в Петербург (после вынужденного пребывания в немецких землях), то часто бывал у Вермейленов, где будущий полководец мог наблюдать его в домашней обстановке[18].

Фамильными отношениями Барклай был тесно связан и с просвещенными слоями русского дворянства. Через тетку своей жены Елизавету Карловну Поссе, бывшую замужем за действительным статским советником Захаром Матвеевичем Муравьевым, их сыновей — Артамона, известного в будущем декабриста, Александра, впоследствии адъютанта Барклая и их дочь Екатерину (после войны жену министра финансов Е.Ф. Канкрина), подолгу жившую в семье Барклая, он породнился со старинным муравьевским родом, оставившим столь заметный след в истории русской общественной жизни. О близости его к муравьевскому клану было хорошо известно в кругах дворянской интеллигенции. Так, по поводу предстоявшего брака Е.З. Муравьевой Н.И. Тургенев в июне 1816 г. сообщал брату Сергею: «Канкрин женится на племяннице Барклая». Не случайно в штабе Барклая в годы наполеоновских войн мы видим целую плеяду младших Муравьевых: помимо Артамона и его брата Александра, офицерские должности по квартирмейстерской части занимали здесь братья Николай — в будущем знаменитый генерал Муравьев-Карский, Александр и Михаил (два последних — тоже декабристы, члены Союза спасения и Союза благоденствия) — сыновья пред-

ставителя другой ветви этого рода, генерала Н.Н. Муравьева, основателя Московской школы колонновожатых. Во время же пребывания русской армии за границей переписка Муравьевых с родными из России шла чаще всего через штаб Барклая. В одном из писем к Е.Ф. Муравьевой из Германии в 1815 г. Никита Муравьев, интересуясь делами троюродных «братцев» Артамона и Александра, упоминает с теплотой и их мать — свою общую с Барклаем родственницу Е.К. Поссе: «Какова тетушка Лизавета Карловна?»[19].

Довольно близкие отношения связывали Барклая, кстати, еще с одной декабристской семьей. Его родственницей была мать известного впоследствии поэта и критика, лицейского друга Пушкина В.К. Кюхельбекера — члена Северного общества и участника восстания на Сенатской площади. Именно по настоятельной рекомендации Барклая 14-летний Вильгельм Кюхельбекер был принят перед войной в Царскосельский лицей[20].

О его приобщенности к национальному укладу жизни России, быть может, убедительнее всего свидетельствует тот малоизвестный факт, что в мае 1818 г. в Риге во время торжественной церемонии прощания с Барклаем — лютеранином по вероисповеданию, с одной стороны гроба стоял пастор, а с другой — православный священник, что как бы символизировало связь покойного и с русской религиозной традицией[21].

Всего этого было бы уже достаточно, чтобы отвести и недобросовестное утверждение о незнании Барклаем русского языка. Проведя всю жизнь бок о бок с русским солдатом, Барклай хотя и говорил на нем, видимо с легким акцентом, но владел русской речью вполне свободно. Современники-мемуаристы донесли до нас образцы его высокого воинского красноречия, обращенного к армейской массе, и, кроме того, сохранились собственноручные письма Барклая, писанные по-русски. В этом отношении он ничуть не уступал многим коренным русским офицерам и генералам из знатных дворянских семей, для которых родным был французский язык и которые именно на этом языке предпочитали писать и изъясняться.

Столь же голословно и высказывавшееся в 1950-х годах некоторыми военными историками мнение о Барклае как «прибалтийском дворянине-крепостнике»[22], поскольку никакой «крещеной» собственностью он не обладал и в социальных воззрениях был намного шире «средне-

статистических» представителей своего класса, склоняясь, видимо, к политике реформ, проводимых просвещенной монархией, и к предоставлению крестьянам имущественной и личной свободы.

Наконец, совершенно ложными были попытки представить Барклая чуть ли не противником народной войны, в лучшем случае созерцавшим ее в роли постороннего наблюдателя[23]. На самом же деле Барклай, как сын своего времени, прекрасно понимал значение морального духа войск и народа, и именно при нем была учреждена в главной квартире походная типография — армейский агитационный центр. Он первым из русских военачальников — еще в июле 1812 г.— призвал в серии прокламаций различные сословия «россиян» и прежде всего крестьянство к вооруженной партизанской борьбе с нашествием. Тогда же им был сформирован и первый в 1812 г.— не менее чем за месяц до партизанских рейдов Дениса Давыдова — армейский партизанский отряд под командой Ф.Ф. Винценгероде, действовавший на коммуникациях и флангах французских войск[24].

Надо ли удивляться, что при столь пристрастном на протяжении полутора веков восприятии облика Барклая его жизнь и военная деятельность не получили достоверного научно-исторического освещения.

Нельзя, правда, сказать, чтобы историки прошлого и нынешнего века вовсе не проявляли интереса к Барклаю[25]. Уже в первые послевоенные десятилетия издаются историко-публицистические и собственно исторические сочинения, где Барклаю давалась достодолжная оценка. Тогда же появляются и жизнеописания полководца в энциклопедических и биографических словарях. Среди них выделяется пространная и содержательная его биография, составленная военным историком А.В. Висковатовым для предпринятого А.И. Михайловским-Данилевским во второй половине 1840-х годов издания серии жизнеописаний русских генералов — участников войн 1812—1815 гг. Ценность этой биографии, и до сих пор не утратившей своего значения, в том, что Висковатов, хорошо знавший многих современников и даже сподвижников Барклая, использовал в ней их устные мемуарные рассказы и обширный рукописный материал из частных архивов[26]. Следует упомянуть и об относительно объективной и документально подкреплен-

ной характеристике деятельности Барклая в «Истории Отечественной войны» М.И. Богдановича[27].

Но после того, начиная с 1860-х годов, в барклаевской историографии наступает на несколько десятилетий перерыв — вплоть до подготовки к 100-летнему юбилею Отечественной войны, совпавшему с общим подъемом русской исторической науки конца XIX—начала XX в. В этих условиях публикуется множество всякого рода документальных материалов и исторических трудов, так или иначе касавшихся Барклая. Выходят в свет посвященные ему биографические очерки журнального типа и две книги профессора Академии Генерального штаба В.И. Харкевича о Барклае на посту главнокомандующего 1-й армией, имеющие, однако, узкоспециальный военно-исторический характер. Последнее, что надо здесь упомянуть, это подготовленный группой русских либеральных историков к 100-летнему юбилею 1812 г. монументальный обобщающий труд «Отечественная война и русское общество». В ряде очерков этого издания было немало сказано и о Барклае в 1812 г., но с опорой лишь на опубликованные к тому времени материалы.

В целом можно, видимо, согласиться с мнением о том, что «русская дореволюционная историография не внесла значительного вклада в изучение биографии Барклая де Толли, уступив первенство писателям и публицистам»[28]. При общем взгляде на итоги этого изучения становится ясным, что «труды и дни» полководца так и не стали тогда предметом самостоятельного монографического рассмотрения, растворяясь, как правило, в общих работах по истории войн начала XIX в. и царствования Александра I. В результате фигура Барклая — и сама по себе, и особенно в сравнении с другими прославленными военачальниками 1812 г., такими как, скажем, М.И. Кутузов и П.И. Багратион,— оказалась не то что забытой, но как бы затененной, во всяком случае, явно не престижной. Прав был благожелательно настроенный к Барклаю Булгарин — и не только применительно к середине прошлого века, когда были написаны эти слова: «В народе русском еще не появился для него историк. К Барклаю де Толли до сих пор все как-то холодны, хотя и признают великие его заслуги отечеству. Холодность эта происходит, может быть, оттого, что он чужеплеменник».

Пренебрежение к памяти Барклая начало преодолеваться лишь в историографии последних десятилетий,

когда вновь стала восстанавливаться истина в оценке его места в русской военной истории начала XIX в. Толчок к этому был дан 150-летним юбилеем Отечественной войны. Теперь Барклай опять попадает в сферу исследовательского внимания историков, выпустивших ряд интересных статей и диссертаций о различных сторонах его полководческой и военно-административной деятельности, в том числе о руководстве им в 1812 г. 1-й армией и о полемике 1830-х годов в связи с оценкой его наследия. Вышли из печати отмеченная точностью военно-исторического анализа брошюра о полководце А.Н. Кочеткова, исследования В.П. Тотфалушина о Барклае в 1812 г., две биографические книги популярного характера В.Н. Балязина. Достоверно освещен облик полководца и в новейшей обобщающей монографии об Отечественной войне Н.А. Троицкого — лучшей из работ этого жанра, появившихся в нашей литературе после замечательных книг Е.В. Тарле.

При всем том, однако, изучение барклаевской темы далеко еще не исчерпано. О Барклае, как было метко замечено, «написано и много и мало»[29]. Достаточно сказать, что мы по-прежнему не имеем научной биографии полководца, которая бы охватывала с необходимой полнотой все периоды его жизни,— на Западе такая биография уже появилась, причем в ней использованы малоизвестные в России печатные и архивные материалы[30].

Вообще его участь в историографии представляется более чем странной. В самом деле, и первые биографы полководца, и историки новейшего времени с поразительным единодушием отмечают, в сущности, одно и то же: неблагополучие в изучении его деятельности и — главное — непризнание его заслуг. Если почти полтора века тому назад, еще в николаевское царствование, А.В. Висковатов весьма осторожно и глухо писал, что его «великие заслуги... в Отечественной войне поняты не вполне и память его не вполне пользуется у нас заслуженной признательностью»[31], то в работах, вышедших в самые недавние годы, мы снова читаем о «назревшей потребности исследовательски (а не декларативно) восстановить историческую справедливость в отношении М.Б. Барклая де Толли», о том, что он все еще продолжает быть «полузабытым у себя на родине» и т.д.[32]

Не может при этом не броситься в глаза ограниченность источников, привлекавшихся обычно историками.

Они базировались, как правило, на фактических сведениях, введенных в оборот еще в прошлом и начале нынешнего века, целеустремленные же архивно-источниковедческие разыскания новых материалов о Барклае почти не проводились. Не предпринимались и попытки выяснения судьбы барклаевского архива, оказавшегося в значительной мере рассеянным. После смерти полководца важные документы были переданы Александром I в военное ведомство. Личные же его бумаги остались в семье и в начале XX в. часть их, в том числе и переписка, находилась в распоряжении его отдаленных потомков Барклаев-Веймарнов, но затем их следы исчезают. Известно, однако, что в настоящее время в Германии в архиве барона Б. Кампенгаузена (к роду Кампенгаузенов принадлежала жена сына Барклая — Эрнста-Магнуса, умершего в 1871 г. бездетным) и в коллекции И.-К. Шредера хранится около 80 личных писем Барклая к разным лицам, опубликованных лишь частично[33].

Сама проблематика современных исследований о нем нуждается в обновлении — она традиционно замкнута на сюжетах, в течение многих лет перепевавшихся дореволюционной историографией, а из работы в работу переходят одни и те же стереотипные положения.

И поныне наименее проясненной остается фигура Барклая на начальном этапе войны. При кажущемся обилии литературы и хрестоматийности бытующих на сей счет понятий пробелы в наших знаниях здесь особенно ощутимы. Некоторые же стороны деятельности полководца и отношение к нему общества той эпохи оказались вовсе скрытыми не только от историков, но и от большинства современников и до сих пор остаются еще во многом неразгаданными.

Об этом прежде всего и пойдет речь в нашей книге. Но предварительно — несколько слов о тех принципах, которыми мы руководствовались в работе с источниками при воссоздании исторически конкретной картины военно-общественной жизни эпохи 1812 г. Стремясь, естественно, исчерпывающе учесть все доступные печатные и архивные материалы, особое внимание мы уделяли синхронным источникам — публицистике, официальной переписке и вообще делопроизводственной документации, но главным образом — частным письмам и

дневникам современников. Ибо именно они, являясь одной из характерных для той эпохи форм закрепления духовной активности личности и выражения общественного мнения, фиксировали события в их реальных, а не осмысленных позднее сцеплениях и динамике, по горячим следам — как бы стенографически.

Начало XIX века отмечено в России, как известно, подъемом эпистолярной культуры, укоренившейся в результате длительного развития в образованных слоях общества, в том числе и военно-дворянских. 1812 год, приведший в движение огромные массы населения, разметавший их на бескрайних пространствах страны, нарушивший привычные, повседневные связи между людьми, заметно повысил «частотность» личной переписки. От того времени до нас дошло множество эпистолярных материалов. Только опубликованные письма личного происхождения исчисляются не одной тысячей единиц.

Равным образом война, обострившая историческое сознание общества, углубила потребность и в ведении дневниковых записей по ходу событий, необычность и величие которых становились с каждым днем все более очевидными. От той же эпохи сохранилось более тридцати дневников — величина не такая уж внушительная сравнительно с посвященными ей воспоминаниями, общее число которых, по последним разысканиям, составляет более пятисот наименований, но и не столь малая сама по себе, если учесть закономерный характер отложения тех и других: чем крупнее историческое событие и чем длительнее его воздействие на сознание современников и потомков, тем меньше в его письменной мемуарной традиции удельный вес дневникового слоя[34].

Прояснив нашу тему и ее важнейшие источники, приступим теперь непосредственно к предмету повествования*.

* Автор приносит искреннюю благодарность сотрудникам ОР РНБ, ОПИ ГИМ, ОР РГБ, РО ИРЛИ, Архива СПб. филиала ИРИ РАН, РГВИА, РГАДА, РГАЛИ, РГИА за содействие в разыскании архивных источников, А.Л. Осповату за предоставление ценных материалов из архива Тургеневых, Н.М. Пыровой за помощь в подборе иллюстраций к книге из фондов ГИМ.

Глава I
«Стоическое лицо Барклая...»

«ПОЛКОВОДЕЦ»

Свою апологию Барклая Пушкин напечатал в III томе «Современника», вышедшем в начале октября 1836 г.[1] Но написана она была еще в апреле 1835 г., около полутора лет пролежав без движения в письменном столе поэта.

«Полководец» явился перед публикой в преддверии 25-летнего юбилея Отечественной войны. Его празднованию был придан поистине государственный размах, готовились пышные военно-парадные мероприятия, по правительственному заказу составлялись капитальные труды по истории наполеоновских войн, живой интерес к ним то и дело выплескивался на страницы журналов и газет различной идейно-литературной ориентации, печатались всякого рода исторические сочинения о кампании 1812 г., воспоминания и «военные анекдоты» ее участников, поэтические и беллетристические отклики на войну, историко-публицистические статьи и военно-теоретические трактаты, рецензии на посвященную ей литературу и т.д. В плане нашей темы важно отметить также, что в августе — октябре 1836 г. в печати появляется много исторических материалов и об участии самого Барклая в наполеоновских войнах. Это не только биография полководца и статья «Бородино» в IV томе «Энциклопедического лексикона» А. Плюшара (автор С.А. Маркевич), перепечатанная тогда же в ряде периодических изданий, но и серия статей в «Русском инвалиде» о командовании Барклаем союзными войсками в кампании 1813 г. (№ 216—219, 227—234, 237—245, 263).

Словом, общественная атмосфера была до предела насыщена реминисценциями Отечественной войны и заграничных походов[2]. Естественно, что в этой обстановке

Пушкин, при том что его творческое сознание издавна волновала эпоха 1812 г., не мог оставить ее без внимания в своем журнале.

Еще в I томе «Современника» появился отзыв Н.В. Гоголя на мемуарную книгу И.Т. Радожицкого «Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год». Во II томе, который, по выражению Пушкина, «весь наполнен Наполеоном»[3], он помещает отредактированный им отрывок о 1812 годе из автобиографических записок легендарной Н.А. Дуровой, обзоры П.А. Вяземского книжных новинок о Наполеоне и собирается печатать здесь мемуарный очерк Д.В. Давыдова «Занятие Дрездена в 1813 г.», перенесенный, однако из-за возражений цензуры в сильно урезанном виде в IV том журнала. В III томе наряду с «Полководцем» появляется еще одна статья Давыдова — «О партизанской войне» и фрагмент повести из эпохи 1812 г. самого поэта, написанной еще за пять лет до того,— «Рославлев». В последнем вышедшем при жизни Пушкина IV томе увидел свет его отклик на первую часть отдельного издания записок Дуровой с обещанием после выхода второй части «подробно разобрать книгу замечательную по всем отношениям»[4]. В «Современнике» Пушкин вообще предполагал помещать критические разборы мемуарно-исторических сочинений об эпохе 1812 г.— замысел, оставшийся из-за его трагической гибели неосуществленным[5].

Но в ряду всех этих публикаций «Полководец» занимал место совершенно особое.

Стихотворение было создано под впечатлением посещений Пушкиным Военной галереи Зимнего дворца, где среди более 330 портретов русских генералов 1812—1815 гг. работы английского художника Дж. Доу поэта привлекло торжественно-приподнятое изображение Барклая де Толли — сильной, мыслящей, полной благородства и духовной сосредоточенности личности, — с «презрительною думою» смотрящего на зрителя:

О вождь нещастливый!.. Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,

В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко...

Пушкинистами с достаточной полнотой раскрыт многослойный смысл стихотворения, сложное сочетание его философских и лирико-поэтических ассоциаций. Трагический образ Барклая оказался как нельзя более созвучен сокровенным переживаниям Пушкина, как бы накладываясь на его собственную судьбу в 1830-х годах. Соответствуя общим принципам романтического мироощущения, стихотворение явилось одним из цикла его произведений последнего десятилетия жизни, посвященных участи призванного к историческому служению, но отверженного современниками Творца — будь то Пророк, Поэт, Государственный муж. В «Полководце» эта тема была углублена еще и религиозно-нравственным истолкованием, почерпнутым из Евангелия и этического учения стоиков,— это придавало стихотворению высокую степень художественно-философского обобщения.

Тяжкая участь Барклая в 1812 г. была переосмыслена в свете аналогий с крестным путем Христа, воплотившихся во всем образном строе «Полководца». Отсюда и облик мудрого, уверовавшего в свое предназначение вождя, неколебимого в своих моральных устоях, со стоической твердостью, с полным самоотвержением переносящего поношения «таинственно спасаемого» им народа,— подобно тому как, по Евангелию, толпа, тоже «ругаясь и смеясь», преследовала Христа[6]. Не случайно, высказываясь и позднее по поводу роли, сыгранной Барклаем в 1812 г., Пушкин дважды подчеркнет как раз эту «стоическую» черту его характера.



А.С. Пушкин. Гравюра Т. Райта по его же рисунку. 1837. ГИМ

Однако при насыщенной философско-поэтической семантике стихотворения оно заключало в себе и некий исторический подтекст, питаемый реальными познаниями Пушкина об эпохе 1812 г.

Именно этот подтекст выступал прежде всего на поверхность, именно он и был главным образом замечен читающей публикой, породив, как мы уже отмечали, острую полемику в печати. Публицистическое его звучание в разгар юбилея Отечественной войны было особенно злободневно еще и потому, что самой темой стихотворения Пушкин вторгался в сферу официальной истории,— ведь Барклай и не названный по имени, но легко угадываемый за его строками Кутузов были историческими фигурами государственного масштаба, та или иная репутация которых была для многих далеко не безразлична. Еще жили их сподвижники и враги, сослуживцы и родственники, друзья и потомки, хранившие в своей среде отголоски ожесточенных пристрастий 1812 г., да и затронутые в «Полководце» коллизии той эпохи, не вполне ясные в своей истинной подоплеке современникам, продолжали оставаться еще в значительной мере потаенными.

ОТКЛИК ГРЕЧА

Первая реакция на «Полководца» последовала оттуда, откуда ее, казалось бы, менее всего можно было ожидать. Она исходила от Н.И. Греча — критика, переводчика, беллетриста, филолога, журналиста консервативного толка, издававшего вместе с Ф.В. Булгариным официозную политическую и литературную газету «Северная пчела». В наших нынешних расхожих понятиях оба они сливаются часто в один одиозный «булгаринско-гречевский» образ. Между тем по культурному «цензу», месту в литературном движении, общественному поведению Греч все же заметно отличался от своего журнального «двойника», и Пушкин вовсе не ставил их на одну доску. С Гречем еще с первой половины 1820-х годов, в пору его близости к либеральным и декабристским кругам, он поддерживал знакомство, печатался в основанном им в 1812 г. «Сыне отечества». Отношения, правда, резко ухудшились в 1830—1831 гг., когда Греч втянулся в развязанную Булгариным кампанию против поэта, но после наладились

и стали деловыми и достаточно прочными. В 1832 г. Пушкин собирался привлечь Греча к замышлявшейся им газете, в 1834—1836 гг. посещал его литературные «четверги», бывал даже у него на семейных торжествах и уже после дуэли, на смертном одре, 27 января 1837 г., узнав о кончине сына Греча, просил передать ему свое душевное соболезнование[7].

Тем не менее Греч не входил в число друзей и литературных соратников Пушкина — оттого так важна для нас его моментальная реакция на «Полководца».

9 октября был отпечатан и поступил в продажу тираж III тома «Современника», а уже 12 октября Греч пишет Пушкину письмо с впечатлениями от только что прочитанного стихотворения. Восхищаясь «исполинским талантом» автора, в его апологии Барклая он видит литературную акцию, исполненную высокого гражданского долга. «Вы доказали свету,— продолжает Греч в тональности, близкой к стилистике пушкинского стихотворения,— что Россия имеет в вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды, благородного поборника добродетели, возносящегося светлым ликом и чистою душою над туманами предрассудков, поветрий и страстей, в которых коснеет пресмыкающаяся долу прозаическая чернь. Честь вам, слава и благодарение!»[8]

Пушкин не замедлил с ответом и 13 октября отправил Гречу благодарственное письмо, где, отметив величие духа Барклая, обозначил, в сущности, тот угол зрения, под каким освещен его облик в «Полководце». Вот эта почти афористическая по своей выразительности ма́ксима: «Стоическое лицо Барклая есть одно из замечательнейших в нашей истории. Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения»[9].

Два дня спустя, 15 октября, «Полководец» от первой до последней строки перепечатала «Северная пчела». Стихотворению предшествовал похвальный отзыв: «превосходное по предмету, по мысли, по исполнению», оно — «одно из лучших свидетельств, что гений нашего поэта не слабеет, не вянет, а мужается и растет, что Россия должна ждать от него много прекрасного и великого».

Некоторые пушкинисты этот отзыв, как и саму инициативу перепечатки в «Северной пчеле» «Полковод-


Н.И. Греч. Гравюра Т. Райта по его же рисунку. До 1849 г. ГИМ

ца», приписывают Ф.В. Булгарину, усматривая в его попытках «выставить поэта своим союзником» некую интригу и тонкий верноподданнический расчет. Такая трактовка подкрепляется, в частности, тем, что тогда же Булгарин выступал в «Северной пчеле» с враждебными нападками на пушкинский журнал. «Поразительно,— пишет исследователь,— с какой легкостью Булгарин в самый разгар борьбы с «Современником» отказался от своих постоянных выпадов против Пушкина»[10].

Но в оценке роли Барклая в 1812 г. Булгарин, как бы это ни показалось сейчас странным, был в известном смысле «союзником» Пушкина. В вышедшем еще за пять лет до того «нравоописательно-историческом» романе «Петр Иванович Выжигин» он как только мог превозносил Барклая — одного «из величайших полководцев нашего времени», полагая, что стратегический «план его есть верх мудрости, а исполнение превосходит всякую похвалу»[11].

Поэтому никакой интриги за этим стоять не могло, а от нападок на Пушкина Булгарин в данном случае вовсе «не отказывался» по той простой причине, что автором похвального отзыва о «Полководце» в «Северной пчеле» был вовсе не он, а, как верно заметил В.Э. Вацуро, сам Греч — слишком созвучен этот отзыв не только идейно, но и фразеологически его письму к Пушкину от 12 октября 1836 г., чтобы относительно его авторства могли бы закрасться какие-либо сомнения[12].

Греч до конца жизни ценил поэтическую защиту Пушкиным опального полководца и, вспоминая в своих записках, что в 1812 г. Барклай, «человек возвышенный и чистый», был «бесславно порицаем», не преминул добавить: «Честь Пушкину, что он прекрасными своими стихами отдал должную справедливость неузнанному и непонятому другу правды и добра»[13].

ВОЗРАЖЕНИЯ СТАРОГО АДМИРАЛА

Не все, однако, разделяли восторг по поводу «Полководца». В светском обществе, в столичных салонах и аристократических кружках о нем складывались и совсем иные мнения. Их очагом стал дом доживавшего на покое свой век президента адмиралтейской коллегий, флота генерал-казначея, председателя Ученого комитета Морского министерства и члена Российской Академии Логгина Ивановича Голенищева-Кутузова. Приверженец культурных и военных традиций XVIII в., весьма консервативно настроенный, но и слегка фрондирующий, Голенищев-Кутузов еще в начале века был тесно связан с деятелями «архаистского» толка — Г.Р. Державиным, Д.И. Хвостовым, А.С. Шишковым, М.Ф. Каменским, П.И. Багратионом, но более всего — с М.И. Кутузовым, которому он приходился по отцу четвероюродным братом, а по матери Евдокии Ильиничне, урожденной Бибиковой, родной сестре жены полководца,— племянником. По воспоминаниям известного скульптора-медальера Ф.П. Толстого, когда Кутузов в августе 1812 г. был назначен главнокомандующим, то именно в доме Логгина Ивановича провел в уединении последние дни, готовясь к отъезду в армию[14].

Не чуждый литературных интересов и сам выступавший в печати с переводами иностранных сочинений по морской истории, Голенищев-Кутузов не упускал журнальных новинок и, как только начал издаваться «Современник», стал его вдумчивым читателем и, видимо, подписчиком. Во всяком случае, когда вышел I том журнала с пушкинским стихотворением «Пир Петра Первого», в форме историко-поэтического иносказания призывавшим Николая I проявить милосердие к каторжным и ссыльным декабристам, Голенищев-Кутузов тут же оценил этот поступок поэта как «урок преподанный им нашему дорогому и августейшему владыке»[15].

Но появившийся в «Современнике» полгода спустя «Полководец» встретил с его стороны взрыв негодующих чувств — строки стихотворения, возвышавшие Барклая де Толли, были расценены как сознательное умаление заслуг в 1812 г. Кутузова. 17 октября, по случаю именин Логгина Ивановича, у него был большой съезд гостей, и эта тема, конечно, горячо обсуждалась здесь, причем «очень возбуждена и крайне раздражена стихами» была,

как отмечено в его дневнике, «кузина Лиза Хитрово»: со слезами на глазах «она говорила мне о неблагодарности Пушкина, которого так хорошо принимала». (Это обстоятельство действительно ставило Пушкина в двусмысленное положение, ибо Елизавета Михайловна Хитрово — пламенная патриотка и верная наследница славы своего отца — была и ревностной почитательницей таланта поэта, его давним, преданным и бескорыстным другом, не раз приходившим ему на помощь в моменты трудных жизненных испытаний, и Пушкин меньше всего хотел задеть ее дочерние чувства.)

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Голенищева-Кутузова, явилась перепечатка «Полководца» в «Северной пчеле». Не очень искушенный в тонкостях литературно-журнальных отношений, он почему-то вообразил, что Пушкин, дабы добиться большей известности стихотворения, сам передал его сюда для публикации. «Северная пчела», в 3 раза превосходившая по тиражу I том «Современника», была наиболее читаемой в столицах и провинции газетой, и появление в ней «Полководца» безусловно усиливало его резонанс в обществе.

И тут Голенищев-Кутузов выступает с публичным опровержением «несообразности» Пушкина. 3 ноября оно было представлено в цензуру; в тот же день, встретив поддержку главы цензурного ведомства С.С. Уварова — злобного врага поэта, одобрено и к 5 ноября уже отпечатано в типографии Российской Академии отдельной брошюрой. Сперва Голенищев-Кутузов намеревался выпустить ее в публику в качестве приложения к «Северной пчеле», поэтому брошюра в соответствии с тиражом газеты была отпечатана в количестве 3400 экземпляров, но Греч, очевидно, отказался рассылать своим подписчикам полемический выпад против столь восторженно оцененного им стихотворения, и в конце концов брошюра была распространена в виде вкладыша к «Санкт-Петербургским ведомостям» от 8 ноября, но, возможно, имела и более широкое хождение, на что, в частности, несколько позднее намекал Булгарин, характеризуя ее как «листок, приложенный ко всем газетам 1836 года»[16].

Как ни старался Голенищев-Кутузов соблюсти внешне корректный тон (так, он не скупится на похвалы «пиитическому дару» Пушкина, красноречивому описанию портретной галереи Дж. Доу и т.д.), брошюра

наполнена ядовитыми и компрометирующими поэта намеками.

Возражение вызвали уже начальные строки пушкинской характеристики Барклая: «Всё в жертву ты принес земле тебе чужой» — здесь Голенищев-Кутузов берет даже под защиту Барклая от Пушкина. Это «противно истине», возмущается он, ибо «воспеваемый полководец был лифляндцем», а «лифляндские дворяне», со времен Петра I и его преемников верой и правдой служившие России, «кровью своей доказали», что она «для них не чужая земля», и «приобрели полное право носить имя русских». Несогласие с поэтом он дополнил и личными воспоминаниями о Барклае, с которым был знаком еще со Шведской кампании 1790 г.: «неоднократно от него слышал: "мы, лифляндцы, уже русские"»[17].

Автор брошюры пренебрег поэтическим обобщением Пушкина, абстрагировавшегося в целях усиления черт жертвенности своего героя от действительных обстоятельств его биографии. Но с чисто фактической стороны Голенищев-Кутузов был не так уж и не прав и в этом своем мнении вовсе не одинок.

П.Х. Граббе — представитель младшего сравнительно с ним поколения и совсем иной общественной среды — участник наполеоновских войн, адъютант Барклая в 1812 г., позднее декабрист, член Союза благоденствия, добрый знакомец и поклонник поэта — в конце 1836 г. в своих записках бросил ему тот же упрек: «Пробуждением Пушкина были в нынешнем году стихи «Полководец», в которых он отыскался весь, со всем своим высоким дарованием. Стихи превосходны, несмотря на несправедливую строку: Всё в жертву ты принес земле тебе *чужой*. Несправедливую против Барклая де Толли и всех его соотичей, купивших усердьем и кровью в продолжении слишком столетия полное право называться русскими»[18]. Совпадение, как видим, почти текстуальное, но возникшее, надо полагать, спонтанно, ибо каких-либо данных о знакомстве П.Х. Граббе с брошюрой Голенищева-Кутузова у нас нет. Несколько позднее Греч заметит не без основания по тому же поводу: «Да и чем лифляндец Барклай менее русский, нежели грузин Багратион? Скажете: этот православный, но дело идет на войне не о происхождении Святого Духа!»[19]

Не было бы, однако, большой беды, ограничься автор брошюры указанием на эту историческую неточность, но

в своих филиппиках он вышел за пределы собственно литературной полемики. Если ради «мнимого превознесения» Барклая Пушкин представил его лифляндцем, а не русским, то «следовательно, поэт решил, что и другие лифляндцы, служившие России на разных поприщах, тоже не русские» — «и они и мы должны удивляться сему изречению». Тем самым в пушкинское стихотворение был привнесен смысл, совершенно чуждый его художественно-исторической концепции и не имевший ничего общего с истинным замыслом поэта. Умышленно или по неловкости, но престарелый адмирал коснулся материи более чем деликатной: все прекрасно знали, что на правительственных и дипломатических должностях, в верхах военной бюрократии, в придворном окружении Николая I было немало этих самых «других лифляндцев» — выходцев из остзейского дворянства, и, давая понять, что поэт лишает их права называться русскими, Голенищев-Кутузов придавал своей критике явно доносительный, опасный для Пушкина оттенок.

Но самый острый его выпад был обращен против тех строк стихотворения, где фигура Барклая в 1812 г. соотносилась с Кутузовым. Автор оспаривает взгляд Пушкина на спасительную роль Барклая в событиях того времени («Народ, таинственно спасаемый тобою»). Если у него и были какие-то успехи в период отступления, то явились они лишь следствием грубых просчетов Наполеона, что удостоверено не только «многими военными писателями на разных языках», но и в «классическом военном сочинении» русского историка Д.П. Бутурлина о кампании 1812 г., удостоенном «высочайшего одобрения» «покойного государя». Апелляция к авторитету Александра I сообщала этим доводам официозный и опять же крайне неблагоприятный для Пушкина привкус — ведь в соответствии с такой логикой его поэтическая оценка Барклая приходила в очевидное противоречие с царским мнением.

Напомнив об официально признанных заслугах Барклая в заграничных кампаниях 1813—1814 гг., перечислив награды и титулы, которыми он был пожалован, Голенищев-Кутузов отвергает, по сути дела, какой-либо положительный смысл в его действиях в Отечественной войне, и потому особый гнев критика вызывают узловые в развитии драматического сюжета стихотворения строки:

И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко...

«Поэт позволил себе... совершенно неприличный вымысел»,— повышает регистр критического голоса автор брошюры. Отводя возможные подозрения в том, что вступился за честь Кутузова по семейным соображениям — по «двойному родству, по сердечной дружбе, которые меня соединяли с князем Михаилом Ларионовичем», и рядясь в тогу беспристрастного судьи, он ссылается на давно обнародованные документы фельдмаршала за 1812 год, на труды военных историков и опять же на «всеобщее мнение просвещенных русских и иностранцев». А из всего этого следует, что только Кутузову принадлежал замысел отражения нашествия, и избавлена от него Россия не «пресловутыми маневрами Барклая в 1812 году» (фраза из дневниковой записи Голенищева-Кутузова от 17 октября 1836 г., отразившая раздраженные разговоры его близких о напечатанном перед тем «Полководце»)[20], не «действиями армии до взятия Смоленска», а главным образом ее «действиями после оставления Москвы», значит, Кутузов, а не Барклай — истинный спаситель отечества[21].

В процитированных выше строках Голенищев-Кутузов верно почувствовал кульминацию в освещении Пушкиным коллизии между двумя военачальниками. Но он не знал еще того, что перед ним был лишь смягченный вариант. В беловом автографе, предшествовавшем печатному тексту, содержалась строфа, которую Пушкин не счел возможным включить в публикацию «Полководца» в «Современнике» и в которой изображение героя стихотворения творцом спасительного плана кампании и сама мысль о том, что ее успешный исход был предопределен Барклаем еще на начальном этапе войны, выразились куда как сильнее:

Преемник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей.— А ты непризнанный, забытый
Виновник торжества почил...[22]

Если в печатном тексте тот, кому Барклай уступал «лавровый венец», не был каким-либо образом указан и оттого вся строфа звучала безлично, то здесь Кутузов, по имени по-прежнему не названный, обозначен уже вполне определенно: ни для кого же не было секретом,

кто явился в 1812 г., хотя бы по времени, «преемником» Барклая, причем сам этот термин заключал в себе активно-действенный акцент: не Барклай уступал свой «венец», а Кутузов «стяжал» его успех, т.е. выступал прежде всего как продолжатель дела своего предшественника.

Уже в наши дни, в 1969 г., был обнаружен в архиве неизвестный ранее беловой автограф «Полководца» — в альбоме великой княгини Елены Павловны (жены брата Николая I, Михаила Павловича). В конце 1836 или начале 1837 г. Пушкин по ее просьбе и в расчете на узкий круг посвященных вписал сюда полный текст стихотворения. Либеральная и просвещенная женщина, покровительница литераторов, художников, музыкантов — «белая ворона» в царской семье, она оказывала поэту свое внимание, и между ними установились отношения дружеские и даже доверительные. Есть поэтому все основания считать альбомный автограф авторитетным и отражающим, очевидно, последнюю авторскую волю текстом стихотворения[23].

Что касается только что разобранной строфы, то, записывая ее в альбом, Пушкин не просто механически воспроизвел прежние строки из чернового автографа, а существенно уточнил их, в том числе заменил «преемник» на «соперник», что придало строфе уже явно антикутузовский смысл.

Не касаясь сейчас причин, побудивших поэта исключить данную строфу из печатного текста стихотворения — на этот счет среди литературоведов давно ведутся горячие дебаты,— отметим тонкое наблюдение Н.Н. Петруниной, автора монографического исследования о «Полководце»: в этой замене невольно «выявился и вышел на поверхность внутренний смысл стихов»[24].

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что именно этот «внутренний», антикутузовский смысл стихотворения,— а не просто апология Барклая сама по себе,— и явился главным стимулом для публичного выступления Голенищева-Кутузова.

Ведь Пушкин был тогда не единственным и не первым, кто отозвался в русской печати столь возвышенным образом об опальном в 1812 г. полководце. Еще в 1832 г. вышел русский перевод многотомного труда Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта», где Барклай признавался главным виновником поражения француз-

ского императора[25]. В следующем году в «Московском телеграфе» появилась критическая статья К.А. Полевого о труде Вальтера Скотта, полемически заостренная против официальной интерпретации истории 1812 г. и чуть было не послужившая поводом для запрещения журнала. В разборе описания Скоттом Отечественной войны, ставя вопрос о том, кому же Россия обязана своей победой, Полевой отдает «справедливость бессмертным мужам, спасителям России: Александру, мужественному, неколебимому противнику западного исполина, и мудрому великому полководцу Барклаю» — последний был не только поставлен, таким образом, в один ряд с царем (его заслуги усматривались лишь в том, что он не капитулировал перед Наполеоном), но всей логикой рассуждений выдвинут на передний план: «Барклай де Толли, который умел спасти армию и затруднил, изумил Наполеона своею системою медления вследствие глубокого расчета, Барклай де Толли был другим хранителем России. К сожалению, обстоятельства не позволили ему самому довершить своего великого подвига, который оттого и оценивается многими не так, как бы надлежало. Но история будет справедливее современников: она отдаст каждому законный участок славы»[26].

В 1836 г. в IV томе «Энциклопедического лексикона» была напечатана биография Барклая, написанная, как мы уже отмечали, С.А. Маркевичем. Она содержала высокопохвальные строки о полководце, перекликающиеся с характеристикой Полевого не только по смыслу, но даже фразеологически: «Услуги, оказанные им отечеству, делают память его священною для каждого Россиянина. Но несправедливость современников часто бывает уделом людей великих: не многие испытали на себе эту истину в такой степени, как Барклай де Толли. В тяжелом 1812 году, когда он, следуя искусно соображенному плану, отступал без потери перед многочисленными полчищами неприятельскими, готовя им вечную гибель, многие, весьма многие, не понимая цели его действий, обвиняли его в бедствиях отечества!»[27] IV том лексикона был разрешен цензурой к печати 31 декабря 1835 г. и реально вышел в свет в начале 1836 г., однако еще 25 и 27 января текст биографии Барклая был помещен в «Русском инвалиде», а несколько позднее и в «Журнале для чтения воспитанникам военно-учебных заведений». Трижды напечатанная в Петербурге за короткий промежуток вре-

мени, эта биография вряд ли могла пройти мимо просвещенного, внимательно следившего за столичной прессой Голенищева-Кутузова, равно как не могла остаться незамеченной им и нашумевшая в свое время статья Полевого.

Тем не менее прославление в них Барклая не вызвало с его стороны никакой гласной реакции и, как нам кажется, прежде всего потому, что и в том и в другом случае не имели места какие-либо намеки, аллюзии, непосредственно задевавшие репутацию дядюшки-полководца, тогда как в пушкинском стихотворении они были выражены достаточно явственно.

Из историков, пожалуй, только В.В. Пугачев обратил внимание на этот антикутузовский подтекст «Полководца», пушкинисты же склонны его приглушать, обходить на том основании, что Пушкин, признававший громадную роль Кутузова в отражении наполеоновского нашествия, не мог-де так резко противопоставить ему Барклая и бросить какую-либо тень на его полководческие заслуги в 1812 г.

В самом деле, Пушкин искренне почитал великий воинский подвиг Кутузова. В 1831 г., в пору нахлынувших на поэта воспоминаний об Отечественной войне, он посвятил его памяти высокоторжественные стихи:

Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов...
В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас[28].

Разумеется, успех России в войне с Наполеоном Пушкин не считал единоличной заслугой Кутузова и уже тогда обратил свой взор на незаурядную в этом отношении фигуру Барклая. Еще в 1830 г.,— а к тому времени представления Пушкина о его выдающейся роли в Отечественной войне сложились окончательно,— в X главе «Евгения Онегина» на вопрос:

Гроза 12 года
Настала — кто тут нам помог?

— давал ответ, сама форма которого свидетельствовала о длящихся еще с 1812 г. спорах:

Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог[29].

Но, так или иначе, полководческие усилия Барклая отмечены здесь в качестве одного из решающих факторов русской победы — наравне с народной войной.

В следующем году в «Рославлеве», рассказывая о патриотическом отчаянии героини повести Полины из-за отступления летом 1812 г. русской армии к Москве, Пушкин писал, что «она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу»[30]. Но ведь «великая мысль» «тогдашнего времени», спасшая Россию, это и есть тот самый отступательный план Барклая, тот «замысел, обдуманный глубоко», о котором сказано в «Полководце».

В марте 1836 г., почти год спустя после его написания, но еще задолго до публикации и разгоревшейся вокруг него полемики, обозревая в мастерской скульптора Б.И. Орловского модели памятников двум военачальникам, которые готовились к установке перед Казанским собором в Петербурге, Пушкин в краткой поэтической строке дал предельно точную формулу своего понимания спасительной миссии каждого из них в 1812 г.: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов»[31].

Но в посвященном Барклаю стихотворении он вовсе не стремился пересматривать историческую оценку полководческих действий Кутузова. Его вообще не интересовала здесь чисто военная сторона дела — даже применительно к своему герою. Именно это он и подчеркнул, как мы помним, в письме к Гречу, где, разъясняя творческий замысел «Полководца», отметил, что Барклай его занимает не «в отношении военного искусства», а как «характер», т.е. с нравственной точки зрения. В центре поэтического внимания Пушкина была трагедия непризнанного современниками военачальника, и все стихотворение проникнуто пафосом установления не только исторической, но нравственной, человеческой справедливости относительно Барклая.

Поэтому и его отношения с Кутузовым трактуются в «Полководце» не с военно-стратегической, а с той же нравственной точки зрения в общественно-психологическом контексте эпохи. Но заострение этой темы ни в коей мере не было данью поэтическому преувеличению. При

всем художественном лаконизме и отвлеченности от историко-бытовой конкретики антикутузовских строк стихотворения в них вполне различимы, как увидим далее, следы осведомленности Пушкина в действительно сложных и противоречивых взаимоотношениях двух полководцев в 1812 г.

«ОБЪЯСНЕНИЕ»

Вернемся к ноябрю 1836 г., когда брошюра Голенищева-Кутузова рассылалась подписчикам «Санкт-Петербургских ведомостей». Вопреки своему обыкновению не отвечать на критические выпады, на сей раз Пушкин решил немедля высказаться в печати, и на то были основания достаточно серьезные — дело касалось политической репутации поэта.

Помимо всего прочего, упреки автора брошюры в намеренной недооценке официально канонизированного Кутузова неизбежно оборачивались и подозрениями в недостатке патриотизма. Мало того, в условиях разгоревшейся полемики обнажилось и несовпадение с официальными представлениями самой трактовки в «Полководце» образа Барклая, но об этом — в своем месте.

Сразу же по выходе брошюры, между 8 и 11 ноября, Пушкин пишет в ответ на нее «Объяснение» и включает его в IV том «Современника» — в книжных лавках Петербурга он появится в конце декабря 1836 г.— первые дни января 1837 г.[32]

В жанре сжатого историко-публицистического очерка поэт подводит итоги своим многолетним размышлениям над ключевыми событиями 1812 г. и ролью в них Барклая и Кутузова, но начинает он с того, что отвергает приписанное ему «намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унизить священную славу Кутузова».

В работах о Пушкине встречается иногда такое мнение, что в историческом плане между «поэтическим «Полководцем» и прозаическим «Объяснением» «нет... никакого противоречия», причем само стихотворение рассматривается во внелитературном ряду, через призму концепции «Объяснения»[33]. Но в том, что касается коллизии Кутузов — Барклай, если не противоречия, то уж различия, и притом довольно заметные, были.

Побуждаемый навязанной ему и в такой острой форме скорее всего непредвиденной полемикой, Пушкин в «Объяснении» ослабил, а кое-где и снял совсем мотив конфликта двух полководцев. Наоборот, он стремится примирить их в историческом сознании поколений: «Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли, потому что Кутузов велик?» В «Объяснении» ему вообще отведено место ничуть не меньшее, чем Барклаю,— в этом определенно сказалось стремление Пушкина заново и более точно расставить акценты. Слава Кутузова «неразрывно соединена... с памятью о величайшем событии новейшей истории» и «его титло: спаситель России». «Превосходство военного гения» Кутузова непререкаемо: только он «мог предложить Бородинское сражение... отдать Москву неприятелю», «оставаться в этом мудром, деятельном бездействии в Тарутине», «выжидая роковой минуты»,— «Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!»

По этому поводу Е.В. Тарле в свое время заметил: «Пушкин и в стихах и в прозе... успел исчерпывающе полно выяснить свое воззрение на роль Барклая и утвердить решающую роль Кутузова и тем покончить со всеми недоразумениями»[34]. Думается, однако, что это — неточная, упрощенная трактовка «Объяснения», равно как и позиции Пушкина в полемике 1830-х годов в целом. Ибо было бы неверно видеть в процитированных выше строках из «Объяснения» чуть ли не измену поэта своим взглядам на Барклая и Кутузова. Впервые эту версию выдвинул в «Северной пчеле», как только оно было напечатано, Булгарин в официозно-верноподданнической статье «Правда о 1812-м годе...». Расточая похвалы «превосходному стихотворению „Полководец"», в котором поэт «первый доказал, что Барклай де Толли есть «великий муж», «великий предмет для русской лиры», критик тут же уличает Пушкина в том, что он «почти отрекся от прежнего», назвав на сей раз «спасителем России Кутузова»[35]. Мнение о том, что Пушкин тем самым отошел от своих прежних взглядов на роль Барклая, неожиданно повторил недавно В.В. Пугачев[36]. Но если вдуматься, то о каком-либо отречении говорить нет оснований, поскольку в «Объяснении» Пушкин изложил и развил свои давние, как мы теперь знаем, воззрения на роль Кутузова в 1812 г. Но что он высказал их здесь

далеко не в полной мере — это тоже бесспорно. Ведь примерно тем же временем, когда «Объяснение» вышло из печати, датируется и «альбомный» автограф «Полководца» с откровенно резкой характеристикой Кутузова как «соперника» Барклая.

Умолчание в «Объяснении» этого щепетильного обстоятельства, на которое в печатном тексте стихотворения Пушкин лишь слегка намекнул, но смысл которого был тут же распознан, надо, видимо, расценивать как тактическую уступку с его стороны, вынужденную напряжением идейно-общественной борьбы 30-х годов вокруг наследия 1812 г.

Но зато в характеристике Барклая Пушкин ни в чем существенном не отошел в «Объяснении» от своей поэтической апологии. Единственное, чем он пожертвовал, так это действительно словом «спаситель», которое к Барклаю теперь не применил, но это не шло вразрез с общей проникновенно-эпической его оценкой и идеей «равновеликости» двух полководцев, лежащей в основе «Объяснения». С не допускающей никаких сомнений ясностью, переводя поэтические строки на «метафизический» язык прозы, Пушкин снова напоминал о «заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошел первую половину поприща и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уроны, предоставляя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества». И далее, невзирая на полузапретный характер темы, раскрывает самоё суть его трагического столкновения с обществом: «Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом».

Трижды повторена центральная идея «Полководца» об уступлении Барклаем своему «преемнику» начальст-

вования над войсками и славы победного торжества, снова перед нами образ исполненного внутренней убежденности и христианского смирения стоика, взявшего на себя бремя ответственности и самопожертвования, опять возникает тема «сокровенной цели» как доминанты всех действий Барклая. Но в самом конце появляется и новый мотив, ранее не звучавший в пушкинских текстах и с совсем неожиданной стороны рисующий облик Барклая в 1812 г.: **«не успев оправдать себя перед глазами России»**. (Тут сразу приходит, кстати, на память, что слово это: «оправдать» — в отношении Барклая употреблено Пушкиным и в письме Гречу от 13 октября 1836 г.)

ЗАГАДОЧНАЯ ФРАЗА

Пушкинисты обычно не вчитываются в эти строки. В обширной литературе о «Полководце» мы не найдем ни одного их толкования. Между тем эта фраза таит в себе не разъясненный доселе некий загадочный смысл.

Присмотримся же к ней внимательно.

Что значит прежде всего конструктивно опорный элемент фразы — **«оправдать себя»**? Каким образом Барклай мог это сделать: своими ли полководческими действиями, если бы не пришлось «уступить власть», и он, по-прежнему командуя войсками, дал бы Наполеону успешное сражение? Но тогда и оправдываться-то было не в чем, сам ход боевых действий служил бы лучшим доводом в его пользу и окрасил бы победоносным светом все предшествующие его усилия.

Поэтому естественно предположить, что здесь подразумевалась акция Барклая не военного, а политического свойства по обоснованию правильности избранной и проводимой им в начальный период войны стратегической линии.

Но почему Пушкин написал: **«Не успев оправдать себя»**? Ведь Барклай прожил после Отечественной войны 6 лет, и времени для оправдания было более чем достаточно. К тому же он занимал тогда крупнейшие посты в армии, обладал значительным влиянием и т.д. Скорее всего «не успев» следует приурочить к ситуации самого 1812 г., к моменту «уступления власти» и близкому к нему времени. Этот оборот заключает в себе и намек на

какие-то препятствия, трудности, стоявшие на пути оправдательных усилий Барклая, преодолеть которые до конца он так и не смог — «не успел».

Наконец, не успел «оправдать себя перед глазами России» — тут уже совершенно ясно речь шла об открытом, публичном оправдании Барклая в общественном мнении страны.

В полемике вокруг «Полководца» есть еще один не проясненный момент: почему именно Греч так быстро откликнулся на пушкинские стихи письмом с высокопохвальным отзывом,— ведь он жил с поэтом в одном городе и мог бы, казалось, передать свои впечатления при очередной встрече?

Надо здесь заметить, что сам Пушкин был далеко не безразличен к тому, как воспринималось стихотворение в публике. Правда, беседуя об этом с А.О. Россетом, он говорил, что «не дорожит мнением знатного, светского общества», но мнение литераторов, ученых, журналистов, военных его не на шутку занимало, и он выспрашивал у своего собеседника, как относится к «Полководцу» офицерская молодежь[37].

В этой связи нельзя пройти мимо гипотезы об адресате одного стихотворного отрывка М.Ю. Лермонтова — в ту пору корнета лейб-гвардии гусарского полка. Он сохранился в тетради автографов поэта и впервые был напечатан в 1875 г. известным историком русской литературы П.А. Ефремовым. Вот его текст:

Великий муж! Здесь нет награды,
Достойной доблести твоей!
Ее на небе сыщут взгляды
И не найдут среди людей.

Но беспристрастное преданье
Твой славный подвиг сохранит,
И, услыхав твое названье,
Твой сын душою закипит.

Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с не притворною слезой
Промолвит: «Он любил отчизну!»

Строфы эти записаны на оборванном сверху и не датированном листке — ясно, что им предшествовали утраченные ныне стихи, в которых, возможно, содержалось указание на того, кому они были адресованы. Относительно последнего высказывались самые разные

предположения и догадки. Б.М Эйхенбаум еще в 1930-х годах полагал, например, что «Великий муж» — это П.Я. Чаадаев. Назывались и другие имена — А.Н. Радищева, П.И. Пестеля, К.Ф. Рылеева, А.П. Ермолова, Н.Н. Раевского. Рядом авторитетных ученых (В.А. Мануйлов, Л.Б. Модзалевский, И.Л. Андроников) было выдвинуто предположение, поддержанное впоследствии Эйхенбаумом, о Барклае де Толли как адресате лермонтовского стихотворения, и эта гипотеза расценивается в современном литературоведении одной из наиболее аргументированных атрибуций «Великого мужа». Но в таком случае эти стихи следует считать не столько самостоятельным поэтическим актом, сколько живым откликом молодого поэта на полемику середины 1830-х годов вокруг оценки роли военачальников 1812 г., в которой он занял определенно пропушкинскую позицию,— своего рода вариацией на темы «Полководца». В том, что это так, нас убеждает идейное и стилистико-фразеологическое созвучие с ним лермонтовских стихов. В них тот же образ некоего высокого, исполненного благородства и доблести лица — воина, гражданина, государственного деятеля,— совершившего патриотический подвиг, который не нашел признания у современников, но будет по достоинству оценен отдаленными потомками. Да и само высокоторжественное обращение «Великий муж» в сочувствовавшей полководцу среде, в журнальной полемике и в эпоху 1812 г. и в 1830-х годах употреблялось, как увидим это далее, применительно именно к Барклаю.

Его облик должен был вообще импонировать Лермонтову — тоже отпрыску старинной шотландской фамилии, переселившейся в Россию и здесь ассимилировавшейся. Поэт не мог не ощущать в этом смысле известной общности своей судьбы с судьбой знаменитого полководца. Трагическая участь отвергнутого и непонятого современниками Барклая находила, вероятно, соответствие в размышлениях Лермонтова над собственным положением в обществе, в его личном мироощущении и душевном опыте[38].

Но как, однако, ни индивидуально окрашены эти строфы о «Великом муже», есть все же основания думать, что в них отразилось восприятие пушкинской апологии Барклая и столичной военной молодежью, разумеется, ее достаточно узким, элитарным кругом.

Что же до близкого окружения Пушкина, то «Полководец» встретил здесь восторженный прием. «Барклай — прелесть!» — лаконично отзывался о «Полководце» 19 октября 1836 г. А.И. Тургенев в письме к П.А. Вяземскому. А 13 января 1837 г. Н.В. Гоголь с восхищением пишет из Парижа Н.Я. Прокоповичу, имея в виду и напечатанную в IV томе «Современника» историческую повесть Пушкина из эпохи пугачевского восстания: «Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Полководец» и «Капитанская дочка». Видана ли была где-нибудь такая прелесть!»[39] Учтем здесь и приведенную выше высокую оценку стихотворения из дневника П.Х. Граббе. Имели место, наверное, и другие, в том числе устные, отклики на «Полководца» друзей и знакомых поэта, но ни один из них письменно по этому поводу к Пушкину не обратился (если бы такие письма существовали, они не могли бы не оставить своих следов в документальных источниках),— только Греч и никто другой.

Он вообще проявил тогда особую заинтересованность в пушкинской апологии Барклая. Еще раз напомним, что помимо письма, о котором мы здесь говорили, Греч тут же перепечатал текст «Полководца» в «Северной пчеле» и сопроводил его панегирической заметкой, а когда Голенищев-Кутузов попытался через газету распространить свою брошюру не только с антипушкинскими, но и с антибарклаевскими выпадами, отклонил его домогательства. К этому следует добавить, что Греч был редактором исторического раздела в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, в IV томе которого в конце 1835 г. появилась не без его ведома, а возможно, и прямого участия упомянутая выше статья С. Маркевича о Барклае, поражающая своей близостью к пушкинскому истолкованию его облика. Греч, видимо, всюду, где только мог, пропагандировал «Полководца». Например, сам же он, вспоминая о разрыве осенью 1836 г. с Плюшаром и отказе от редактирования «Энциклопедического лексикона», рассказывал, что, выйдя от Плюшара, встретил на Невском Н.С. Голицына и в завязавшемся разговоре спросил, «читал ли он прекрасные стихи Пушкина о Барклае... и на ответ его, что не читал, пошел с ним в книжную лавку Жебелева и прочитал их»[40].

Думается, не будет преувеличением предположить, что Пушкина и Греча связывали с памятью о Барклае

в 1812 г. какие-то предшествовавшие появлению «Полководца» общие интересы, разговоры, обсуждения. Примечательно в этой связи суждение о Грече-мемуаристе Р. Иванова-Разумника, подготовившего более 60 лет назад издание его записок — памятника непреходящей литературно-исторической ценности. Сетуя на то, что немалая часть богатейших жизненных впечатлений Греча осталась за пределами закрепленных на бумаге воспоминаний, Иванов-Разумник заметил: «Чего бы стоила, например, одна его статья о Пушкине... о котором он знал многое такое, что теперь неизвестно ни одному из пушкинистов»[41].

Но будь такая «статья» написана, она, наверное, пролила бы свет и на эту сферу отношений Пушкина с Гречем, а быть может, и на источники осведомленности поэта о исторической подоплеке темы его стихотворения.

Стало быть, дело касается неких важных обстоятельств биографии Барклая в эпоху 1812 г., о которых Пушкин, видимо, знал, но не хотел или, по условиям своего времени, не мог сообщить подробно, ограничившись сжатой фразой, и о которых мы ныне — по прошествии более 150 лет после смерти поэта и 180 лет после Отечественной войны — ничего не знаем или знаем очень мало.

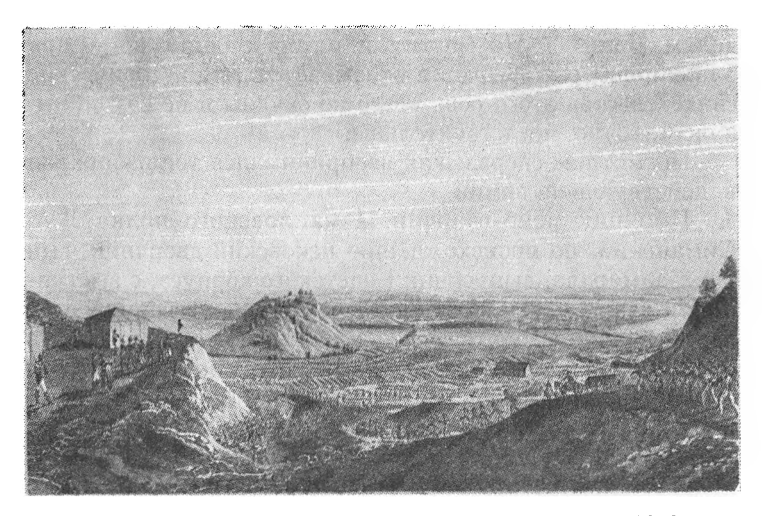
Обо всем этом нам и предстоит теперь рассказать. Но прежде надо самым тщательным образом разобраться в положении Барклая в военно-политической ситуации лета и осени 1812 г.

ГЛАВА II
«Роптал народ...»

О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА?

Одно из «вообразительных сказаний» о Барклае, на которые указывал в свое время А.Т. Борисевич, связано с тем, как оценивалось в историографии отношение к нему русского общества в пору Отечественной войны. Историки издавна считали, что осуждающие Барклая толки распространились в недрах армии и гражданского населения в первые же дни неприятельского вторжения, в летние месяцы непрерывно нарастали, продержавшись до конца года. Так, А.Н. Попов в 70-х годах прошлого века писал о Барклае: «С самого начала войны общее мнение резко выразилось против него и все ожидали, что он будет уволен от занимаемой должности»[1]. За последние сто с лишним лет эта точка зрения неоднократно повторялась в работах разных авторов, став своего рода «общим местом» в исторической литературе[2].

Вряд ли Попов был знаком с записками Л.Л. Беннигсена, опубликованными много лет спустя после его смерти, но в них говорится примерно о том же: «с самого начала кампании» армия «от генерала до солдата» жаждала, «можно сказать, так же, как и весь народ, смены главнокомандующего»[3]. Можно было бы не посчитаться с этим тенденциозным показанием, поскольку Беннигсен — противник Барклая, безуспешно посягавший в 1812 г. на его пост, в своих записках (они были составлены вскоре после войны в расчете на читателей в высокопоставленных военных сферах) стремился его опорочить. Можно было бы не принять во внимание и близкое по смыслу мемуарное свидетельство А.П. Ермолова — тоже одного из недоброжелателей полководца[4]. Но аналогичные сведения мы находим и в воспоминаниях искренне почитавших Барклая людей, например, служивших под



Переход "Великой армии" Наполеона через Неман 12 июня 1812 г. Гравюра И. Клаубера по оригиналу Д. Бажетти. 1810-е годы. ГИМ

его началом в 1-й армии А.Н. Муравьева, его брата Н.Н. Муравьева-Карского и М.А. Фонвизина или его адъютанта в 1811—1812 гг., прославленного партизана А.Н. Сеславина: «С первого шага отступления нашей армии близорукие требовали генерального сражения... Армия возроптала, главнокомандующий подвергнут был ежедневным насмешкам и ругательствам от подчиненных»[5].

Как-то не верится, однако, что отступление, едва только начавшись, когда никто еще не знал, до какого предела оно дойдет и какова будет его развязка, сразу же вызвало повсеместно в войсках нападки на руководившего ими военачальника. Не переносили ли здесь мемуаристы-очевидцы свои последующие, резко запавшие в память впечатления на более раннее время, не имеем ли мы здесь дело с аберрацией исторического зрения, вообще столь частой в мемуарах, где минувшее как бы «сгущается», «сжимается», на первоначальную осведомленность накладывается позднейшая, даты путаются и последовательность событий выстраивается задним числом?

Обратимся поэтому к источникам синхронным.

Е.В. Тарле, отмечая скудость и случайность документации, отражавшей общественные умонастроения «в разгар и в конце нашествия», сетовал на то, что «еще скуднее та, которая относится к первым месяцам и не-

делям войны»[6]. Но маститый историк ошибался — при ближайшем рассмотрении оказывается, что исторические свидетельства этого рода вовсе не скудны и не случайны, а достаточно представительны.

Посмотрим сперва, как воспринимался тогда Барклай в действующей армии.

Поручик лейб-гвардии Измайловского полка Л.А. Симанский, по происхождению псковский дворянин, сын вице-адмирала, выпускник Кадетского корпуса, с выступления гвардии в марте 1812 г. к западной границе стал вести «журнал», не прерывавшийся вплоть до его гибели в 1828 г. в турецкой кампании. Этот подробный свод ежедневных записей, по выражению его позднейшего издателя, «с точностью фотографических снимков рисует нам бытовую сторону великого похода»[7]. Здесь воссозданы все перипетии отступательных маневров 1-й армии, будни походной жизни со множеством имен офицеров и генералов, но Барклай среди них вообще не назван[8].

Помимо дневника до нас дошли и письма Л.А. Симанского к матери и брату — в них он раскованно и непринужденно делился не только личными переживаниями, но и наблюдениями над военными действиями, обстановкой в главной квартире и т.д. За июнь и июль 1812 г. сохранилось пять таких пространных и наполненных фактическими сведениями посланий — о Барклае и тут ни слова[9].

Но вот перед нами дневник капитана лейб-гвардии Семеновского полка П.С. Пущина — впоследствии генерал-майора, члена Кишиневской управы Союза благоденствия, основателя масонской ложи «Овидий», по которой в начале 1820-х годов он был тесно связан с Пушкиным. Дневник Пущина тоже велся ежедневно с момента выступления гвардии из Петербурга и тоже охватывал собой всю Отечественную войну. Его записи живее в передаче впечатлений от встреч и бесед с друзьями-однополчанами, от военачальников, больше здесь штабных слухов и размышлений над ходом отступления, но за июнь, июль да и начало августа в адрес Барклая мы не находим здесь ни одного худого слова[10].

Схожи с этими дневниками по манере ведения поденные записи офицера лейб-гвардии Конногвардейского полка Ф.Я. Мирковича — и они начинаются с выхода гвардии из Петербурга в марте 1812 г. и длятся до конца кампании. Педантично, не реже чем через день, заносил

он сюда все, что видел и слышал в тяжком пути 1-й армии от границ до Москвы,— новости о распоряжениях и планах командования, споры в офицерской среде об отступательных маневрах, собственные рассуждения по поводу оставления противнику городов, сел и целых губерний. И тем не менее, не одобряя эту внушающую самые мрачные мысли «ретираду», Ф.Я. Миркович не связывает ее персонально с Барклаем и не бросает ему ни одного упрека[11].

Теперь перенесемся от отходившей через западные губернии 1-й армии на юг, в расположение 3-й армии А.П. Тормасова (позднее она сольется с Молдавской армией П.В. Чичагова). Одной из бригад, а затем и дивизией командовал здесь генерал-майор В.В. Вяземский — он тоже вел поденный «журнал», и с открытия кампании до смертельного ранения под Борисовом 9 ноября 1812 г. фиксировал в нем передвижения воинских частей, боевые операции, разорительные для местного края арьергардные стычки с наседавшим противником и т.д. Потомок древнего княжеского рода, воспитанный на победительных традициях екатерининского царствования, участник суворовских походов и адриатической экспедиции адмирала Д.Н. Сенявина, В.В. Вяземский с тревожным недоумением и уязвленным патриотическим чувством откликался на отход в глубь страны русских войск: «В армии нашей все удивляются и не могут отгадать маневры и методы... начать войну отступлением, впустить неприятеля в край. Вот загадка». Или: «Теперь уже сердце дрожит о состоянии матери России... Вся армия, весь народ обвиняет отступление нашей армии от Вильны до Смоленска». Он пытается доискаться до его причины и среди тех, кого «обвиняют», не боится прямо назвать Александра I и его все более набиравшего силу временщика («при дворе кто помощник государя? Граф Аракчеев. Где вел он войну? какою победою прославился?»). Но примечательно, что в записях «журнала» за лето 1812 г. Барклая в этом обличительном контексте В.В. Вяземский ни разу не называет[12].

Подобный же результат дает и просмотр синхронных свидетельств, вышедших в 1812 г. из среды гражданских жителей.

Один из наиболее ценных памятников такого рода — дневник генерал-лейтенанта князя Д.М. Волконского, младшего сподвижника Суворова и Кутузова, перед вой-

ной жившего в отставке в Москве на положении богатого и просвещенного барина. Летом 1812 г. все его внимание приковано в дневнике к приближению неприятельских войск к древней столице, с нарастающим беспокойством ловит он малейшие слухи об изменении боевой обстановки, о замыслах военачальников, воскрешает в следующих день за днем записях переливы народной молвы, отклики дворянского общества и городского простонародья на отступление, но в течение июня и июля Барклая в этой связи также ни разу не поминает — впервые его имя возникает в дневнике Д.М. Волконского лишь 19 августа[13].

Отсутствуют какие-либо осуждающие его отзывы и в другой столь же подробной хронике военно-общественной жизни московского дворянства того времени — в широко известных в литературе письмах М.А. Волковой к В.И. Ланской за июнь — июль 1812 г. (кстати, послуживших впоследствии важным источником для Л.Н. Толстого при изображении в «Войне и мире» умонастроений московского дворянства в 1812 г.)[14].

Аналогичны по насыщенности бытовыми данными об общественной жизни Петербурга письма цензора иностранных газет в столичном почтамте И.П. Оденталя А.Я. Булгакову — тогда чиновнику по секретной переписке при Ф.В. Ростопчине, а позднее известному московскому почт-директору и литератору. За постоянную осведомленность в политических новостях и оперативность в их распространении Оденталь был даже наречен современниками «газетёром». Он как бы аккумулировал все расходившиеся в дворянском и чиновничьем мире столицы толки о войне и каждый почтовый день отправлял своему адресату в Москву подробные корреспонденции с их изложением. Находим мы здесь и развернутые соображения об образе действий командования, критические отзывы о военачальниках. За июнь — июль 1812 г. сохранилось полтора десятка таких посланий, но имя Барклая с каким-либо отрицательным оттенком опять же не упоминается[15].

К сказанному остается добавить, что неуважительные на его счет отзывы не заключают в себе и дневники, веденные летом 1812 г. лицами духовного звания (дневники представителей других недворянских сословий — купцов и тем более крестьян от того времени в первозданном своем виде до нас не дошли). Нет таких отзы-

вов ни в «Записках дневных» саратовского протоиерея Н.Г. Скопина[16], ни в дневнике киевского митрополита Серапиона (при том, что за июнь и июль 1812 г. в нем много откликов на войну)[17], ни в поденных заметках смоленского священника Н.А. Мурзакевича, хотя в записях за лето 1812 г. имя Барклая как главнокомандующего 1-й Западной армией мелькает на многих страницах[18].

Факт отсутствия информации сам по себе достаточно информативен. Упорное «молчание» всех этих синхронных показаний относительно Барклая далеко не случайно. Ведь в них отразились не только личные взгляды авторов, но в какой-то мере мнение рядовых слоев армии и мирных жителей, циркулировавшее на широком географическом диапазоне: в центре боевых действий и в их периферийном, юго-западном направлении, в Москве и Петербурге, в провинции — Саратове, Киеве и в прифронтовом Смоленске. Весьма симптоматично, в частности, отсутствие признаков малейшего недовольства Барклаем в дневниках и письмах гвардейских офицеров 1-й Западной армии, в кругу которых отступление переживалось особенно болезненно.

Следовательно, нет никаких документальных данных, позволяющих считать, что критика Барклая в июне — июле 1812 г. имела в этих слоях хоть какое-то распространение. Напротив, сохранилось немало свидетельств, обойденных вниманием историков, о том, что в начальную пору войны его деятельность как полководца оценивалась в обществе и в армии совсем в иных тонах.

Так, тот же Оденталь извещает 5 июля 1812 г. А.Я. Булгакова о высоком боевом духе отходившей с боями к Полоцку 1-й армии («Рядовые... не могут дождаться той минуты, чтобы пощитаться с французами... Они кипят мщением») и предрекает скорые ее успехи, явно подразумевая при этом Барклая: «Положитесь на предусмотрительность ваших начальников! Они знают, для чего медлят доставить вам случай увенчать себя лаврами»[19]. Дипломатический чиновник при штабе 1-й армии К.В. Нессельроде относился к Барклаю весьма недоброжелательно из-за его постоянных столкновений с министром финансов Д.А. Гурьевым, на дочери которого был женат. Но 27 июля 1812 г., в момент маневров русских войск у Смоленска, которые, казалось, вот-вот завершатся крупным сражением, не мог не сообщить жене, что хотя в Барклае лично и «ошибался», «но при всем этом, план

военных действий так хорош, а армия так подготовлена, что все кончится отлично»[20].

Эти идущие из самого 1812 г. одобрительные оценки всецело подтверждаются и некоторыми мемуарными показаниями очевидцев. И.П. Липранди, обер-квартирмейстер 6-го пехотного корпуса Д.С. Дохтурова, вспоминал, опираясь на свои поденные записи 1812 г., что в начальный период войны «армия в общем значении слова имела полную доверенность к Барклаю», «она... ежедневно видела его на коне перед собою с тою невозмутимостью в опасностях, которая одна привязывает подчиненных к своему вождю в то время, когда взаимно стоят лицом к лицу со смертию»[21].

С пониманием оценивались участниками событий и усилия Барклая по сбережению войск. Как вспоминал о первом месяце кампании начальник Дипломатической канцелярии 2-й Западной армии А.П. Бутенев, «Барклай продолжал удивительное отступление. Тогдашние сторонники ставили его выше французского генерала Моро, который прославился подобным же движением в войне с Германией. Он довел свою армию во всей целости до Витебска; у него не было ни отсталых, ни больных и на пути своем он не оставил позади не только ни одной пушки, но даже и ни одной телеги или повозки с припасами»[22]. Об искусном руководстве Барклая отступлением 1-й армии писал и артиллерийской офицер Н.Е. Митаревский в своих предельно достоверных по передаче боевой обстановки и настроений солдатской массы записках: «Во весь наш поход от Лиды до Дриссы и оттуда до Смоленска, несмотря на дурную погоду и трудные переходы, все до последнего солдата были бодры и веселы. Больных и отсталых было не более, как и в обыкновенных походах; лошади были в хорошем теле и не изнурены»[23].

Верно определил отношение в ту пору к Барклаю в войсках близкий к нему П.Х. Граббе: «На Барклая сначала надеялись и потом перестали»[24].

Так когда же «перестали»?

Забегая немного вперед по ходу нашего повествования, заметим, что перелом в отношении к Барклаю армии и мирного населения наступил лишь после оставления по его приказу 6 августа Смоленска — вывод, неоспоримо следующий из перекрестного анализа эпистолярно-дневниковых и мемуарных материалов.

Очень точно отметил эту важную черту общественной атмосферы 1812 г. секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны Н.М. Лонгинов — вдумчивый и хорошо информированный наблюдатель военных происшествий. 13 сентября он писал в Лондон своему другу и покровителю С.Р. Воронцову: «До Смоленска Барклая винить нельзя»[25]. Но со сдачей Смоленска, вызвавшей по всей России взрыв патриотического негодования, нападки на его отступательную линию обретают, действительно, широкий, подлинно общественный размах. Однако недовольство Барклаем длилось в армии относительно недолго — до его отъезда в 20-х числах сентября из главной квартиры, т.е. примерно пять-шесть недель, и по освобождении Москвы постепенно затихло. Во всяком случае в дошедших до нас после сентября 1812 г. письмах и дневниковых записях нападки на Барклая перестают фигурировать.

Таким образом, вопреки бытующему в литературе взгляду, отношение русского общества к Барклаю не было в 1812 г. однозначно отрицательным — в зависимости от хода военных событий оно существенно колебалось. Далее мы еще вернемся к этому феномену и постараемся наполнить предварительно намеченную хронологическую канву живой конкретикой современных свидетельств. Пока же зададимся только вопросом: если в первые полтора месяца войны — до начала августа — критика в адрес Барклая в рядовых слоях армии и гражданском населении не прослеживается, то где же она возникла и каковы были первичные очаги ее распространения? Но прежде чем ответить на него, необходимо коснуться официального статуса Барклая и борьбы в верхах армии по поводу планов кампании.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС БАРКЛАЯ

Какой властью обладал он в 1812 г. — об этом долгое время даже у современников не было должной ясности.

Оттого ли, что Барклай командовал наиболее крупной, 1-й Западной армией, при которой находилась царская свита, оттого ли, что он совмещал должность ее командующего с постом Военного министра, сохранившимся за ним до конца августа, оттого ли, что принятые в начале 1812 г. новые военно-законодательные

установления не были еще толком усвоены в войсках и еще более — среди мирных жителей, наконец, сыграл ли здесь свою роль довоенный авторитет Барклая,— так или иначе, но в ходе войны и много позднее стойко держалось убеждение в том, что в 1812 г. он стоял во главе русских армий. Так, в первом жизнеописании Барклая, изданном еще в 1813 г., отмечалось, что в начале кампании он «получил главную команду над всеми армиями»[26], и это повторялось потом биографами полководца[27]. В речи иеромонаха Тамбовского Николая на панихиде по Барклаю в июне 1818 г. говорилось, что в Отечественную войну ему была «вверена главная и полная власть над всеми армиями, действовавшими против бесчисленных чужеземных полчищ, ворвавшихся в пределы наши»[28]. Как общий главнокомандующий он многократно упоминался и в «Походных записках» И.Т. Радожицкого[29].

Современники связывали наделение Барклая высшими военными полномочиями с отъездом царя из армии. Фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны Р. Эдлинг вспоминала, что «государь отправился в Москву, поручив войска храброму и доблестному Барклаю»[30]. О том же свидетельствовал в своих записках и его адъютант В.И. Левенштерн[31].

В рядах 1-й и 2-й Западных армий убеждение в этом упрочилось после их соединения под Смоленском,— как отмечено в дневниковой записи Ф.Я. Мирковича за 22 июля 1812 г., «в одну общую армию под начальством Барклая»[32]. «Барклай принимает командование обеими армиями»,— вторит ему в своих записках квартирмейстерский офицер штаба 1-й армии А.А. Щербинин[33]. Командир пехотной дивизии, а затем и корпуса во 2-й армии И.В. Васильчиков считал, что под Смоленском Барклаю «велено было принять главное начальство над обеими» армиями[34]. Капитан Апшеронского пехотного полка Д.И. Ахшарумов (его имя еще не раз будет возникать в нашей книге) со своей стороны свидетельствовал: «Генерал Барклай де Толли, по званию Военного министра, согласно с высочайшею волею, приняв начальство над обеими Западными армиями, должен был один распоряжаться дальнейшими движениями и действиями»[35].

Поэтому и определение в августе 1812 г. М.И. Кутузова единым главнокомандующим воспринималось многими как *смещение* с того же поста Барклая[36]. В этом

смысле о его «смене» писал, например, Л.Л. Беннигсен[37]. «В Вязьме Барклай де Толли сменяется и место его заступает Голенищев-Кутузов»,— писал Н.Н. Муравьев-Карский[38]. Когда же Кутузов прибыл к войскам, его называли здесь «новым» главнокомандующим, а Барклая «бывшим»[39].

Представление о том, что он, подобно Кутузову, занимал в 1812 г. высший в армии пост, настолько глубоко вошло в сознание современников, что, как мы помним, даже Пушкин в «Полководце» изобразил Барклая «вождем», уступающим власть Кутузову, а последний в черновых вариантах стихотворения назван его «преемником».

И в трудах историков, начиная с середины прошлого века и до последних лет, мы то и дело сталкиваемся с утверждениями о «*передаче*» Барклаем Кутузову командования над армией; о назначении последнего на его место, о том, что он был «номинальным» и «фактическим» главнокомандующим всеми армиями, став им «по должности Военного министра», и т.д.[40].

Все это, однако, не соответствует действительному военно-юридическому статусу Барклая. Перед нами, в сущности, еще одно из тех «вообразительных сказаний», которые сопровождали полководца при его жизни и посмертно.

По военному законодательству того времени — «Учреждению для управления большой действующей армией», изданному как раз перед войной при решающем участии Барклая, единый главнокомандующий был наделен на театре боевых действий и в прилегающих к нему губерниях самой высокой властью, какой только могло обладать в абсолютистском государстве частное, не принадлежавшее к царствующему дому лицо. Он представлял здесь особу императора, и его приказания выполнялись всеми военными и гражданскими чинами «яко высочайшие повеления», причем в его полном подчинении состояли находившиеся в армии члены императорской фамилии. Существенно, однако, что в случае пребывания в армии царя полномочия главнокомандующего он принимал на себя[41].

Сам Барклай накануне французского вторжения настоятельно рекомендовал Александру I «главное начальство над всеми тремя армиями поручить для общей пользы одному полководцу, которому должно иметь свою квартиру по середине между армиями в Вильне»[42], царь,



Александр I. Гравюра Ф. Вендрамини по оригиналу Л. Сент-Обена. 1813. ГИМ

однако, не внял этому совету и ни в Петербурге, ни по прибытии в войска не распорядился об общем главнокомандующем, что должно было быть оформлено его специальным приказом по армиям и указом Правительствующему Сенату.

Поэтому с момента своего приезда в Вильно 14 апреля и до 6 июля 1812 г. главнокомандующим всех русских армий был именно он, Александр I. И не только формально, но по сути дела тоже, ибо он брал на себя руководство войсками, направляя свои предписания командующим армиями, сносясь непосредственно с командирами корпусов и отдельных отрядов, вникая в состояние квартирмейстерской и хозяйственных служб и т.д.[43] Но при этом Александр I часто действовал в обход Барклая, не считаясь с его положением главнокомандующего 1-й армией.

В ночь с 6 на 7 июля, по настоянию А.А. Аракчеева, А.Д. Балашева и А.С. Шишкова, Александр I в сопровождении особо приближенных лиц отправился из Полоцка в Москву. К тому побуждали важные государственные соображения. Его некомпетентное в военном отношении вмешательство в текущие армейские дела вносило путаницу в руководство боевыми действиями. Непопулярное отступление русских войск от границы бросало тень на стоявшего во главе их царя и порождало, как мы видели выше, нелестные мнения на его счет даже в среде высшего офицерства. К тому же пребывание здесь Александра I было для него и лично небезопасно, что при неблагоприятном стечении обстоятельств могло губительно отразиться на судьбе правящей династии. Вместе с тем для поддержания поколебленного первыми неудачами патриотического духа и мобилизации всех сил государства на отражение на-

шествия требовалось, чтобы сам царь призвал страну к борьбе с врагом из древней русской столицы.

Однако и при отъезде Александр I не назначил Барклая единым главнокомандующим. И на то у него были свои причины.

В тот момент царь вовсе не думал, что покидает действующую армию фактически до конца кампании, как то произошло на самом деле. Он предполагал, что спустя какое-то время вернется,— именно потому и оставил при штабе 1-й армии большую часть своей свиты. Как сказано в записках Л.Л. Беннигсена, в войсках надеялись, «что его отсутствие будет непродолжительно»[44]. А.П. Ермолов тоже вспоминал, что им было «обещано скорое возвращение»[45]. В сентябре 1812 г. Александр I признавался сестре, великой княгине Екатерине Павловне: «до назначения Кутузова я твердо решился вернуться» к армии[46], но, как теперь выясняется, и после отъезда Кутузова к войскам царь не расставался с этим намерением. В неопубликованных «собственноручных записках» Балашев рассказывает, как в августе высказал царю свое желание отправиться в армию, на что «его величество отвечал: подожди, вот скоро мы получим известие от князя Кутузова, и ежели он отдалит французов от Москвы, то мы вместе поедем»[47]. И только оставление ее Наполеону положило до декабря 1812 г. конец этим надеждам.

В их свете можно лучше понять труднообъяснимую, на первый взгляд, позицию царя в столь ответственном для судеб кампании вопросе.

Александр I был наделен немалой долей военного честолюбия и, невзирая на плачевный опыт Аустерлица, в начальную пору войны все еще не оставлял горделивой мечты лично помериться на поле брани с овеянным мировой полководческой славой Наполеоном. По свидетельству сардинского посла в Петербурге Жозефа де Местра, с которым Александр I много времени проводил перед войной в доверительных беседах, он «присутствие свое в главной квартире объяснял тем, что в России нет генерала, способного стать во главе такого огромного войска... государь же, по самой силе своего сана, мог служить объединителем»[48]. В воспоминаниях К.В. Нессельроде переданы слова Александра I, сказанные ему еще осенью 1811 г.: «В случае войны я намерен предводительствовать армиями»[49]. О том, что «его императорскому величеству угодно было стать лично во главе своих армий», знал тогда и посвященный в планы царя А.И. Чернышев[50].

Заметим также, что среди причин, приведших к опале М.М. Сперанского, была и глубокая обида Александра I на то, что он не отнесся всерьез к его притязаниям стать главнокомандующим в надвигавшемся столкновении с Францией. 17 марта — в тот день, когда решилась участь реформатора,— оскорбленный царь жаловался Я.И. де Санглену: «Я спрашивал его, как он думает о предстоящей войне и участвовать ли мне в ней своим лицом? Он имел дерзость, описав мне все воинственные таланты Наполеона, советовать, чтоб, сложив все с себя, я собрал Боярскую думу и предоставил ей вести Отечественную войну. Но что же я такое. Разве нуль?»[51].

Вот в угоду этому затаенному, гласно никогда не высказывавшемуся стремлению по возвращении в главную квартиру вновь возглавить действующие армии, и не желая вместе с тем создавать для себя формально-юридических затруднений, Александр I и оставил пост единого главнокомандующего официально не замещенным.

Уезжая из Полоцка, он целый час провел в беседе с Барклаем. В.И. Левенштерн, пользовавшийся полным доверием последнего, был в этот день дежурным адъютантом и слышал прощальные слова императора. Позднее он вспоминал, что тот предоставил Барклаю «неограниченные полномочия» — «на нем одном лежало все бремя дальнейшей судьбы России»[52]. Это удостоверяется и письмом самого Александра I к Барклаю от 28 июля 1812 г., где он напоминал ему: «Я передал в ваши руки, генерал, спасение России»[53]. Скорее всего так оно и было. Александр I, выделявший Барклая среди военачальников 1812 г., перед отъездом наверняка говорил ему что-то подобное, подтвердив свое мнение о его первенствующей роли в руководстве войсками. Но сделано это было келейно, в устной форме, и публично объявленного акта о том не последовало. И все 42 дня, прошедших с того момента до приезда в войска Кутузова, Барклай, имя которого было на устах всей России, продолжал занимать должность главнокомандующего одной из «частных» русских армий — подобно Багратиону и Тормасову, на равных с ними началах.

Правда, не «равны» были сами армии, которыми они командовали. Крупнейшей, повторяем, являлась 1-я армия, на начало войны почти в 3 раза превосходившая по численности и артиллерийской оснащенности 2-ю. К

тому же 1-я армия располагалась на направлении главного удара французов, сосредоточивших против нее лучшие свои силы во главе с Наполеоном, и ею в значительной мере определялось положение 2-й армии и общая военная обстановка, особенно после соединения обеих армий у Смоленска.

Но юридически это не меняло дела, и, следовательно, современники заблуждались, полагая, что Барклай был заменен Кутузовым, «уступив» ему власть,— Кутузов был назначен на незанятый до него пост единого главнокомандующего.

Ясно, что приказы Барклая имели силу только в 1-й армии и он не мог принимать единоличных решений, когда дело касалось ее совместных действий со 2-й армией. Проведение же общей линии зависело от взаимного согласия и достигалось путем переговоров, консультаций и т.д. Хотя Барклай отклонил план своего генерал-квартирмейстера К.Ф. Толя, предусматривавший наступательные операции против французов на Рудню, но затем, под давлением Багратиона, великого князя Константина Павловича и других лиц из главной квартиры, вынужден был 25 июля созвать в Смоленске военный совет, и в результате горячих дебатов ему был навязан тот способ действий, который в глубине души он не одобрял.

Вообще именно по достижении Смоленска неблагоприятные следствия отказа Александра I от назначения единого главнокомандующего выявились наиболее очевидным образом. Эта кричащая в тех условиях непредусмотрительность, казалось бы, нейтрализовалась тем, что при встрече Барклая с Багратионом в Смоленске 21 августа последний добровольно ему подчинился — именно добровольно, а не в соответствии «с высочайшею волею», как неверно считали современники. Но на самом деле подчинение это было чисто символическим и эфемерным, что обнаружилось буквально через несколько дней, ибо Багратион действовал по своему усмотрению, а если и совместно, то лишь в тех немногих случаях, когда Барклаю удавалось добиться общей договоренности. Еще раз подчеркнем, что после соединения у Смоленска властью главнокомандующего обеими армиями ни «номинально», ни «фактически» он не располагал, о чем в ноябре 1812 г. и сообщал Александру I: «Два главнокомандующие двух соединившихся армий равно зависели от вашего императорского величества и равно уполномо-

чены были властию, принадлежащей сему сану. Каждый имел право непосредственно доносить вашему императорскому величеству и располагать по своему мнению вверенною армиею»[54].

Дело осложнялось и принятой в русской армии практикой предпочтения старшинства при определении ранга военачальников. Все три главнокомандующих Западными армиями находились в одном чине генерала от инфантерии, но Тормасов был произведен в него за 8 лет до Барклая, а Багратион хотя и одновременно с ним, но к 1812 г. все равно превышал его по службе. Во-первых, он на полтора года раньше получил генерал-лейтенантский чин — еще в 1805 г., во-вторых, имел Барклая под своей командой в кампании 1806—1807 гг. и вообще обладал бо́льшим «стажем» самостоятельного командования армиями и отдельными отрядами, в-третьих, превосходил его высшими в России воинскими наградами, в частности, орденом св. Георгия 2-го класса (1805) и орденом св. Андрея Первозванного (1809) — Барклай этими знаками отличия будет пожалован только в кампаниях 1812—1814 гг. В частности, и поэтому Багратион, как увидим далее, считал себя вправе оспаривать у Барклая первенство в начальствовании войсками.

Не мог, наконец, Барклай стать единым главнокомандующим и «по должности Военного министра», поскольку, согласно упомянутому выше «Учреждению», лицо, занимавшее этот пост, в боевых условиях отрешалось от оперативного руководства войсками — любой командующий армией «находился вне всякого его действия»[55]. Правда, в качестве Военного министра Барклай, как и в пору пребывания Александра I в армии, был наделен правом объявлять его волю, но речь шла о вполне конкретных в каждый данный момент царских повелениях, и Барклай не имел полномочий свои собственные приказания отдавать от имени Александра I, от которого летом 1812 г. был отдален сотнями верст. В одной из записок конца 1812 г. он признавался царю, что, обладая формально возможностью объявлять его распоряжения, тем не менее «не дерзнул употреблять сего права без высочайшего соизволения»[56].

Уклончивость Александра I в таком животрепещущем в 1812 г. деле внесла сумятицу в сознание не только современников, но и многих из тех, кто в последующем обращался к его истории. Это отметил еще К. Клаузевиц —

активный участник кампании, служивший тогда штабным офицером в корпусах 1-й армии: «Как, собственно, обстояло дело с главнокомандованием, никто в точности не знал, да и теперь, я полагаю, историку не легко ясно и определенно высказаться по этому вопросу, если он не признает, что император остановился на полумере»[57].

Но двойственная позиция царя ставила и самого Барклая в положение крайне двусмысленное, создав, если можно так сказать, военно-юридические предпосылки развязывания борьбы против него в верхах армии после отъезда из нее Александра I. С одной стороны, в глазах множества военных и гражданских лиц Барклай представал в роли предводителя всех русских армий на театре военных действий, а с другой,— не имея на то от царя официальных полномочий, был предельно скован в своих полководческих усилиях, будучи к тому же обречен проводить непопулярную в армии и обществе стратегическую линию.

БАГРАТИОН И НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 1812 г.

Среди русских военачальников той эпохи не было, пожалуй, столь несходных, несовместимых фигур, как главнокомандующие 1-й и 2-й Западными армиями.

Прямой потомок некогда царствовавшей в Грузии династии, Петр Иванович Багратион, подобно другим выходцам из местных княжеских родов, с юных лет связал свою жизнь со старинной русской аристократией. Вступив в начале 1780-х годов в военную службу, он стал сближаться через близкую родственницу А.А. Голицыну (урожденную княжну Грузинскую) с военно-правительственной знатью, со двором, пользуясь, по выражению А.П. Ермолова, его «могущественным покровительством»[58].

Особое расположение питал к Багратиону Павел I, назначивший его комендантом своей летней резиденции в Павловске и шефом любимого своего детища — лейб-гвардии Егерского батальона, в обязанности которого входила охрана царской семьи. Павел I одаривал Багратиона крупными земельными пожалованиями, а в 1800 г. способствовал его женитьбе на графине Е.П. Скаврон-

ской, состоявшей в родстве с императорской фамилией. Это еще более упрочило придворные связи Багратиона, открыв для него дома самых знатных представителей большого петербургского света. Хотя Багратион, бывший в дружбе и приятельстве с главными участниками цареубийства 11 марта 1801 г., к нему самому прикосновенен не был и вообще сторонился закулисных поползновений придворно-правительственных кругов, взошедший на престол новый император испытывал к нему недоверие, а впоследствии с предубеждением относился и к его полководческим действиям.

Настороженность к нему Александра I нашла дополнительный повод в одном инциденте придворной жизни Багратиона. В 1807 г. им увлеклась великая княжна Екатерина Павловна, натура страстная и своенравная, и ради этого чувства она была готова на далеко идущие поступки. В августе 1807 г. императрица Елизавета Алексеевна, многое знавшая о ее интимной жизни, сообщала матери, маркграфине Баденской: «Теперь она связана, как два пальца руки, с князем Багратионом, который два лета жил в Павловске, командуя там гарнизоном. Если бы он не был столь некрасив, она рискнула бы погубить себя в этой связи, но его уродство спасло великую княжну». «Уродство» Багратиона не помешало тем не менее продолжению отношений с ним Екатерины Павловны и после выхода ее в 1809 г. замуж за принца Георга Ольденбургского, между влюбленными велась переписка, дело вызвало нежелательный для двора резонанс и в результате в августе того же 1809 г. Багратион получил назначение состоять при главнокомандующем Молдавской армией А.А. Прозоровском. Удаление из Петербурга на турецкий театр боевых действий, где война безнадежно затягивалась, означало для Багратиона с его уже достигнутой к тому времени военной славой в лучшем случае почетную ссылку.

Свое неожиданное продолжение эта скандальная история получила после его смерти 12 сентября 1812 г. в имении Голицыных в селе Симы Владимирской губернии, куда он был перевезен после ранения в Бородине. Узнав каким-то непостижимым образом уже на следующий день в Ярославле о кончине Багратиона, Екатерина Павловна тут же пишет взволнованное письмо Александру I: «Припомните мои отношения с ним... в его руках документы, которые могли бы жестоко (в другом месте

письма: „ужасно".— *А.Т.*) меня скомпрометировать, уронив в глазах посторонних... Для меня (и могу сказать, для вас самого) бесконечно важно, чтобы это дело осталось неизвестным. Я прошу вашего соизволения распорядиться запечатать его бумаги и доставить их вам, и разрешите мне пересмотреть их, чтобы изъять то, что касается меня». «Прикажите сделать это и поскорее, дело не терпит отлагательства, ради Бога, чтобы там никто не узнал»,— заклинала она брата в конце письма. Тотчас в село Симы были отряжены два чиновника, но ко времени их прибытия архив и оставшееся после Багратиона имущество были уже разобраны и никаких писем к нему Екатерины Павловны или иных связанных с ней документов найдено не было. Не обнаружились они и в огромной связке бумаг, доставленной из села Симы к Александру I в Петербург. Тогда к их розыску привлекли близкого друга и доверенное лицо Багратиона генерал-лейтенанта С.И. Салагова, подозревавшего, что интересующие Екатерину Павловну документы сам же Багратион сжег еще при отъезде в Молдавскую армию. Обо всем этом Александр I 8 ноября 1812 г. известил сестру.

Оба эти письма впервые были опубликованы в 1910 г. великим князем Николаем Михайловичем в фундаментальном издании «Переписка императора Александра I с сестрою великой княгиней Екатериной Павловной», вызвавшем в научно-историческом мире в некотором роде сенсацию. Откликаясь на это издание, П.И. Бартенев выдвинул относительно так и не найденных писем Екатерины Павловны к Багратиону весьма неожиданную гипотезу: «В чем заключалась эта переписка, остается неизвестным. Не в связи ли с нею показание Коленкура о замысле устранить Александра Павловича от престола... Не было ли тут чего похожего на 1757-й год, т.е. на сношения великой княгини Екатерины Алексеевны с фельдмаршалом Апраксиным?»

Бартенев имел здесь в виду сообщения французского посла в России в 1807—1811 гг. А. Коленкура (равно как, впрочем, и других иностранных дипломатов в Петербурге) насчет распространенных в русском обществе слухов о возведении на престол вместо крайне непопулярного после Тильзита Александра I честолюбивой и смелой Екатерины Павловны — символа консервативной национально-аристократической оппозиции. По аналогии

Бартенев — великий знаток дворцовых интриг XVIII в.— напомнил и о притязаниях на трон в обход мужа Екатерины II — в бытность ее еще великой княгиней в конце 1750-х годов — при деятельнейшем участии канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, с ближайшим сподвижником которого С.Ф. Апраксиным она состояла в тайной переписке. Иными словами, вызывая в памяти тот исторический прецедент, Бартенев явно намекал на прикосновенность Багратиона за несколько лет до Отечественной войны к враждебной Александру «партии» при дворе.

Вряд ли, однако, это предположение имело под собой серьезные основания. Будь это так, Екатерина Павловна не стала бы напоминать царю о своих интимных отношениях с Багратионом и просить о разыскании своих писем — речь определенно шла об их интимной переписке. Тем более что среди наиболее дорогих для Багратиона вещей после его смерти был обнаружен миниатюрный, в золотом футляре портрет Екатерины Павловны — знак сердечного ее внимания к покойному полководцу.

Несколько лет спустя Александр I вновь предпринял сугубо секретные поиски писем своей сестры к Багратиону через того же Салагова, доносившего ему в январе 1818 г. о безуспешном исходе «всевысочайшего мне поручения касательно отыскания Записок»,— царь и тогда сильно опасался, как бы эти письма, пойди они по рукам, не бросили бы тени на честь императорской фамилии[59].

Но как ни глубоки были корни нерасположения Александра I к Багратиону, его военная репутация не была поколеблена. Участие в Итальянском и Швейцарском походах Суворова, в войнах с Францией 1805 и 1806—1807 гг., со Швецией 1808—1809 гг. окружило его имя романтически-легендарными ореолом. В передышках между кампаниями (в 1809—1810 гг. он командовал после А.А. Прозоровского Молдавской армией, в августе 1811 г. назначен главнокомандующим Подольской армией, а в марте 1812 г.— 2-й Западной) Багратион жил большей частью в Москве и Петербурге, где в домах титулованной знати ему устраивались торжественные приемы, он был предметом всеобщего поклонения, кумиром военной молодежи, в его честь слагались оды и распевались кантаты. После Аустерлица и Тильзита, уязвивших национальные чувства широких слоев русско-

го общества, Багратион являлся олицетворением антифранцузских настроений в армии и знаменем «русской партии», выступавшей против генералов с иностранными именами на высших командных постах и жаждавшей снова помериться силами с Наполеоном. Ненависть к французскому императору находила опору и в общем складе патриархально-крепостнических воззрений Багратиона.



П.И. Багратион. Гравюра С. Карделли. 1812—1813. ГИМ

При всем прямодушии и открытости своей натуры он умел быть царедворцем льстивым, тяготел к родовитому барству и влиятельным сановникам. Так, еще с павловских времен Багратион поддерживал дружеские отношения с Ф.В. Ростопчиным, ставшим в предвоенные годы рупором феодально-монархической реакции, вполне ладил с А.А. Аракчеевым в бытность его Военным министром («...мне вас невозможно не любить... вы наш хозяин и начальник начальников»,— писал он ему еще в 1809 г.), был близок с великим князем Константином Павловичем.

Превосходный боевой генерал, беспримерно удачливый на поле сражения, которое мог охватить его взгляд, с непревзойденной храбростью и искусством выходивший из самых гибельных переделок, обаятельный в обхождении с подчиненными, любимец не чаявшей в нем души солдатской массы, Багратион не получил систематического военного образования, презирал всякого рода «теории» и «методики» и свои понятия о войне черпал главным образом из богатейшего личного опыта.

Всем этим, а также вулканическим темпераментом, нетерпением, не знавшей меры гневливостью он и являл собой полную противоположность сдержанно-молчаливому, последовательному в достижении своих целей, осмотрительно взвешивавшему каждый свой шаг Барклаю. По характеристике Ф.В. Булгарина, «Барклай де

Толли не мог терпеть никакого фанфаронства и хвастовства. Он вел войска в сражение не как на пир, но как на молитву и требовал от воинов важности и обдуманности в деле чести, славы и пользы отечества»[60].

Явно уступая Барклаю в стратегическом отношении, Багратион не мог постичь необычных условий ведения войны на таком громадном ее театре, на каком России впервые предстояло действовать в 1812 г. Воспитанник Суворова, он никаких иных способов военных операций для русских войск, кроме наступательных, кроме сокрушительного напора на врага, вообще не признавал.

Еще ранней весной 1812 г. Багратион направил Александру I свой план предстоящей кампании, предполагая начать ее упреждающим французов ударом в Восточной Пруссии и Герцогстве Варшавском, «дабы вселить добрый дух в войска наши и, напротив того, вперить страх в неприятеля» и удалить «театр войны... от пределов империи»[61].

Аналогичные наступательные проекты разрабатывались перед войной и лицами из царского окружения, например герцогом А. Виртембергским и Л.Л. Беннигсеном. Их появление в известной мере отражало колебания внешнеполитического курса 1811 — начала 1812 г., когда в связи с намерениями привлечь на сторону России Пруссию, Австрию и герцогство Варшавское в высших военных кругах и самим царем вынашивался замысел превентивной войны с Наполеоном, к марту 1812 г., однако, окончательно отброшенный.

Но подготовка операционных планов велась келейно, в глубочайшей тайне, в них были посвящены лишь наиболее приближенные к царю советники, и о своих последних решениях после приезда в Вильно в апреле 1812 г. он не счел нужным поставить в известность главнокомандующих «периферийными» армиями, не говоря уже о командирах корпусов и дивизий[62].

Отстаивание Багратионом в предвоенные недели наступательной линии отвечало и патриотическому духу войск.

Мысль об отступательной войне в целом было чужда русской армии. Со времени нашествия Карла XII — в течение целого столетия — Россия не видела в своих пределах иноземного врага, победоносные войны екатерининской эпохи велись на окраинах империи и завершались присоединением новых земель, успешный

исход сопутствовал русской армии и в заграничных кампаниях, а если она и терпела неудачи, как, скажем, в коалиционных войнах начала века, то лишь на территории союзников. Сюда примешивалась и жажда отмщения Наполеону за поражение в Аустерлице и унизительные условия Тильзитского договора. Словом, вплоть до французского вторжения желание наступать преобладало не только в рядовой офицерской и солдатской массе, но и среди генералитета, также психологически не подготовленного к оборонительной войне. «Со стороны нашей, казалось, все приготовления были к наступательной войне»,— отмечал в своих записках А.П. Ермолов, перед началом кампании генерал-майор, командовавший гвардейской пехотной дивизией[63]. «Еще до выступления гвардии из Петербурга мы, в начале марта 1812 года, все знали,— вспоминал гвардейский артиллерист А.С. Норов,— что ввиду необычайных приготовлений Наполеона, войски наши стянуты к границам, что мы готовимся предупредить его планы даже войною наступательною»[64].

Воинственным пылом были охвачены столичные консервативно-аристократические круги, яро ненавидевшие Наполеона. Их представительница В.И. Бакунина в мае 1812 г. отмечала в своем дневнике: «Все письма из армии наполнены желанием войны и бодрости духа; уверяют, что и солдаты нетерпеливо хотят приблизиться к неприятелю, чтобы отомстить прошедшие неудачи. Общее желание всех, чтобы шли вперед и предупредили бы Наполеона в Пруссии, но кажется, ближние и доверенные советники государя противного сему мнению; в глубокой своей премудрости решили они вести войну оборонительную и впустить неприятеля в границы наши; те, кои не знают немецкой тактики и судят по здравому рассудку, весьма сим огорчаются, считая это злом наивеличайшим»[65].

Отход русских войск от границы сразу же вызвал в их рядах острую тревогу. По поводу чересчур поспешного по приказу Александра I движения 1-й армии к Дриссе сам Барклай предостерегал его: «Влияние этого поспешного отступления начинает сказываться между солдатами, которые громко выражают свое неудовольствие»[66].

Но вполне естественная для солдатской массы критика отступательной линии обретала совсем иное зна-

чение, когда исходила от видных генералов, и особенно от популярнейшего в армии Багратиона.

За четыре дня до начала войны он убеждал царя приказать «нам собраться у Гродно и нанесть удар врагам», ибо «всякое отступление в своем краю есть озлобление души и сердца всех твоих верных детей»,— «чего нам бояться и маневрами методическими изнурять армии?»[67]. С переходом же французов через Неман, на протяжении июня и начала июля 1812 г., он обращается с пламенными призывами то к царю, то к Аракчееву, то к Барклаю, то к Ермолову, требуя от них пресечь отступление («Русские не должны бежать. Это хуже пруссаков мы стали») и немедленно навязать французам генеральное сражение: «сию спасительную и единственную... меру против наглого стремления неприятеля»,— лишь оттого «обстоятельства примут другой оборот и выгоднейший вид», но, «если неприятель прорвется к Смоленску и далее во внутрь России, тогда,— грозно предупреждал царя Багратион еще 3 июля,— слезы любезного отечества не смоют того пятна, которое останется в веках на 1-й армии»[68].

При этом Багратион, не знавший в точности, в каких суровых условиях приходилось действовать войскам Барклая под натиском превосходящих сил «Великой армии», явно преуменьшал трудности сопротивления и до наивности просто представлял себе способы ведения войны: «Неприятель, собранный на разных пунктах, есть сущая сволочь», а «военная система, по-моему, та: кто рано встал и палку в руки взял, тот и капрал»; «ежели вперед не пойдете, я не понимаю ваших мудрых маневров,— выговаривал он Ермолову.— Мой маневр — искать и бить!»[69] Багратион всерьез полагал, что все беды проистекают из слепой приверженности тех, кто направлял действия 1-й армии, отступательной тактике, и стоит только броситься на французов, как они будут разбиты в пух и прах: «Бойтесь Бога, стыдитесь, России жалко! — заклинал он 3 июля того же Ермолова.— Войска их шапками бы закидали»[70]. Д.В. Давыдов — ревностный почитатель Багратиона — вспоминал, что, будучи «весьма мало сведущ в правилах военной науки», он «непрестанно твердил: «Если мы не перейдем в наступление, я сниму с себя мундир; ведь мы французов шапками закидаем»[71]. Заметим, кстати, что той же безответствен-

ной верой в легкую победу и теми же самонадеянно-шапкозакидательскими настроениями в первые недели войны были охвачены и другие авторитетные генералы 2-й армии, разделял их, например, М.И. Платов[72].

После же отъезда царя, когда Барклай остался единственным распорядителем действий 1-й армии, продолжавшей отходить в глубь страны, Багратион именно на него обрушил всю силу своего страстного негодования. Дадим и здесь слово Д.В. Давыдову: «Исполненный самою пламенною любовью к нашему отечеству, князь со свойственной всем азиатцам неудержимою пылкостью питал какое-то озлобление против Барклая; это чувство, проистекшее лишь из глубокой неприязни его немецкой партии, значительно усилилось вследствие постоянного отступления наших войск».

Сказанное Давыдовым верно, однако, лишь применительно к Отечественной войне. До того же, особенно в кампаниях с Францией 1806—1807 гг. и с Швецией 1808—1809 гг., где они сражались рука об руку, никакого «озлобления» против Барклая Багратион не испытывал. Наоборот, отношения между ними были тогда вполне доверительными, в том числе и в бытность Барклая Военным министром. По свидетельству Булгарина, «князь Багратион после Пултусска и Прейсиш-Эйлау питал высокое уважение к Барклаю де Толли и относился о нем с величайшею похвалою»[73]. Но в 1812 г. в письмах к Ермолову, Аракчееву, Ростопчину Багратион не стеснялся в выражениях, подвергая Барклая яростной критике: «Министр сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать... Если бы он был здесь, ног бы своих не выдрал, а я выйду с честию и буду ходить в сюртуке*, а служить под игом иноверцев-мошенников — никогда» (Ермолову, 3 июля); «Я думал истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу» (Аракчееву, 29 июля); «Но вождь наш не имеет вожделенного рассудка или же лисица» (Ростопчину, конец июля); «Невозможно делать лучше и полезнее для неприятеля, чем он» — Барклай (Ермолову, 29 июля); «Барклай, яко иллюминатус,

* Намек Багратиона на не раз высказываемые им летом 1812 г. угрозы удалиться с военной службы в случае отклонения Барклаем его наступательных планов.

приведет к вам гостей... я повинуюсь, к несчастию, чухонцу» (Ростопчину, после сдачи Смоленска); «Ваш министр, может, и хороший по министерству, но генерал не то, что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего отечества»; «Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества... а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно» (Аракчееву, 7 августа); «Войска 2-й армии отважно сражались у Смоленска, но подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию» (Ростопчину, 14 августа)[74].

«СКИФСКИЙ ПЛАН»

Но как ни гневался Багратион, отступление вовсе не было делом одного Барклая, хотя его роль в выработке той линии, которой летом 1812 г. следовали русские войска, никак нельзя преуменьшить.

Офицеры русского штаба из окружения Кутузова, в 1812 г. недоброжелательно настроенные к Барклаю, в своих позднейших припоминаниях и исторических сочинениях не раз отмечали отсутствие у командования накануне войны сколько-нибудь продуманного замысла отступления, совершавшегося, как они полагали, стихийно, исключительно под напором «Великой армии». Об «отступлении во внутренность империи не было и помышления. Оно совсем не входило в соображения при начале войны... Перенесение театра войны в сердце России произошло не от намерения, заранее принятого, но было следствием обстоятельств»,— писал А.И. Михайловский-Данилевский[75]. Вскоре после войны Д.П. Бутурлин утверждал в письме к А. Жомини: «Наше отступление в 1812 году не было обдумано заранее», а вызывалось «обстоятельствами минуты»[76]. В его «Истории нашествия императора Наполеона на Россию» указано, что представление, будто «намерение завлечь неприятеля в глубь России было заранее принято нашим Правительством», есть «вымышленное уже после события»[77]. Впоследствии эту мысль почти дословно повторил генерал-квартирмейстер штаба 1-й армии в 1812 г. К.Ф. Толь, утверждавший, что отступление проходило как бы само собой, «без предварительного расчета» со стороны военачальников, «разве лишь за день вперед»[78].

Вновь это мнение возродилось уже в историографии нашего времени: «Никаких планов ведения «скифской войны», расчетов на отход армии в глубь страны не было» (П.А. Жилин)[79]. Е.В. Тарле, например, считал, что Барклай «интуитивно» нащупывал в ходе вынужденного отхода русских войск «верную тактику», о «скифском» же плане «стали говорить уже на досуге», спустя десятилетия[80]. При этом современные историки ссылаются обычно как на непререкаемый постулат на тезис К. Маркса и Ф. Энгельса из краткой биографической статьи 1857 г. «Барклай де Толли»: отступление русской армии в 1812 г. явилось «делом не свободного выбора, а суровой необходимости»[81]. Но оба они не были специалистами в области русской военной истории, не изучали Отечественную войну по первоисточникам и черпали информацию из «вторых рук», главным образом из книги А. Жомини «Политическая и военная жизнь Наполеона» и биографического труда немецкого историка Т. Бернгарди о К.Ф. Толе.

Заметим, однако, что Жомини — приверженец Наполеона, перешедший на сторону союзников в августе 1813 г., не был участником отступления русской армии, и его точка зрения на этот счет (как, впрочем, и на другие вопросы истории Отечественной войны) формировалась под непосредственным влиянием упомянутых только что Толя и Бутурлина.

Дело в том, что еще в конце 1815 г. на Толя как генерал-квартирмейстера Главного штаба была возложена подготовка «Военной истории кампании 1812 г.», для которой на основе обширной военно-оперативной документации он составил обзоры крупнейших сражений и маневров Отечественной войны, включая и летнее отступление. Примерно год спустя Александр I поручил состоявшему тогда на русской службе Жомини заняться общей историей последних наполеоновских войн (ее предполагалось выпустить на французском языке), и с этой целью Толь передал ему все разработанные уже материалы по 1812 году, причем в качестве их переводчика и интерпретатора к Жомини был прикомандирован служивший под началом Толя в пору Отечественной войны квартирмейстерский офицер Бутурлин. Представленные материалы Жомини одобрил как с фактической стороны, так и в части военно-исторической концепции,

которая в оценке стратегии начального этапа войны 1812 г. была не чем иным, как развитием приведенных выше высказываний Толя и Бутурлина. Жомини полностью воспринял их, положив в основу последующих своих взглядов на характер отступательных маневров Барклая. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть соответствующий текст «Политической и военной жизни Наполеона» — весь ход отступления русской армии описывается здесь Жомини в духе этих высказываний, по формуле: каждый раз Барклаю «не оставалось другого средства», как отдавать спонтанные распоряжения по спешному отводу войск.

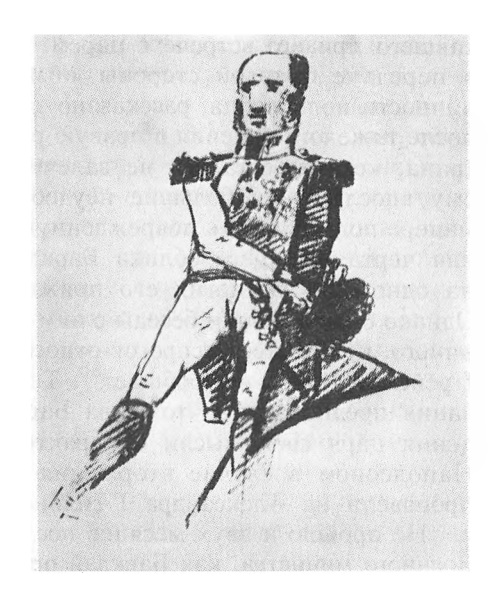
Что же до Бернгарди, то, собирая в России материалы для своей книги, он много общался с Толем и включил сюда, иногда почти дословно, его устные рассказы о 1812 годе и собственные истолкования главных военных событий того времени[82].

Круг, таким образом, замкнулся — то, что выдается за военно-стратегическое откровение К. Маркса и Ф. Энгельса, является на самом деле лишь сжатым обобщением тенденциозного мнения первых историков 1812 г.— противников полководца.

Нет, между тем, ничего более ошибочного — идея «скифского плана» родилась задолго до 1812 г. и впервые была выдвинута не кем иным, как Барклаем. «Он первый ввел в России систему оборонительной войны, дотоле неизвестной»,— веско заметил по этому поводу А.Н. Сеславин[83].

Весной 1807 г. Барклай жил в Мемеле, где лечился от тяжелой раны, полученной в сражении при Прейсиш-Эйлау, и здесь его посетил знаменитый в будущем историк римской античности Бартольд Георг Нибур, служивший финансовым советником при главе прусского правительства К.-А. Гарденберге,— в Мемеле находился тогда в изгнании король Пруссии Фридрих-Вильгельм III со своим двором. Время было неспокойное, еще длилась война с Францией, не сулившая русским успехов. После разгрома Пруссии под Иеной и Ауэрштадтом Россия впервые оказалась одна перед лицом военного могущества Наполеона, приблизившегося к ее границе, и вопрос о перспективах русско-французского противоборства выдвинулся на передний план. Пруссия была союзницей России, и в беседе с Нибуром у Барклая не было осно-

ваний скрывать свои стратегические соображения: «Если бы мне пришлось действовать против Наполеона,— говорил он Нибуру,— я вел бы отступательную борьбу, увлек бы грозную французскую армию в сердце России, даже на Москву, истощил бы и расстроил ее и, наконец, воспользовавшись суровым климатом, заставил бы Наполеона на берегах Волги найти вторую Полтаву»[84].



М.Б. Барклай де Толли. Рисунок с натуры из альбома В.И. Апраксина. 1810-е годы. ГРМ

Совсем незадолго до начала войны 1812 г. Нибур сообщил о разговоре с Барклаем генерал-адъютанту французской армии М. Дюма, добавив при том, что уже при одной вести о назначении Барклая главнокомандующим сразу же понял, что предстоящая война примет со стороны России затяжной характер. По прошествии многих лет М. Дюма поместил этот рассказ в свои воспоминания, благодаря чему о «скифском плане» Барклая и стало известно в литературе. О нем же Нибур рассказал видному немецкому буржуазному реформатору барону Г. Штейну, от которого об этом плане узнали адъютант прусского короля Фридриха-Вильгельма III майор Ф. Кнезебек и состоявший в 1812 г. при штабе 1-й армии Л. Вольцоген, который позднее пытался даже представить барклаевский замысел как свой собственный[85].

Примерно в то же время, что и Нибур, посетил Барклая в Мемеле Александр I. Об этом ключевом эпизоде в биографии Барклая почти не сохранилось свидетельств. Одно из них — малоизвестные воспоминания доктора М.А. Баталина, доверенного лица Барклая, присутство-

вавшего при его встрече с царем. Они очень интересны в передаче бытовой стороны жизни и некоторых черт личности полководца, рассказано здесь и о его состоянии после тяжелого ранения в правую руку в Прейсиш-Эйлау (рана, кстати, осталась не залеченной, что причиняло ему впоследствии большие неудобства и отразилось на манере поддерживать поврежденную руку. Эта характерная черта внешнего облика Барклая запечатлена даже на одном из немногих его прижизненных портретов). Однако о содержании беседы с ним Александра I Баталин ничего, кроме его расспросов относительно сражения при Прейсиш-Эйлау, не сообщает[86]. Тем не менее есть основания предполагать, что тогда Барклай довел и до сведения царя свои мысли о характере будущей войны с Наполеоном в случае вторжения в Россию и что они произвели на Александра I сильное впечатление[87].

Не прошло и двух месяцев после вступления на пост Военного министра, как Барклай представил Александру I записку «О защите западных пределов России», развив здесь идеи своего «скифского плана» 1807 г. Он предвидит, что из-за «неограниченного честолюбия императора французов» России придется «для существования своего вести кровопролитнейшую войну», и только «одни решительные меры отвратить могут великие несчастья». Громадная протяженность границы — «от Балтийского моря и до Дуная» — побуждает «избрать... оборонительную линию, углубляясь внутрь края по Западной Двине и Днепру» и имея Москву «главным хранилищем, из которого истекают действительные к войне способы и силы». Отступая таким образом в центр страны и оставляя «неприятелю, удаляющемуся от своих магазинов, все места, опустошенные, без хлеба, скота и средств», русская армия по истощении и раздроблении его войск сможет перейти в наступление[88].

Одобренная царем 2 марта 1810 г. записка Барклая легла в основу всей последующей подготовки России к войне с Францией.

В политически наиболее просвещенных военно-дворянских кругах хорошо понимали, что нет более надежного способа противостоять полководческому гению Наполеона, его массовой и необыкновенно боеспособной армии, его стремительным маршам и сокрушающим ударам.

Накануне кампании «скифская» идея получила в этих кругах поддержку — она как бы носилась в воздухе и, по словам позднейшего историка, «принадлежала уже не единичным личностям, а насчитывала известное число сторонников». Это «была мысль общая, а не одного Барклая»,— утверждал другой истолкователь его полководческого искусства[89]. Особое значение придавалось при этом бескрайним пространствам страны, суровому, непривычному для французов климату, русскому бездорожью. Вот что писал, например, из Лондона своему сыну еще за три недели до войны бывший русский посол в Англии С.Р. Воронцов: «Даже если бы начало операций было бы для нас неблагоприятным, то мы все можем выиграть, упорствуя в оборонительной войне, отступая. Если враг будет нас преследовать, он погиб, ибо чем больше он будет удлиняться от своих продовольственных магазинов и складов оружия и чем больше он будет внедряться в страну без проходимых дорог, без припасов, которые можно будет у него отнять, тем больше он будет доведен до жалкого положения, и он кончит тем, что будет истреблен нашей зимой, которая всегда была нашей верной союзницей»[90].

В армии идея «скифской» войны разрабатывалась самой образованной в военно-ученом отношении частью штабного офицерства и военной разведки (Барклай сумел фактически заново создать ее, став Военным министром). Люди из этой среды, располагая точными сведениями о ресурсах России и Франции, могли трезво прогнозировать соответствующий обстановке способ ведения кампании. Так, отступательные планы представили начальник службы Генерального штаба в России князь П.М. Волконский, полковник Я.П. Гавердовский, военный агент России в Вене Ф.В. Тейль фон Сераскернен[91]. Подобные рекомендации не раз высказывал перед войной полковник А.И. Чернышев, один из самых удачливых русских военных разведчиков, добывший чуть ли не под носом у Наполеона ценнейшие для России данные о его армии и его намерениях. В сентябре 1811 г. он советовал, дабы «спутать ту систему войны, которой держится Наполеон», «затягивать на продолжительное время» боевые действия, имея «всегда достаточные армии в резерве». В феврале 1812 г., в одном из последних донесений из Парижа,

Чернышев снова предлагал отступить в глубь страны, уклоняясь от больших сражений[92].

Своеобразным итогом всех этих проектов явился датированный 2 апреля 1812 г. трактат «Патриотические мысли, или Политические и военные рассуждения о предстоящей войне между Россией и Францией». Автором его был военный писатель и историк, ближайший сотрудник Военного министра, фактический руководитель его Особенной канцелярии — высшего органа военной разведки в России, подполковник П.А. Чуйкевич. Прибывший как раз в те дни в штаб Барклая директор военной полиции Я.И. де Санглен характеризовал его как «благородного, умнейшего человека»[93]. Составленные на третий день после приезда Барклая в армию, явно с его санкции и в развитие исходных посылок его записки 1810 г., «Патриотические мысли» призваны были, очевидно, служить военно-теоретическим обоснованием позиции Барклая в отстаивании отступательной линии. То обстоятельство, что они предназначались прежде всего Барклаю, удостоверяется и надписью на одной из двух известных нам рукописей трактата — на копии неофициального характера, хранящейся в бумагах штаба 1-й армии: «Посвящаются господину Военному Министру и главнокомандующему 1-й Западной армии генералу от инфантерии Барклаю де Толли»[94].

Борясь «за целость своих владений и собственную свою независимость», Россия, пишет Чуйкевич, должна «прибегнуть к средствам необыкновенным». Наряду с народным сопротивлением, которое следует развернуть наподобие «Гишпании», это «уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки и решительность в продолжении войны» — вот «меры для Наполеона новые». Быть может, придется оставить «большое пространство земли» «до базиса наших продовольствий», щадя при этом войска «до важных случаев»,— тогда-то и настанет момент «оборонительную войну переменить в наступательную», и «одно генеральное сражение» вознаградит тогда «с избытком всю потерю, особенно, когда преследование будет быстрое и неутомимое». Сознавая, что такой «образ войны» «несходственен с духом российского народа», автор напоминает возможным оппонентам, что «мы не имеем позади себя других готовых ополчений, и

совершенное разбитие 1-й и 2-й Западных армий может навлечь пагубные для всего отечества последствия. Потеря нескольких областей не должна нас устрашать, ибо целость Государства состоит в целости его армии», и далее завершает свои доводы кратким военно-историческим экскурсом, уже прямо обращенным к Барклаю: «Фабий и Веллингтон, Маренго, Ульм, Иена и Ауерштат да будут вождю Российских сил служить примерами, доказательством и защитою против немысленных полков»[95].

Можно только подивиться той ясности и конкретности, с какими за два с лишним месяца до перехода Наполеоном границы был предвосхищен в трактате весь, так сказать, «концепт» Отечественной войны, как он реализовался затем во второй половине 1812 г.,— ход и темпы боевых действий, их узловые пункты и стратегическое содержание, многообразие применявшихся и дотоле не изведанных тактических средств и т.д. Если бы мы не знали времени написания трактата, то его следовало бы счесть не замечательно глубоким прозрением, а обобщением опыта уже совершившейся кампании 1812 г. Особенно впечатляет верность предсказания относительно развития военных событий на ее начальном, отступательном этапе, и мы вряд ли ошибемся, допустив, что здесь выражена суть замысла Барклая, которым он и руководствовался, отводя 1-ю армию в глубь страны,— иначе просто нельзя объяснить разительное совпадение установок трактата с направленностью и мотивациями его полководческих усилий летом 1812 г.

При всех колебаниях Александра I, склонявшегося то к надеждам на превентивную войну, то к частичному одобрению нелепого кабинетного Дрисского плана К. Фуля, он вполне понимал, что в войне с Наполеоном не будет иного выхода, как углубиться внутрь империи. Еще в начале года на прощальной аудиенции с майором Ф. Кнезебеком — посланцем Берлинского двора, он заявил: «Скажите королю, что я не заключу мира даже в том случае, если меня оттеснят до Казани»[96]. Видимо, о царских разговорах на этот счёт прослышал Ростопчин — в марте 1812 г., перед назначением Московским генерал-губернатором, он побывал в Петербурге и не раз встречался с Александром I. Стремясь поддержать в царе патриотический пыл, Ростопчин писал ему 11 июня 1812 г.— за день до начала войны: «Если бы несчастные обсто-

ятельства вынудили вас решиться на отступление перед победоносным врагом, и в этом случае император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске»[97].

Когда в мае 1812 г. в Вильно приехал с военно-дипломатической миссией от Наполеона граф Л. Нарбонн, Александр I и ему говорил, что «во всей этой враждебной для вас земле нет такого отдаленного угла, куда бы я не отступил, нет такого пункта, который я не стал бы защищать»[98]. На призывы шведского наследника принца Ж. Бернадотта уклоняться от крупных сражений с Наполеоном Александр I отвечал 22 июня 1812 г.: «Однажды вынужденный начать эту войну, я твердо решился продолжать ее годы, хотя бы мне пришлось драться на берегах Волги»[99]. (Кстати, мысль о Волге — конечном пункте отступления — впервые прозвучала еще в разговоре 1807 г. Барклая с Нибуром: Александр I, как видим, хорошо усвоил советы своего Военного министра.) Наконец, 18 сентября в послании к великой княгине Екатерине Павловне, касаясь встреч с ней накануне и в начальную пору войны, царь писал: «Вспомните, как часто в наших с вами беседах мы... допускали даже возможность потери обеих столиц»[100].

Александр I не только разделял отступательный замысел Барклая, но и утвердил его перед войной в качестве официального плана. Правда, как и в других случаях, он и здесь тоже не проявил должной последовательности: план был одобрен не в виде письменно оформленного документа, а лишь словесно. Позднее он писал Барклаю о «плане кампании, который мы приняли» и который имел целью «завлечь неприятеля в глубь страны»[101]. Барклай в одной из своих записок конца 1812 г. вспоминал, что «открыть кампанию отступлением к древним нашим границам» «предположено было с общего согласия»[102]. 5 июля 1812 г., накануне отъезда из армии Александр I предписывал ему «выиграть время и вести войну сколь можно продолжительную»[103]. О том же еще 24 июня он извещал П.В. Чичагова: «Согласно системе войны, на которой мы остановились, было порешено не вступать в дела с превосходными силами, а вести затяжную войну», 6 июля разъяснял ему же, что «ввиду превосходства сил и методы Наполеона вести скоротечную войну, это единственный шанс на успех»[104].

Установка на отступление отразилась и в выходивших с начала войны из царского окружения «Известиях» о военных действиях. Так, в одном из них, датированном 17 июня 1812 г., провозглашалось: «Опыты прошедших браней и положение наших границ побуждают предпочитать оборонительную войну наступательной по причине великих средств, приготовляемых неприятелем на берегах Вислы»[105].

В первые дни июля Александр I получил еще одно важное подтверждение в пользу «скифского» образа действий. Дело касается представленной ему записки А.И. Чернышева. Повторяя прежние свои советы о затягивании войны, он вслед за Чуйкевичем, полагал, что разъединенные между собой русские армии не в силах противостоять натиску неприятеля и что спасение страны всецело зависит от боеспособных резервов. Поскольку же их подготовка путем организации народных ополчений и других мер может затянуться, Чернышев предусматривал создание в историческом центре государства системы укрепленных лагерей, образовывавших «двойную цепь, которая прикрывала бы коренные области и древнюю столицу России». Перед отъездом из Полоцка Александр I немедля отправил самого Чернышева, полковников А.Ф. Мишо и Ф.Я. Эйхена в окрестности Москвы с целью отыскания позиций для устройства этих лагерей в предвидении перенесения туда театра военных действий[106].

Итак, в начале войны ради сохранения армии Александр I поддерживал «скифский» план. По свидетельству В.И. Левенштерна, уезжая из Полоцка, он сказал Барклаю: «Поручаю вам свою армию; не забудьте, что у меня второй нет: эта мысль не должна покидать вас»[107]. Об этом напоминал Александру I 30 июля и сам Барклай: «Высочайшая воля ваша есть, государь, продлить сколь можно более кампанию, не подвергая опасности обе армии»[108]. О том, что, отходя на восток, он руководствуется устно объявленной «высочайшей волей», Барклай вынужден был сообщить протестовавшим против отступления Багратиону и Ермолову[109]. По воспоминаниям Л. Вольцогена, ссылка на «отступательное» повеление Александра I содержалась и в пламенной речи Барклая на военном совете 25 июля 1812 г.: «Император, вверив мне в Полоцке армию, сказал, что у него нет другой для действий против Наполеона. С уничтожением армии

Россия погибла; напротив, сохранив ее, всегда можно надеяться на лучшее»[110]. Генерал-квартирмейстер 2-й Западной армии М.С. Вистицкий тоже вспоминал, что на призывы в те дни к наступлению «Барклай отвечал, что имеет повеление высочайшее промедлить, чтобы дать внутри империи собраться армейским пополнениям»[111].

Такой точки зрения Александр I держался первые полтора месяца кампании. Однако к концу июля ситуация круто изменилась. Со вступлением наполеоновских войск, стремительно приближающихся к Смоленску, в коренные русские земли, нависла угроза национальным интересам страны, чреватая внутренним брожением, и это вселило в царя глубокую тревогу. Теперь он пересматривает свои прежние взгляды на возможность длительного отхода армии и отказывается от поддержки курса Барклая на продолжение отступления. Но сказалось здесь и непонимание царем сердцевины барклаевского замысла.

В новых условиях предел отступления он видел в соединении 1-й и 2-й армий в Смоленске, после чего непременно следовало перейти к активным наступательным операциям.

Барклай же основную свою стратегическую цель усматривал в достижении решающего перевеса сил над противником путем изматывания его в ходе арьергардных боев, поддержания в боеспособном состоянии действующей армии и подготовки в центре страны резервов, в результате чего только и можно будет начать наступление. Но когда именно наступит этот момент, в июне и июле 1812 г. не мог сказать ни сам Барклай, ни кто-либо другой.

Соединение же 1-й и 2-й армий было для него лишь подчиненной этой общей установке тактической задачей[112]. По прибытии в Смоленск Барклай увидел, что соединение армий еще не изменило решающим образом соотношение сил противоборствующих сторон, поэтому он по-прежнему уклонялся от больших сражений и настаивал на отступлении. «Главнейший наш предмет,— писал он 27 июля Александру I, — есть выигрыш нужного времени, в течение коего ополчения и все приготовления внутри империи могли бы быть приведены в должное устройство»[113].

Насколько прав был Барклай, не ввязавшись после обороны Смоленска в наступательные действия, видно

хотя бы из того, что прибывший в армию 10 дней спустя Кутузов по тем же мотивам должен был следовать принятой Барклаем линии и после Бородина снова отступить, а затем даже и Москву оставить — как раз потому, что тогда русские войска все еще уступали наполеоновским и решающего перевеса удалось добиться только к началу октября 1812 г., в результате флангового марш-маневра, укрепления и переустройства армии в Тарутинском лагере.

Вопрос о приоритете сохранения армии перед всеми другими военными задачами, в том числе и перед временным уступлением противнику русской территории, сформулированный еще в трактате Чуйкевича, стоял в центре всех размышлений Барклая лета 1812 г. Левенштерн вспоминал, что еще до сдачи Смоленска Барклай, ощущая нависшую над Москвой угрозу, доверительно сообщил ему, что «конечно, даст сражение... чтобы спасти столицу», но ни за что не станет подвергать «армию опасности, так как надобно спасать Россию и Европу», а не одну только Москву. Каким-то образом «эти слова,— продолжает Левенштерн, — дошли до Петербурга», послужив поводом для злобных нападок на Барклая в высшем обществе[114]. И действительно, в дневниковых записях В.И. Бакуниной за конец июля — начало августа 1812 г. в саркастических тонах говорится, например, об армии, «которую сберегая, Барклай отдает Россию», «более же ни о чем не думая»,— «он положил себе в голову, что Россия для армии, а не армия для России. Превосходная логика»[115].

Не углубляясь далее в его стратегические разногласия с царем, еще раз заметим, что критика оборонительного курса Барклая со стороны Багратиона и его сторонников, их нетерпеливые устремления не только не сообразовывались с тяжелейшей военной обстановкой, но до оставления Смоленска шли вразрез и с официально одобренным Александром I планом ведения кампании.

Представим теперь на минуту, что в этом конфликте одержали бы верх приверженцы воинственно-наступательных действий,— трудно исчислить вред, который мог бы от того произойти, и еще неизвестно, удалось ли бы в 1812 г. разгромить «Великую армию» или война за освобождение России затянулась бы. Позднее об этом писали и участвовавшие в войне мемуаристы — запоздалые доброжелатели Барклая. Тем достовернее мнение лично и

идейно близкого к Багратиону Ф.В. Ростопчина: «одаренный многими качествами, присущими хорошему генералу», он «был слишком необразован для того, чтобы иметь начальство над армиею... Он все хотел сражаться, потому что Барклай избегал сражения, и если бы он командовал армиею, то подверг бы ее опасности и, может быть, и погубил бы, упорствуя в обороне Смоленска»[116]. Даже боготворивший Багратиона Д.В. Давыдов корил его за то, что он не смог «предугадать» «великие результаты» отступления, и в этом отношении Барклай обнаружил «несравненно бо́льшую проницательность»[117].

Но при этом важно иметь в виду не только собственно военную, но и нравственную сторону дела.

Александр I был достаточно дальновиден, чтобы, санкционируя отступательный план, сознавать, что его осуществление не встретит поддержки в армии и обществе. В конце ноября 1812 г. царь задним числом признавался Барклаю, что его могли «устрашиться» в России, что он «неизбежно должен был возбудить неодобрение и порицание в народе, который мало понимал военное искусство и помнил недавние победы... над неопасным противником»,— все это «заранее следовало предвидеть», к чему он, Александр I, лично был «подготовлен»[118]. А раз так, то, значит, предоставя перед своим отъездом из 1-й армии ее главнокомандующему одному претворять этот план в жизнь, царь вполне отдавал себе отчет и в том, что делает Барклая жертвой или, точнее, заложником общественного мнения.

Со своей стороны, Барклай добровольно возложил на себя эту жертвенную миссию и, невзирая ни на что, проявил поистине гражданское мужество, твердость духа и непреклонную убежденность в своей правоте. В разгар отступления он говорил А.Н. Сеславину: «Все, что я ни делаю и буду делать, есть последствия обдуманного плана и великих соображений, есть плод многолетних трудов»[119]. Моральную отвагу Барклая в этих обстоятельствах признавали даже его недруги при петербургском дворе. Н.М. Лонгинов, например, писал, что, «не имея ни связей, ни могущих друзей, он один стоял против всех бурь»[120]. Так же оценивалось его поведение и в армии. «Честный и благородный генерал Барклай», приняв на себя всеобщие нарекания, выказал «великое самоотвержение»,— отмечал в своих записках А.Х. Бенкендорф, в эпоху 1812 г. боевой и ничем еще не запятнавший своей

репутации генерал. «Мужем самоотвержения» называл Барклая в том же высоконравственном контексте и П.Х. Граббе[121].

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ЗАГОВОР

Неприязнь к Барклаю в главной квартире, питаемая до войны придворно-аристократическими предрассудками, проявилась сразу же по прибытии в Вильну Александра I. Исходила она от ряда лиц из царской свиты — герцога Александра Виртембергского, принцев Августа и Георга Ольденбургских, шведского дипломата Г. Армфельдта, недовольного Барклаем еще по Финляндской кампании, Л.Л. Беннигсена, мнившего себя единственным в Европе достойным соперником Наполеона, маркиза Ф.Ф. Паулуччи, устраненного вскоре не без участия Барклая с поста начальника его штаба, А.М. Римского-Корсакова, прославившегося еще по суворовским походам постыдной капитуляцией Цюриха, наконец, от их многочисленных адъютантов, генерал-адъютантов и флигель-адъютантов самого царя, принадлежавших к звучным дворянским фамилиям. С началом кампании вся эта снедаемая честолюбием и неудовлетворенными военными амбициями публика, по словам Левенштерна, осуждала «без всякого стеснения... ошибки» Барклая и его «мнимую неспособность» и ничего, кроме вреда, управлению войсками не приносила, осложняя и без того непростые отношения его с царем[122]. Неблагоприятно сказывалось при этом и пребывание в главной квартире А.А. Аракчеева, давнего и затаенного врага полководца.

А.Н. Муравьев вспоминал, что от непрошеных советников из царской свиты Барклай «часто приходил в отчаяние: проекты за проектами, планы и распоряжения, противоречащие друг другу, все это, сопряженное с завистию и клеветою, нарушало спокойствие главнокомандующего»[123]. Сам Барклай писал 26 июня 1812 г. жене, что предпочитает находиться в войсках и не бывать в главной квартире, «потому что это настоящий вертеп интриг и кабалы, делающий нашего прекрасного монарха нерешительным и недоверчивым»[124].

Но в первые недели войны антибарклаевские настроения не выходили еще за пределы очерченной выше сре-

ды. Полемизируя с А.И. Михайловским-Данилевским, который был склонен преувеличивать недовольство в тот момент Барклаем, наблюдательный и многознающий И.П. Липранди писал: «Впрочем, в сущности, неудовольство... если и было, то ограничивалось кружком в военных кругах»[125], и, если оно тогда распространялось, добавим от себя, то также по достаточно замкнутым придворно-правительственным каналам.

Явственные следы этого мы находим, например, в не раз цитированном выше дневнике В.И. Бакуниной, жены Петербургского гражданского губернатора М.М. Бакунина, и родной сестры уже хорошо знакомого нам Логгина Ивановича Голенищева-Кутузова (не отсюда ли, кстати, проистекает отчасти его недоброжелательство к Барклаю в 30-х годах?). Она располагала тесными связями в верхах столичного светского общества, была близка к вельможам-консерваторам, идеологически тяготевшим к «Беседе любителей русского слова» адмирала А.С. Шишкова. В июне 1812 г., еще до получения известия о переходе Наполеоном русской границы, в ожидании надвигающегося нашествия Бакунина, со ссылкой на то, что «пишут из Вильны», т.е. явно со слов высокопоставленных критиков Барклая из царской свиты, уничижительно отзывается о нем как о полководце, заодно порицая без всяких экивоков и Александра I: «Когда подумаешь, что неприятель, самый хитрый, самый счастливый, искуснейший полководец в свете, исполинскими шагами приближается к пределам нашим, 300 000 воинов под его предводительством», и хотя «уверяют, что войска у нас не менее, но неизвестный, неопытный, не заслуживающий доверенности войск Барклай ими начальствует... о разуме его, о свойствах, о благородных чувствах, о возвышении духа никто не слыхивал, а ему вверен жребий России. О, бедное отечество, но к чему же срамить стыдом одного Барклая, когда ему дана власть царская. Государь сам с ним — пословица: *один ум хорошо, а два лучше;* но одна неопытность и одно неискусство гораздо лучше двух»[126].

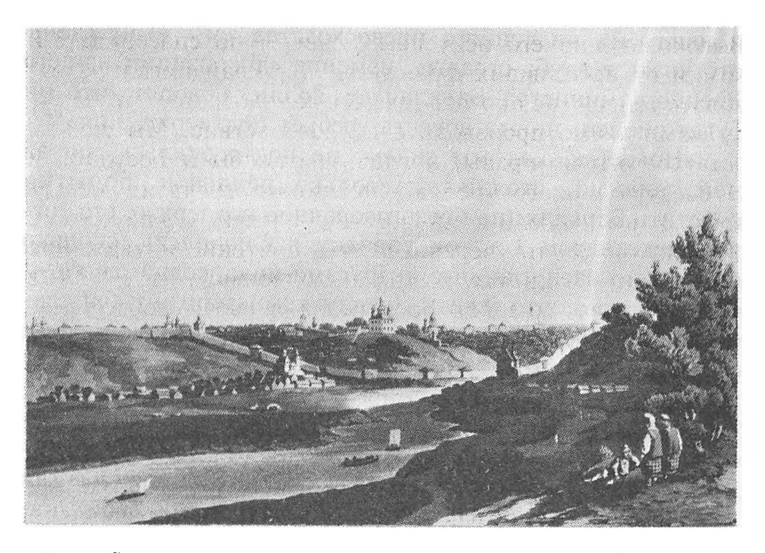
Квартирмейстерский прапорщик и адъютант П.М. Волконского Н.Д.Дурново, примыкавший к военно-аристократической верхушке, 13 июня 1812 г., находясь в Вильно, отметил в своем дневнике: «Я был еще в постели, когда Александр Муравьев пришел мне объявить, что французы перешли через нашу границу»,

и ввиду их численного превосходства «мы вынуждены отступать в глубь страны», изменив «диспозиции нашего Военного министра Барклая де Толли. Говорят, что он будет сменен, но эта новость требует подтверждения»[127].

«Новость», как мы знаем, не подтвердилась, но за ней, видимо, стояли не столько реальные попытки сместить Барклая (при безоговорочной поддержке его тогда Александром I такой вариант исключался), сколько намеренно распускаемые недругами полководца слухи — симптом того, что уже к началу кампании антибарклаевские настроения пустили в военно-придворной среде глубокие корни.

Присутствие царя в армии еще как-то их сдерживало, но после его отъезда положение Барклая, как свидетельствовал Левенштерн, «сделалось еще более тягостным»[128]. И не потому только, что недоброжелатели Барклая из царской свиты, не скрывая теперь своих намерений, умножили усилия по его дискредитации,— с этими людьми он мог отныне не считаться и активно им противодействовал, шаг за шагом избавившись, например, от нескольких флигель-адъютантов и от Беннигсена, который после Полоцка должен был двигаться до Смоленска в сильном отдалении от главной квартиры, а потом и вовсе ее покинуть. Но куда опаснее было то, что с отъездом царя далеко не в пользу Барклая выявились, как мы уже отмечали, все издержки его официального положения,— и это в тех условиях, когда именно на него возлагалось все бремя ответственности за дальнейший ход военных действий.

Роковым образом на взаимоотношения Барклая с высшим командованием, равно как и вообще на его судьбу в 1812 г., повлиял цикл событий, развернувшихся после военного совета 25 июля в Смоленске, где воинственно настроенные генералы требовали немедленного перехода в наступление. Вынужденный внять их настояниям, Барклай направил войска к северо-западу от Смоленска, но, как казалось тогда многим, действовал робко и неуверенно. В самом деле, не имея надежных разведывательных данных о противнике и опасаясь его обхода с Петербургской дороги или у Смоленска, он двинулся сперва на Рудню для прорыва центральной группировки Наполеона, как то и было предусмотрено планом Толя, но 27 июля приказал вдруг отходить на восток к Поречью, затем пытался вернуться обратно и



Вид г. Смоленска. Гравюра неизвестного художника, опубликована Р. Бауэром. 1814. ГИМ

т.д. Однако во всей этой путанице часто менявшихся распоряжений сквозило упорное желание не вступать преждевременно в кровопролитные бои с превосходящими силами неприятеля и не удаляться на значительное расстояние от Смоленска. В итоге более недели — с 26 июля по 2 августа — русские войска, теряя драгоценное время, провели в утомительных передвижениях, но когда стало известно о быстром подходе Наполеона к Смоленску, нерешительность Барклая обернулась и своей положительной стороной — лишь благодаря тому, что войска не ушли далеко от Смоленска, удалось вовремя перебросить их и воспрепятствовать французам с ходу ворваться в город[129].

Отказ Барклая перейти в наступление окончательно восстановил против него верхи армии, развернувшие скрытую борьбу за его устранение от руководства войсками. Видимо, это он и имел в виду, когда в одной из своих записок конца 1812 г. писал о выявившемся после соединения армий «духе происков и пристрастия».

А надо сказать, что сам Барклай был настроен в отношении своих оппонентов более чем лояльно и в поисках единства среди военачальников был готов на примирение. 19 июля, накануне соединения армий у Смоленска, он обратился к Багратиону с чистосердечным посланием.

Высоко оценив его искусные маневры по спасению 2-й армии от наседавших французов, Барклай писал: «Позвольте теперь вас просить предать все забвению, что между нами могло производить неудовольствие. Мы можем остаться оба не правы, но польза службы и Государя и Отечества нашего требуют истинного согласия между теми, коим вверено командование армией. Прошу, ваше сиятельство, быть уверенным, что почтение и уважение мое к вам останется всегда неколебимо». И в конце письма снова заверяет Багратиона в своем доброжелательстве: «Я с нетерпением ожидаю времени того, в котором честь иметь буду видеться лично с вашим сиятельством и согласить с вами общие наши действия. Я не могу... изъяснить, сколь мне больно, что между нами могло существовать несогласие. Прошу вас все забыть и рука в руку действовать на общую пользу отечества»[130].

Но Багратион словно бы не заметил этой протянутой ему руки и стал действовать против Барклая в «духе происков и пристрастия». Если до того о своей вражде к нему он доверительно сообщал лишь нескольким лицам (в Петербург — Аракчееву, в Москву — Ростопчину, в армии — одному Ермолову), то ныне его инвективы в адрес полководца стали достоянием широкого круга военачальников. Напомним, что в те дни у Смоленска впервые после открытия кампании собралась большая часть генералов обеих армий, а в их числе были и те, кто имел свои старинные счеты к Барклаю. Касаясь раздоров летом 1812 г. в главной квартире, Н.М. Лонгинов извещал 13 сентября С.Р. Воронцова, что Барклай «привлек к себе ненависть всех русских генералов, у коих недавно был в команде»[131]. Это очень важный психологический нюанс, позволяющий понять, почему «страшные и неосновательные обвинения» Багратиона против Барклая, о которых с горечью вспоминал позднее Д.В. Давыдов, пали на подготовленную почву[132]. Вряд ли поэтому можно согласиться с мнением Н.А. Троицкого о том, что Багратион «не бесчестил» Барклая «в глазах подчиненных» и держался с ним «корректно»[133],— возможно, было так раньше, но с конца июля все обстояло как раз наоборот.

В этом кругу военачальников четко выделяется группа генералов, могущих быть отнесенными, условно говоря, к «партии» Багратиона,— по службе под его непосредственным началом в прежних кампаниях, по уходящим еще в екатерининские и павловские времена

аристократическим и личным связям, наконец, по общности социальных воззрений. А.Н. Муравьев вспоминал, что во враждебную Барклаю группу входили тогда Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов, И.В. Васильчиков, братья Н.А., П.А. и А.А. Тучковы и даже до того вполне лояльный к Барклаю П.П. Коновницын. Другой осведомленный участник событий — М.А. Фонвизин включал в нее еще начальника штаба 2-й армии Э.Ф. Сен-При и дежурного генерала штаба 1-й армии П.А. Кикина[134]. Сюда же следует причислить генерал-адъютанта П.А. Шувалова, друга юности царя, в начале кампании командовавшего в 1-й армии 4-м пехотным корпусом и в августе 1812 г. уехавшего по болезни в Петербург (в 1814 г. на него будет возложена ответственная военно-дипломатическая миссия по сопровождению низложенного Наполеона на остров Эльба). Это был человек, еще с 90-х годов XVIII в. тесно связанный с Багратионом, его единомышленник и даже дальний родственник.

Но всего тяжелее для Барклая было присутствие в стане его противников состоявшего с 30 июня 1812 г. начальником штаба 1-й армии А.П. Ермолова. Его положение как подчиненного Барклаю лица и вместе с тем давнего друга и боевого сподвижника Багратиона было действительно не из легких. Оно усугублялось и некоторыми чертами ермоловского характера. При всех своих высоких достоинствах и героическом складе военной биографии этот храбрейший генерал, в будущем грозный «проконсул» Кавказа, покровитель многих декабристов, в гордой опале проживший николаевское царствование, был в изрядной мере наделен и двуличием, и уклончивостью в отношениях с людьми, и способностью лавировать в острых ситуациях. Не случайно А.С. Грибоедов называл Ермолова «сфинксом новейших времен», а великий князь Константин Павлович — единственный из царской семьи, с кем он был по-настоящему близок,— «пастором Грубером», уподобив его известному в Петербурге при Павле I иезуиту[135]. Эти свойства личности Ермолова тонко почувствовал Пушкин, когда впервые увидел его в Орле в мае 1829 г.: «Голова тигра на Геркулесовом столпе. Улыбка неприятная, потому что не естественна» — очевидное отражение во внешнем облике опального генерала органической, внутренне скрытой неискренности,

а несколько лет спустя, в дневнике 1834 г. поэт отзовется о нем как о «великом шарлатане»[136].

Позднее, в записках о 1812 годе — замечательном памятнике русской военно-мемуарной прозы,— Ермолов осветит облик Барклая в весьма искаженном виде. В целом он пишет о нем очень сдержанно, некоторые его оценки полководца попросту уничижительны, себя же Ермолов выставляет инициатором важнейших стратегических решений и руководителем войск в ответственные моменты кампании, и в результате Барклай является под мемуарным пером начальника своего штаба пассивным исполнителем его воли.

Столь же предвзято изображает Ермолов в записках и свою роль в конфликте между двумя главнокомандующими, представляя себя бескорыстным миротворцем, сглаживавшим их взаимные столкновения и обиды. Как бы из дали времен не без патетического лицемерия обращается он к тому и другому: «Я все средства употреблял удерживать между вами, яко главными начальниками, доброе согласие, боясь малейшего между вами охлаждения... Благодаря доверию обоих вас ко мне я долго бы удерживал вас в сих мнениях», но, продолжает Ермолов, происки завистливого графа Э.Ф. Сен-При помешали выполнить до конца эту примирительную миссию[137].

В таких же приукрашенных тонах отзывался об этом — и едва ли не с его собственных слов — Д.В. Давыдов, двоюродный брат и ревностный защитник воинского авторитета Ермолова. Сам он в 1812 г. вел себя по отношению к Барклаю далеко не лучшим образом. Старинный его товарищ П.Д. Киселев вспоминал на склоне лет, что Д. Давыдов принадлежал к «синклиту записных поклонников Ермолова» — «крикунов безрассудных», и когда, например, некоторые флигель-адъютанты «выпустили сатирические куплеты против Барклая», именно «Давыдовым с братьями» они «перелагались на русский язык и разносились» повсюду[138]. В мемуарно-исторических сочинениях 30-х годов Давыдов стремился более объективно представить облик Барклая и нашел немало добрых слов в его адрес, но до конца преодолеть исконное недоброжелательство к нему и трезво оценить поведение Ермолова так и не смог, повторяя разговоры о «согласии», которое он якобы устанавливал между главнокомандующими[139].



А.П. Ермолов. Гравюра А. Ухтомского по оригиналу В. Машкова. 1810-е годы. ГИМ

Эта версия повлияла и на историографию. А.Н. Попов, например, веривший в искренность мемуарных показаний Ермолова, утверждал, что он «всеми силами» старался «поддержать и укрепить» доброе согласие главнокомандующих[140].

Некритически восприняли ее современные историки, неправомерно ссылавшиеся в пользу мнения о «миротворческой» позиции Ермолова в 1812 г. на его уже послевоенное письмо к А.А. Казадаеву с положительным отзывом о Барклае: «кампания 1812 года не в пользу его по наружности, ибо он отступал беспрестанно, последствия его оправдывают», что нельзя не отметить «по сущей справедливости»[141].

Но ради той же справедливости надо сказать, что Ермолов — опытный и высокообразованный военачальник еще летом 1812 г. правильно оценил плодотворность отступательной стратегии Барклая, но открыто об этом тогда не высказывался. Лишь в конце июля, в самый разгар нападок на него по поводу неудачных маневров под Рудней, Ермолов как бы невзначай признавался в доверительном письме к Багратиону, что намерение Барклая «продолжить войну, дабы дать время составить новые ополчения» есть «наиболее обстоятельствам приличествующее и спасительное», а после сдачи Смоленска писал ему же: «...одно продолжение войны представляет вернейший способ восторжествовать над злодеями нашего отечества».

Тем непростительнее для Ермолова, что в то же самое время именно он, как никто другой, разжигал в главной квартире враждебные Барклаю настроения[142]. Касаясь развязанной против него в 20-х числах июля кампании «особами» из царской свиты, Барклай писал в ноябре 1812 г. Александру I, что «начальник главного моего шта-

ба А.П. Ермолов, человек с достоинствами, но лживый и интригант, единственно из лести к некоторым вышеназванным особам и к его императорскому высочеству и князю Багратиону совершенно согласовался с общим поведением»[143].

Один из ближайших в 1812 г. сотрудников Барклая, чиновник по дипломатической части и экспедитор Особенной канцелярии при Военном министре А.Л. Майер (он был сыном старинного друга полководца еще со времен Очакова — Л.Л. Майера) много лет спустя делился воспоминаниями о нем в семье военного историка А.В. Висковатова. В архиве «Русской старины» сохранилась запись этих мемуарных рассказов, готовившаяся для публикации в журнале сыном историка — К.А. Висковатовым, но света так и не увидевшая. В ней, в частности, сказано, что Барклай «часто говорил» А.Л. Майеру «о всех интригах, против него направленных во время нахождения его в армии в 1812 г., в особенности со стороны Ермолова, много содействовавшего к удалению его из армии»[144]. Подтверждал это — видимо, по семейным преданиям — и отдаленный потомок Барклая Ф.П. Веймарн: «Из врагов Барклая Ермолов едва ли не более всех повредил ему в 1812 году»[145].

От внимания историков ускользает обычно чрезвычайно важный в плане взаимоотношений Барклая с генералитетом эпизод, имевший место в последние дни июля 1812 г. О нем или вовсе не пишут, или касаются его лишь вскользь[146]. Речь идет о попытках ряда генералов и прежде всего Ермолова побудить Багратиона к отстранению Барклая от командования 1-й армии с тем, чтобы самому возглавить войска. Ввиду щекотливого характера темы заинтересованные участники событий, как правило, умалчивали о них в своих мемуарах, и общие очертания этого эпизода можно восстановить лишь по крупицам разбросанных в источниках сведений.

Ранее мы уже отмечали встречу 21 июля в Смоленске двух главнокомандующих, когда Багратион согласился было подчиниться Барклаю. Очевидец встречи А.Н. Муравьев вспоминал: «Это обстоятельство разрушило надежды всех наших генералов и всех офицеров, которые единодушно не терпели Барклая»,— они «негодовали на сей оборот дела»[147]. Причина «негодования» и сам смысл этих «надежд» проясняется из записанного в свое время М.П. Погодиным рассказа генерала И.В. Васильчикова,

прибывшего с Багратионом в Смоленск вместе с другими его корпусными и дивизионными командирами. Когда после соединения армий стало известно, что начальство над ними принял Барклай, «Ермолов... всячески убеждал Багратиона восстать против этой меры, не становиться под команду к младшему, да еще и *немец* и *для пользы общей* просто самому принять начальство над армией. Можно представить себе, каких плодов он ожидал от этих гнусных подстрекательств самолюбия в такую минуту, когда вся судьба России висела на волоске и когда неприязнь или местничество начальников так легко могли порвать этот волосок»[148]. Васильчиков был, однако, не вполне искренен в своем праведном негодовании и, обличая Ермолова — давнего своего недруга, немного запамятовал о самом себе, ибо, судя по запискам А.Н. Муравьева, в 1812 г. он тоже был прикосновенен к осуждавшимся им впоследствии «подстрекательствам». Но что его рассказ — не досужий вымысел, это следует из писем самого Ермолова к Багратиону за конец июля — начало августа, в которых мы находим призывы «взять на себя командование армией»[149]. Генерал-квартирмейстер штаба 2-й армии М.С. Вистицкий тоже свидетельствовал, что в 20-х числах июля Багратиону «предлагали собрать генералов обеих армий и, яко старший, сменить Барклая»[150].

Что же до Багратиона, то поначалу он надеялся, что под шквалом критических нападок Барклай сам сложит свои обязанности, и тогда руководство войсками автоматически перейдет к нему. В конце июля Багратион писал Ермолову: «Я все делаю, что должно истинному Христианину и Русскому, и более бы сделал, если бы ваш министр отказался от команды»[151]. О том, что именно ему надлежит предводительствовать обеими армиями, Багратион впервые упомянул еще 26 июля в письме к Аракчееву[152] на следующий день после военного совета, где выявилась несклонность Барклая к крупным наступательным операциям. «Ежели бы я один командовал обеими армиями...»,— писал он 14 августа Ростопчину, ненароком обмолвившись о своем глубоко выношенном стремлении. Но еще 6 августа тот же Ростопчин, имевший в главной квартире негласных информаторов, сообщал Александру I, что Багратион, «по-видимому, ждет какого-нибудь плохого дела, чтобы предъявить себя командующим обеими армиями»[153].

Мы видим, сколь значим был во всех этих генеральских поползновениях мотив старшинства, игравший в военно-аристократической среде того времени роль некоей неписаной нормы, обычного права. На это ссылался и сам Багратион в одном из писем к Ростопчину: «Я хотя и старее министра и по настоящей службе и должен командовать». Об этом он в тех же выражениях сообщал в середине августа П. Чичагову: «Я хотя и старее его, но Государю неугодно, чтобы один командовал, а ему велено все: стало, хоть не рад, да будь я готов. Я кричу — вперед, а он — назад»[154]. Даже благожелательный к Барклаю А.Н. Муравьев писал «об уступке Багратиона своего законного права командовать обеими армиями».

Однако ничего «законного» здесь не было. Если смотреть на вещи непредвзято, то нельзя не признать в этом беспрецедентную для той эпохи попытку самочинно и насильственно устранить главнокомандующего одной из русских армий — своего рода «генеральский мятеж», в котором участвовали нижестоящие по званию и непосредственно подчиненные ему по должности лица. Слухи об этом эпизоде вышли, между прочим, за пределы военно-верхушечных сфер. Он отмечен, в частности, в неопубликованном мемуарном сочинении Н.И. Тургенева «Воспоминания о далеком прошлом», послужившем основой для знаменитой его книги «Россия и Русские»: «Во время взятия Смоленска генералы даже поговаривали о том, чтобы силой лишить Барклая де Толли командования армией»[155]. Такого рода поползновения покушались на самое власть императора, ибо по «Учреждению для управления большой действующей армией» ему одному предоставлялась, как мы видели выше, прерогатива назначения и смещения командующих «частными» армиями.

Надо вместе с тем отдать должное Багратиону: как ни хотел он в конце июля — первой половине августа единолично возглавить русские войска, у него все же хватило ума, верности воинской дисциплине и просто нравственной щепетильности отклонить авантюрное намерение своих горячих сподвижников добиться этой цели явочным порядком. Позднее Багратион объяснял Ростопчину, что поскольку «на сие нет воли государя... я не могу без особенного повеления на то приступить»[156].

Обращаться же непосредственно к Александру I с какими-либо наветами на Барклая и с просьбой о своем официальном назначении на высший пост в армии Багратион считал неприемлемым, роняющим его достоинство, и на уговоры по этому поводу Ермолова отвечал в последних числах июля: «Есть ли написать мне прямо царю, чтобы дал обеими армиями командовать, тогда государь подумает, что сие ищу не по моим заслугам или талантам, а единому тщеславию»[157]. Возможно, конечно, что Багратион при этом, чувствуя давнее нерасположение к себе Александра и его недовольство ходом отступления 2-й армии, в глубине души сознавал, что никогда не будет поставлен во главе всех русских армий. Ведь и в командующие 2-й армией Александр I прочил сначала совсем не его, а генерала от инфантерии Н.М. Каменского, младшего сына фельдмаршала М.Ф. Каменского, выдвинувшегося в Шведской войне 1808—1809 гг. и сменившего Багратиона в 1810 г. на посту главнокомандующего Молдавской армией. Восходящая звезда русского генералитета, Н.М. Каменский пользовался широкой популярностью, завоевал благоволение самого царя, но во время Турецкой кампании неожиданно, при загадочных обстоятельствах скончался, и только тогда «за неимением лучшего», по словам А.Н. Попова, главнокомандующим 2-й армией был назначен Багратион[158].

Любопытно в этой связи, что в сношениях с царем в июле — начале августа 1812 г. в том, что касалось Барклая, он был весьма сдержан. Если в частных письмах к Аракчееву, Ростопчину, Ермолову, в общении с генералами и офицерами Багратион давал волю своему гневу, никак не щадил Барклая, осыпая его оскорбительными обвинениями, то в многочисленных донесениях Александру I он не позволил себе ни одного личного выпада в его адрес и с резким осуждением отзывается о Барклае лишь 7 августа, взбешенный сдачей Смоленска[159].

Но это не помешало тогда Багратиону в целях обеспечения «единоначалия», ибо «дело идет о спасении отечества», ходатайствовать перед царем о назначении общего главнокомандующего, не связывая, однако, это с кем-либо персонально. Правда, впервые с таким ходатайством обратился к Александру I Ермолов, направив ему еще 16 июля, втайне от Барклая, письмо, где высказывался за безотлагательное назначение единого «начальника обеих армий»[160],— заметим, что тогда еще

действия Барклая не вызывали сколько-нибудь серьезной критики в армии.

Одновременно сторонники Багратиона сами вступили в прямые отношения с Александром I, требуя уже со своей стороны определить его на этот пост.

В воспоминаниях Ростопчина, написанных в 1825 г., рассказывается, без указания точной даты, что после отъезда Александра I из Москвы в июле 1812 г. сюда прибыл из главной квартиры по пути в Петербург генерал-адъютант П.В. Голенищев-Кутузов, оставленный в армии для управления царской свитой. Внезапный приезд его в Москву, но непонятному для местных жителей поводу, вызвал самые худые толки о военных делах, по «потом уже,— продолжает Ростопчин,— я узнал, что Кутузову было поручено многими выдающимися генералами просить государя о замене Барклая кн. Багратионом, по причине несогласий, господствовавших между ними, и недостатка деятельности в нашей армии». Мемуарное свидетельство Ростопчина в основе своей совпадает с его же письмом Александру I от 23 июля 1812 г., где сообщалось о беспокойстве публики в связи с «проездом через Москву генерал-адъютанта Кутузова»[161]. Вместе с тем оно позволяет точнее определить время его появления здесь. Из содержания письма следует, что Голенищев-Кутузов приехал в Москву в тот же день, которым оно и датировано,— 23 июля и, значит, из армии отбыл не ранее 21 июля, ибо путь от Смоленска до Москвы при быстрой фельдъегерской езде не мог занять тогда более двух суток. Из этого частного уточнения вытекает очень существенный вывод: генеральская оппозиция пыталась, в обход Барклая, добиться его официального отстранения от руководства войсками еще в момент примирительной встречи двух главнокомандующих — за несколько дней до того, как обнажились со всей резкостью стратегические расхождения между ними из-за рудненских маневров. Эта была, очевидно, наиболее ранняя из известных нам ныне попыток такого рода, несомненно, связанная с тем самым «негодованием» Ермолова и других военачальников по поводу признания Багратионом старшинства Барклая, о котором мы знаем из воспоминаний А.Н. Муравьева и И.В. Васильчикова.

27 июля с подобным настоянием Ермолов уже от своего имени обратился к царю. Отозвавшись крайне отрицательно о действиях Барклая под Рудней, он писал:

«Государь! Нужно единоначалие», а «усерднее к пользам отечества и защите его, великодушнее в поступках... быть невозможно достойного князя Багратиона». Не случайно столь ответственное письмо Ермолов, в отличие от других своих посланий Александру I в 1812 г., отправил не ему лично, хотя и имел на то царское соизволение, а через Аракчеева, надеясь, видимо, найти в этом могущественном и известном своей враждой к Барклаю сановнике поддержку в хлопотах о его смещении. Попутно отметим, что две недели спустя, 10 августа, когда русские войска отступали от Смоленска к Москве, Ермолов, не зная еще об уже состоявшемся в Петербурге назначении в армию единого главнокомандующего, вновь обращается к Александру I с патетическим и прямо порочащим Барклая письмом: «Я люблю отечество мое, по Твоему одобрению люблю правоту и потому обязан сказать, что дарованиям главнокомандующего здешней армии мало есть удивляющихся, еще менее имеющих к нему доверенность»[162].

Наконец, 31 июля возвращавшемуся из главной квартиры в Петербург князю П.М. Волконскому было вручено строго конфиденциальное письмо Александру I П.А. Шувалова, мнение которого было для него куда более значимо, чем все донесения Багратиона и Ермолова. В нем звучала столь суровая критика Барклая, какой царь еще ни от кого не слышал, причем Шувалов стремился выставить в выгодном свете этих самых рьяных его противников, которые, несмотря на их «пламенную ревность к службе», не могут «предотвратить зла при таком начальнике». «Нужен другой главнокомандующий, один над обеими армиями,— заключал свои обличения Шувалов.— Необходимо, чтобы ваше величество назначило его немедленно, иначе — погибла Россия»[163]. В этом контексте становится понятным смысл позднейших свидетельств П.Х. Граббе и А.Н. Сеславина, что в конце июля «с Петербургом началась переписка, враждебная для Барклая де Толли» и он «подвергнут был... у двора клеветы»[164].

Багратион, будучи, видимо, в курсе закулисных хлопот генералов в пользу своего назначения единым главнокомандующим, несмотря ни на что, не терял в этом смысле надежды. Во всяком случае когда стало известно, что на этот пост определен Кутузов, то он был крайне уязвлен и не мог скрыть своего разочарования. К Кутузову как военачальнику он вообще относился без

особого пиетета, отзываясь о нем еще за год до того в письме к тому же Барклаю весьма пренебрежительно: «Его высокопревосходительство имеет особенный талант драться неудачно и войска хорошие ставить на оборонительном положении». 16 августа 1812 г. по поводу только что полученного рескрипта о назначении Кутузова в армию Багратион в раздраженно-запальчивом тоне, не стесняясь в выражениях, пишет Ростопчину: «Хорош и сей гусь, который назван и князем и вождем. Если особенного повеления он не имеет, чтобы наступать, я вас уверяю, что тоже приведет к вам, как и Барклай. Я с одной стороны обижен и огорчен для того, что никому ничего не дано подчиненным моим и спасибо ни им, ни мне не сказано. С другой стороны, я рад: с плеч долой ответственность, теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги. Я думаю, что и к миру он весьма близкий человек, для того его и послали сюда». Как бы ни относиться к этому злоречию, нельзя не признать: Багратион инстинктивно, что называется, нутром почувствовал в Кутузове продолжателя барклаевской стратегии.

Антикутузовские настроения Багратиона получили в эти дни общественную огласку. 19 августа 1812 г. московский обер-полицмейстер П.А. Ивашкин сообщал в секретном донесении министру полиции А.Д. Балашеву о последних столичных новостях: «Князь Петр Иванович Багратион очень недоволен, что ему дали Начальника, он щитал, что ему отдадут в команду все армии, я слышал, что он об оном писал к своим знакомым». Позднее Ростопчин вспоминал, что в то время как «Барклай — образец субординации — молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием, Багратион, напротив того, вышел из всяких мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги»[165].

КОНФЛИКТ С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ

Неожиданное для всех решение Барклая после кровопролитной обороны Смоленска отойти к Москве вызвало в генеральской оппозиции стремление пресечь его распоряжения на этот счет. Еще за неделю до того Баг-



Великий князь Константин Павлович. Гравюра Ф. Вендрамини по оригиналу Л. Сент-Обена. 1813. ГИМ

ратион подумывал об установлении над Барклаем негласного надзора и наставлял Ермолова: «Рекомендую вам главну вещь: вы должны все бумаги министра внизу подписывать, яко главный генерал штаба, вы должны всю переписку знать министра с нами по части военной, иначе будете отвечать и поздно будет сказать: я не знал, мне не сказали!» Теперь же Багратион направил Барклаю письмо с требованием продолжить защиту Смоленска, и в штабе 1-й армии оно лишь подогрело страсти[165].

По воспоминаниям прибывшего сюда утром 6 августа П.Х. Граббе, группа возмущенных генералов уполномочила начальника артиллерии 1-й армии графа А.И. Кутайсова, к которому Барклай относился с симпатией и уважением, выразить ему протест по поводу намерения оставить Смоленск и настаивать на сражении, ибо войска одушевлены «уверенностью в победе», а «дальнейшее отступление произведет уныние». Барклай, однако, остался непреклонен и, выслушав Кутайсова, ответил: «Граф, исполняйте ваши дела, а мне предоставьте мое». Этот же эпизод почти дословно передан в собственноручных заметках Граббе 1852 г. на биографию Барклая, составленную А.В. Висковатовым,— они были сделаны на ее печатном экземпляре, который хранится ныне в архиве историка, причем точно воспроизведен здесь и резкий ответ Барклая Кутайсову[166].

В такой атмосфере обострились отношения Барклая и с великим князем-цесаревичем Константином Павловичем, составлявшим, наряду с Ермоловым, самую внушительную опору оппозиции в его собственной армии.

В молодости великий князь прославился необузданным нравом и скандальными похождениями, нарушавшими нормы светского приличия, чем возбудил

против себя «общую ненависть и презрение». По саркастическому отзыву Д.В. Давыдова, «цесаревич, никогда не принадлежавший к числу бесстрашных героев... страстно любил, подобно братьям своим, военную службу» с ее «несносно-педантическим, убивающим всякую умственную деятельность парадированием», и, «будучи одарен душою мелкою, не способною ощущать великих порывов, цесаревич, в коем нередко проявлялось расстройство рассудка, имел много сходственного с отцом своим». Показательно, как эта уничтожающая характеристика поэта-партизана совпадает с мнением императорской фрейлины Р. Эдлинг, писавшей, что великий князь «страдал полным отсутствием отваги в физическом и нравственном смысле и не был способен сколько-нибудь подняться душою над уровнем пошлости. Он постоянно избегал опасности и в виду ее терялся совершенно так, что его можно было принять за виновного или умоповрежденного»[167].

Точно так же «потерялся» цесаревич и в полном опасностей 1812 г. Он испытывал страх перед военным могуществом Наполеона и, когда французские войска приблизились к Москве, стал даже склонять Александра I к миру. Невзлюбив Барклая еще с 1807 г., когда перед Фридландом тот открыто противодействовал его военным советам[168], Константин Павлович летом 1812 г. поучал полководца, как вести войну с французами, громче всех порицал его за отступление и вообще вредил ему чем только мог. Это доставляло Барклаю дополнительные трудности. В качестве командира 5-го (гвардейского) корпуса цесаревич прямо ему подчинялся, но как брат царя пользовался определенной «юрисдикцией». Будь Барклай единым главнокомандующим, власть которого простиралась, как было указано выше, и на членов императорской фамилии, он мог бы разом, в дисциплинарном порядке поставить его на место, но, командуя лишь одной из «частных» армий, такой возможностью не располагал.

Тем не менее Барклай не желал терпеть его враждебные выходки. Не минуло и недели после отъезда царя из армии, как между ними произошло первое крупное столкновение. Цесаревич позволил себе публично грубый выпад против Барклая, за что 12 июля был выслан из Витебска в Москву, где тогда находился Александр I, под благовидным предлогом доложить ему «на словах во всей

подробности настоящее положение армии». Ермолов сомневался впоследствии в том, «чтобы он мог то сделать сам, по собственному побуждению»[169]. Сомнение справедливое — в данном случае Барклай потому и мог так поступить, что имел какую-то договоренность с Александром I, который хорошо знал цену своему брату и без всякого энтузиазма терпел его пребывание в армии. М.А. Милорадович рассказывал после войны Михайловскому-Данилевскому, что в «1812 году на цесаревича Константина Павловича было от многих генералов неудовольствие и что государь не хотел давать его высочеству особенных команд, чтобы тем не оскорбить генералов»[170]. Сам цесаревич и не питал иллюзий относительно истинных мотивов высылки его Барклаем в Москву — в главной квартире было достаточно флигель- и генерал-адъютантов для непосредственных сношений с царем. По этому поводу Ростопчин не без иронии отметил, что Барклай, «находя... присутствие» великого князя здесь «бесполезным и стеснительным, послал его курьером к государю», а секретарь вдовствующей императрицы Марии Федоровны Г.И. Вилламов 18 июля 1812 г. записал в своем дневнике: «Он в отчаянии... что от него, очевидно, хотели отделаться. Это верно,— добавляет Вилламов,— так государь в своем письме (к императрице.— *А.Т.*) говорит, что у них с Барклаем это было дело решенное»[171].

Но на этот раз Александру I не удалось воспрепятствовать возвращению цесаревича в главную квартиру. Он прибыл туда накануне соединения армий и, по словам П.Х. Граббе, «последовал общему увлечению против Барклая де Толли»[172], став одним из главных его оппонентов на военном совете 25 июля и примкнув к боровшимся за устранение его от руководства боевыми действиями в последующие дни.

И вот теперь, на подходе отступающей армии к Дорогобужу, великий князь оказался в центре нового конфликта с Барклаем. При этом он повел себя настолько оскорбительно и бестактно, что даже по прошествии нескольких десятилетий немецкий историк Т. Бернгарди, собиравший для жизнеописания К.Ф. Толя устные свидетельства престарелых очевидцев разыгравшейся в главной квартире бурной сцены, не счел возможным предать их огласке[173].

Уместно будет тут сказать, что русские историки XIX в. тоже предпочитали умалчивать о коллизии между великим князем и Барклаем в 1812 г. Ничего не говорится о ней ни в первых капитальных описаниях Отечественной войны Д.П. Бутурлина и А.И. Михайловского-Данилевского, ни в висковатовской биографии Барклая. Даже А.Н. Попов, труды которого проникнуты критическим отношением к официальной историографии, всячески сглаживал остроту их взаимоотношений, утверждая, например, в противоречие с приводимыми им же данными, что отъезд великого князя из армии в начале августа, о котором пойдет у нас сейчас речь, состоялся будто бы «по собственному его желанию»[174].

Конфликт этот так бы и оставался скрытым от нас плотной завесой времени, если бы не были позднее опубликованы воспоминания прикосновенных к нему лиц. Наиболее ценные сведения содержатся в цитировавшихся выше записках А.Н. Муравьева, бывшего тогда дежурным адъютантом при великом князе. Муравьев рассказывает о «домашнем собрании и совещании» генералов у Константина Павловича в штабе гвардейского корпуса. Поводом для этого послужила, между прочим, неудача предпринятых еще в 20-х числах июля попыток добиться перехода командования обеими армиями к Багратиону. По свидетельству сенатора Ф.И. Тимирязева, передававшего устные припоминания своего отца, И.С. Тимирязева — ветерана войны и впоследствии адъютанта великого князя, генералы обратились к нему «с просьбой, чтобы он, как брат государя, могущий пользоваться относительною свободою слова и мнений, объяснил главнокомандующему, что дальнейшее продолжение принятой им системы постоянного отступления деморализует армию и распространяет ужас по всей России». Ф.П. Веймарн, основываясь на рассказах квартирмейстерского офицера штаба 3-го пехотного корпуса поручика Е.К. Мейендорфа, среди прочих участников «совещаний» называет герцога А. Виртембергского, Беннигсена, Римского-Корсакова, Н.А. Тучкова, Ермолова. Великий князь не дал себя долго уговаривать и охотно возглавил генеральский демарш. Представ перед Барклаем, он потребовал от него коренной перемены в образе ведения войны. Муравьев сообщает впечатляющие подробности того, что за тем последовало на глазах генералов и большого числа

штабных офицеров: войдя к Барклаю «без доклада и со шляпой на голове, тогда как главнокомандующий был без шляпы», великий князь «громким и грубым голосом закричал... «Немец, шмерц*, изменник, подлец, ты продаешь Россию, я не хочу состоять у тебя в команде. Курута**, напиши от меня рапорт к Багратиону, я с корпусом перехожу в его команду», и сопровождал эту дерзкую выходку многими упреками и ругательствами». Угроза стать «под команду» Багратиона,—а это было уже открытым неповиновением — явилась, безусловно, своеобразным отражением стремления верхушки армии видеть именно в нем единого главнокомандующего.

По одной версии (А.Н. Муравьев), Барклай ничего не ответил на эту брань и только «в первое мгновение остановился, посмотрел на великого князя и, не обращая более внимания... хладнокровно продолжал ходить взад и вперед», так что Константину Павловичу не оставалось ничего иного, как сесть на лошадь и уехать домой. По другой версии (И.С. Тимирязев, Е.К. Мейендорф), выслушав учтиво его «горячую речь», Барклай с полной невозмутимостью «объявил пришедшим», что не нуждается «в непрошеных советах», полагая их «противными правилам службы», но, воздавая должное «возражениям» великого князя, предлагает ему отправиться в Петербург для доставления донесения главнокомандующего 1-й армией «государю императору», ибо никто лучше его не справится с этой ответственной миссией[175].

А.Н. Муравьев писал, что «часа через два по возвращении» великий князь «получил от Барклая де Толли конверт с предписанием... немедля выехать из армии»[176].

Письма Барклая позволяют точно датировать этот инцидент. Впервые о предстоящем отправлении великого князя Барклай известил Александра 9 августа. На следующий день он снова писал царю, что брат его едет в столицу, а 14 августа сообщает об уже состоявшемся отъезде: «Великий князь Константин сам предложил отправиться в Петербург для доклада вашему императорскому величеству о настоящем положении дел. Я принял, государь, это предложение с удовольствием по известным

* Колбасник (*нем.*)

** Д.Д. Курута (1770—1838) — начальник штаба 5-го корпуса и доверенное лицо великого князя.

вам соображениям»[177]. Тем самым Барклай многозначительно намекал царю на их общие разговоры в начале кампании о нежелательности нахождения великого князя в армии.

Следовательно, описанный выше инцидент произошел еще 9 августа, а из армии великий князь был отправлен на другой день,— это видно и из дневниковой записи конногвардейца Ф.Я. Мирковича за 10 августа: «Цесаревич уехал в Петербург». Гвардейский артиллерист И.С. Жиркевич отмечал в своих записках, что он пришел от этого «приема» в ярость — «рвал на себе волосы и сравнивал свое положение с должностью фельдъегеря»[178].

Стало быть, Барклай вторично удалил цесаревича из главной квартиры (после этого он уже до конца кампании в армию не вернулся) и, как видим, на тех же унизительных условиях, что имело самые нежелательные последствия. Министр внутренних дел О.П. Козодавлев доносил 14 августа Александру I в Финляндию, что «прибытие его высочества, последовав неожиданно, подало повод к великому множеству толков, и многие полагают, что сильный урон наших войск тому был поводом». В то же время приезд царского брата был воспринят и с некоторым скандальным оттенком — по городу пошли разговоры, что он был выдворен из армии Барклаем с «самыми строгими упреками» и «головомойкой» в присутствии генералитета[179].

Современники высоко оценивали независимую позицию Барклая в отношениях с цесаревичем — наследником российского престола. «Такой смелый поступок главнокомандующего,— писал А.Н. Муравьев,— зажал на время рот у его противников, которые сделались несколько осторожнее, но продолжали его ненавидеть... Восхищаюсь таким характером и почитаю его истинно великим и подобным знаменитым древним мужам Плутарха!»[180]

«Противники», однако, не дремали, стремясь использовать Константина Павловича для оказания давления на Александра I в своих происках против Барклая. Великий князь уезжал не с пустыми руками — он вез с собой обличавшее полководца письмо Ермолова к царю от 10 августа, о котором мы упоминали выше. Почти 40 лет спустя А.А. Щербинин, в 1812 г. один из наиболее осведомленных квартирмейстерских офицеров штаба 1-й

армии, готовя ответы на расспросы Т. Бернгарди «о заговоре, составленном будто бы против Барклая под Смоленском некоторыми генералами», писал в своих не опубликованных еще доселе памятных заметках: «Носились в главной квартире слухи, что в.к. Константин П. уехал с тем, чтобы побудить императора к отнятию у Барклая Главного над армиями начальствования»[181].

«ДУРНЫЕ ТОЛКИ» В ВОЙСКАХ

Обрисовав с разных сторон нарастание борьбы против Барклая в главной квартире, мы подошли и к ответу на поставленный выше вопрос о первичных очагах распространения в армии антибарклаевских настроений.

В одной из своих работ о 1812 годе А.Н. Попов высказал очень верную мысль о механизме формирования общественных представлений в связи с крупными военными событиями. «Штабы армии,— писал он,— составляют интеллигенцию войск, как бы цвет военной образованности, к ним примыкают все влиятельные лица в войсках, они... имеют влияние на взгляды последующих поколений. Кто же, как не более образованные лица войск, записывая события, оставляют потомкам свои воспоминания, которые служат им, как показания очевидцев и участников, лучшими источниками науки истории». Но, как ни важна роль «штабов» в историографическом плане, в сохранении исторической памяти о минувших войнах, не меньшее значение придавал А.Н. Попов тому, что «штабы дают направление взглядам и суждениям о ходе» военных дел в момент их свершения, что «штабные руководят современными мнениями»[182].

Этот свой вывод он строил из наблюдений над тем, как складывались в 1812 г. и позднее мнения современников о Кутузове под влиянием враждебных ему группировок в его штабе. Но А.Н. Попов упустил из виду, что точно такой же механизм лежал в основе распространения тогда представлений и о Барклае.

В прямой связи с этим стояли прежде всего попытки недругов Барклая из главной квартиры в их обращениях в военно-правительственные сферы представить дело таким образом, что за его устранение ратует в первую

очередь сама армия. К ее безоговорочной поддержке апеллировал в переписке с сановными корреспондентами в Петербурге и Москве Багратион, обосновывая свои притязания на пост единого главнокомандующего. 26 июля он писал Аракчееву (с явным расчетом на передачу этих слов царю): «Вся армия просила меня гласно, чтобы я всеми командовал». «О сем просила и вся армия»,— сообщал он позднее Ростопчину[183]. Вероятнее всего, Багратион слышал об этом от своих приверженцев, убеждавших его возглавить войска, что было в их устах веским доводом, дабы склонить его к столь трудному шагу, но имели ли в тот момент место подобные настроения в «низах» 2-й, тем более 1-й армии, это остается далеко не ясным. Во всяком случае о падении престижа ее главнокомандующего и желании войск видеть во главе армии Багратиона высказывались в последние июльские дни лишь военачальники, принадлежавшие к враждебной Барклаю «партии», в частности, Ермолов и Шувалов в их уже упоминавшихся письмах к Александру I. А.Н. Попову эти высказывания представлялись настолько авторитетными, что он счел их «общим мнением, господствовавшим в войсках», и в подкрепление сослался на мемуарное свидетельство П.Х. Граббе: «На Багратионе сосредоточились надежды обеих армий»[184]. Ссылка эта, однако, неоправданна, поскольку из контекста воспоминаний Граббе следует, что здесь он писал вовсе не о планах замены Барклая Багратионом, а о высокой патриотической репутации последнего в войсках. В современных же событиям источниках сведений о том, что уже в конце июля именно таким было «общее мнение» среди рядовых офицеров и солдат, мы не находим — их собственные голоса из того времени до нас почти не доходят.

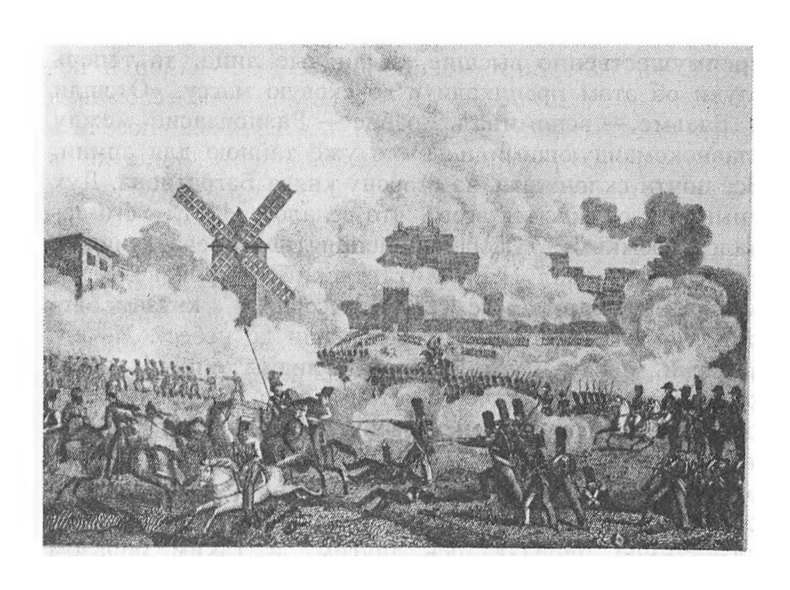
Зато имеется немало свидетельств в пользу того, что «первотолчок» этого «общего мнения» исходил от высших командных кругов, на что указывал еще Е.В. Тарле: «Агитация против Барклая шла сверху»[185]. Столь существенный вывод он, однако, не оснастил документальной аргументацией. Восполним же этот пробел, обратившись к показаниям очевидцев событий. При этом выясняется, что те самые лица, которые образовывали ядро глубоко скрытой оппозиции Барклаю, наиболее рьяно выступали против него и публично.

Принц Евг. Виртембергский, генерал-майор и командир 4-й пехотной дивизии, с осуждением вспоминал о «влиятельных лицах» из штаба, старавшихся «поселить в войске недоверчивость» к Барклаю. М.А. Фонвизин в 1812 г. был одним из любимых адъютантов Ермолова и до конца жизни сохранил к нему дружеские чувства, но и он, говоря о Ермолове и Раевском как о «главных недоброжелателях» Барклая, не мог не признать, что оба генерала «сообщили чувства неприязни своей к нему и войску». Из воспоминаний А.Н. Муравьева мы узнаем, что уже с начала кампании враждебные Барклаю «убеждения Ермолова скоро перешли в понятия всех почти русских генералов и лучших офицеров и коснулись даже простого ратника, который с пренебрежением отзывался о главнокомандующем, называя его не *Барклай де Толли, а болтай да и только*». На это шедшее как бы сверху оскорбительное переиначивание фамилии полководца указывал, кстати, и брат мемуариста — Н.Н. Муравьев-Карский, служивший с ним в 1-й армии[186].

Сам Ермолов вспоминал, как по достижении ею Поречья (а это было еще 18 июля), стараясь под покровом темноты остаться неузнанным, заводил с солдатами беседы антибарклаевского толка, в ходе которых осуждались беспрерывные отступательные марши и всецело ответственный за них главнокомандующий. В войсках вообще передавались из уст в уста разного рода острые словечки Ермолова, прямо метившие в Барклая, например, будто он, Ермолов, во всеуслышание просил царя «произвести его в немцы» то той причине, что они чаще других получают награды, и т.д.[187]

Наряду с ним, застрельщиком агитации против Барклая явился и великий князь. В сущности, описанный выше инцидент 9 августа, когда в присутствии многих штабных офицеров он обрушил на Барклая непристойную брань, уже был актом публичной его дискредитации. Но нечто подобное произошло еще за месяц до того. Выразительный рассказ об этом оставил в своем дневнике П.С. Пущин.

Во время движения 1-й армии к Витебску офицеры лейб-гвардии Семеновского полка, ущемленные грубым обращением полкового командира К.А. Криднера, потребовали сатисфакции и вмешательства командующего гвардейским корпусом великого князя. В записи за 10



Смоленское сражение. Гравюра неизвестного художника. ГИМ

июля П.С. Пущин в живых подробностях описывает его приезд в полк и речь к офицерам, призывавшую их к строжайшему соблюдению дисциплины под угрозой суровой кары. «Повторяю,— заключил он свою речь,— надо подчиниться камню, если его ставят вам начальством. Может быть, я сам, говоря с вами, испытываю это на себе и подчиняюсь кому-то, который должен быть под моим начальством». Вслед за тем в скобках П.С. Пущин поясняет: «Намек на разлад между великим князем и главнокомандующим армией Барклаем де Толли»[188]. Как видим, Константин Павлович не просто афишировал перед строем гвардейских офицеров свою вражду к нему, что тут же было прекрасно понято затаившей дыхание аудиторией, но нанес Барклаю личное оскорбление, сравнив с камнем — с чем-то неодушевленным, неспособным к мыслящему действию, и подверг сомнению самое его право командовать армией.

С оставлением Смоленска пропаганда против Барклая, умело направляемая «влиятельными лицами в войсках», велась уже совершенно открыто и, что хуже всего, уже никто — ни сам Багратион, ни кто-либо другой — не считал нужным утаивать углублявшийся час от часу антагонизм между ними. Если раньше о нем знали

преимущественно высшие командные лица, то теперь слухи об этом проникали в войсковую массу. «Отошли к Вязьме,— вспоминал Граббе.— Разногласие между главнокомандующими не было уже тайною для армии. Все почти склонились на сторону князя Багратиона. Дух уныния и осуждения всего, что делалось, из глухого делался громким». «Особенно неприятное впечатление,— свидетельствовал Н.Е. Митаревский,— произвело известие, что Барклай де Толли поссорился с князем Багратионом, которого все превозносили до небес». Из его записки, между прочим, отчетливо видны те пути и опосредствующие звенья, через которые после Смоленска распускалось в войсках «неудовольствие» Барклаем: «В то же время офицеры говорили и судили про начальников открыто, нисколько не стесняясь; на бивуаках офицерские разговоры слышали денщики и отчасти солдаты, слышанное передавалось другим, и таким образом хорошие и дурные толки распространялись быстро. Нападали больше всего на Барклая де Толли»[189].

В дни оставления Смоленска к его публичным хулителям снова присоединился великий князь.

Прапорщик гвардейской артиллерии, впоследствии литератор и министр народного просвещения А.С. Норов, в известных своих мемуарно-критических замечаниях на «Войну и мир» Л.Н. Толстого вспоминал о великом князе перед второй его высылкой из армии. «Я сам был свидетелем, как, стоя с генералом Ермоловым на нашей батарее, в виду пылающего Смоленска, при постепенно умолкавших пушечных выстрелах, он громко, но несправедливо порицал Барклая». «Он не хочет,— говорил великий князь,— чтоб я с вами служил и разделял вашу славу». П.И. Бартенев, перепечатывая в 1881 г. в «Русском архиве» эти воспоминания по тексту отдельного издания 1868 г., привел собственноручную помету гвардейского офицера Н.А. Дивова на одном из его экземпляров, удостоверившую показание А.С. Норова: «И я слышал этот разговор в.кн. Константина Павловича»[190].

Очевидно, та же сцена (или сходный с ней и одновременно происшедший эпизод) засвидетельствована в записках И.С. Жиркевича. Причем тут повествуется об антибарклаевской речи великого князя, обращенной не только к военным, но и гражданским жителям. «Здесь я сам слышал своими ушами, как великий князь Кон-

стантин Павлович, подъехав к нашей батарее, около которой столпилось много смолян, утешал их сими словами: «Что делать, друзья! Мы не виноваты. Не допустили нас выручить вас. Не русская кровь течет в том, кто нами командует. А мы, и больно, но должны слушать его! У меня не менее вашего сердце надрывается». Когда такие слова вырывались из груди брата царева, что должны были чувствовать и что могли говорить низшего слоя люди. Ропот был гласным»,— с сокрушением заключал рассказ И.С. Жиркевич[191]. И его соображения о действенности антибарклаевской агитации в «низшем слое людей» были далеко не беспочвенными.

Позднее имя Константина Павловича получит труднообъяснимую с рациональной точки зрения популярность в России — и более всего именно в социальных низах. Может быть, здесь сыграла свою роль отмеченная еще Д.В. Давыдовым «сходственность» великого князя с Павлом I, имя которого, овеянное рыцарственным ореолом, пользовалось благожелательной репутацией в простонародье, возможно, имели значение свойства натуры Константина Павловича, способного на неожиданные порывы благородства, и его умение легко привлекать к себе людей,— так или иначе, он имел в армии и за ее пределами немало своих приверженцев.

О нем расходилась молва как о противнике военных поселений, народолюбце и чуть ли не поборнике крестьянской свободы. В последние десятилетия перед реформой 1861 г. эти утопическое народные чаяния воплотятся в легенду о Константине — избавителе от крепостничества. Недаром 13 лет спустя по окончании войны офицеры-декабристы выведут на Сенатскую площадь солдат под лозунгом верности присяге Константину Павловичу — законному наследнику Российского престола. Идеализации великого князя — потенциального антагониста сперва Александра I, а потом — еще в большей мере — Николая I отдала некоторую дань и передовая часть дворянского общества. «Первый декабрист» В.Ф.Раевский писал о сильной любви к нему «простонародной и русского войска». А.И. Герцен вспоминал в «Былом и думах», как в молодости целый год поклонялся «этому чудаку» — «отчего не понимаю, но массы, для которых он никакого добра не сделал, и солдаты, для которых он делал один вред, любили его»[192].

Даже Пушкин, откликаясь из Михайловского на только что полученную из Петербурга весть о провозглашении Константина Павловича императором, писал 4 декабря 1825 г. П.А. Катенину, что ждет от его царствования «много хорошего», и затем указывал на то, чем он ему импонирует: «в нем очень много романтизма, бурная его молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем»[193]. В это время Пушкин, как видим, был еще далек от исторически достоверной оценки роли Барклая, которая возобладает в его творчестве в 30-х годах, и разделял прочно устоявшиеся с военной поры предубеждения к полководцу. Удивительно между тем что конфликт с Барклаем как непременный атрибут социальной репутации великого князя, причем с явно положительным «знаком», столь стойко держался в общественном сознании, а значит, публичные выпады против него Константина Павловича в 1812 г. тем более не могли не иметь своего резонанса.

Было бы, разумеется, большим упрощением полагать, что летом 1812 г. недоброжелательство к Барклаю вселялось в офицерскую и солдатскую массу исключительно пропагандой против него армейских верхов. Нет, оно нарастало в этой среде постепенно, и тем сильнее, чем дальше в глубь страны отходили войска, чем острее задевались их патриотические чувства. Решающий сдвиг в этом отношении наступил, как уже отмечалось, после сдачи Смоленска — теперь «недоверчивость» к нему уже в силу самого хода вещей приняла спонтанный характер. Но нельзя все же не признать, что начальный ее импульс был дан сверху генеральской оппозицией, сильно способствовавшей оформлению антибарклаевских настроений в армии.

«УЖАСНЫЕ ГОНЕНИЯ»

В чем же они конкретно выразились, какого размаха достигли после Смоленска и чем, наконец, были чреваты для Барклая?

Д.В. Давыдов писал об «ужасных гонениях и неприятностях, коим он подвергся в 1812 году»[194]. Чтобы понять, что за этим скрывалось, обратимся снова к синхронным показаниям очевидцев, дополнив их позднейшими мемуарными свидетельствами.

Характерным признаком кризиса доверия к Барклаю следует считать перемену отношения к нему офицеров штаба 1-й армии, проделавших бок о бок со своим главнокомандующим весь путь отступления от границы до Смоленска. Н.Б. Голицын вспоминал, как в середине августа 1812 г. в Вязьме «встретил... многих офицеров, состоявших при этом генерале, которые его оставили и ехали в армию князя Багратиона» (Н. Голицын служил тогда при нем ординарцем). П.Х. Граббе свидетельствовал, что в тот момент «ближайшие сотрудники» Барклая «усомнились в его способностях»[195]. Особенно показательны в этом плане отзывы о Барклае одного из них — А.А. Закревского.

Боевой офицер и дельный штабной работник, с успехом прошедший войны с Францией, Швецией, Турцией, Закревский в декабре 1811 г. был определен адъютантом Барклая, а в марте 1812 г.— директором Особенной канцелярии Военного министра, и все отступление находился при нем, выполняя его ответственные поручения и участвуя в сражениях. Хотя Закревский уже тогда сблизился с такими недоброжелателями Барклая, как Ермолов и Д. Давыдов, он сохранял верность ему и до Смоленска, и осенью 1812 г., когда его начальник вынужден был покинуть армию. После войны, занимая видные военные и административные должности (Дежурного генерала Главного штаба, Генерал-губернатора Финляндии и т.д.) и конфликтуя постоянно с Аракчеевым, а при Николае I — и с шефом жандармов А.Х. Бенкендорфом, А.А. Закревский, по природе своей честный и бескорыстный, вел себя независимо, не опускаясь до царедворческого угодничества. Так, он уклонился от участия в расправе над декабристами, хотя был назначен членом верховного уголовного суда, покровительствовал некоторым из них после постигших их репрессий, чуть ли не демонстративно поддерживал отношения с опальным Ермоловым и скомпрометировал себя в глазах общества главным образом уже в конце жизни — в 1850-х годах, прославившись на посту московского губернатора как консерватор-самодур и противник отмены крепостного права, за что подвергся злым обличениям на страницах герценовского «Колокола»[196]. Но это, повторяем, произойдет почти полвека спустя, в 1812-м же году то был совсем другой человек.

Вечером 5 августа, узнав одним из первых о решении Барклая наутро отойти с войсками от Смоленска, Закревский в наспех набросанной карандашом записке сообщает М.С. Воронцову: «Сколько ни уговаривали нашего министра... чтобы не оставлял города, но он никак не слушает... Нет, министр наш не полководец; он не может командовать русскими». Ослабление авторитета Барклая в результате сдачи Смоленска отмечено в дневнике П.С. Пущина за 12—15 августа: «Мы перестали верить приказам, получавшимся от Барклая де Толли». К тем дням относится и дневниковая запись А.В. Чичерина о «всеобщей ненависти» к Барклаю в армии. «С сего времени злоба не имела пределов, Барклай был в уничижении, терпел оскорбления всякого рода»,— вспоминал А.Н. Сеславин[197].

С оставлением Смоленска совпало падение его репутации и в Москве. Ростопчин, который, по словам А.Я. Булгакова, «отдавал всегда должную справедливость достоинствам Барклая», извещал тем не менее 6 августа Александра I: «Армия и Москва доведены до отчаяния слабостью и бездействием военного министра», а 10 августа, в день получения вести о сдаче Смоленска, сообщал министру полиции А.Д. Балашеву: «Публика здешняя весьма ропщет на Барклая, а народ не на него, а на солдат надеется, что сии львы удержат стремление злодея». Сам А.Я. Булгаков, вращавшийся в среде московской аристократии и чутко улавливавший городские слухи, с крайним пренебрежением писал о нем брату — К.Я. Булгакову: «Бездействие Барклая произвело несчастное, но геройское Смоленское дело... Барклай туфля, им все недовольны; с самой Вильны он все пакостит только» (13 августа); «Барклай, наконец, свалился. Этот человек недостоин был командовать Русскими» (21 августа)[198]. «Все винят Барклая и отчаяваются»,— отмечал 19 августа в дневнике осторожный и умеренный в выражениях Д.М. Волконский. Уничижительно отзывается о нем в эти дни и М.А. Волкова в письмах к В.И. Ланской: Барклай «возбудил к себе общую ненависть» (15 августа), «не можешь вообразить, как все и везде презирают Барклая. Да простит ему Бог и даст ему сознать и раскаяться во всем зле, которое он сделал» (27 августа)[199].

Видимо, несколько меньше недовольство Барклаем затронуло население Петербурга — сравнительно с Мос-

квой и примыкавшими к театру войны губерниями он был не в такой мере подвержен грозным последствиям сдачи Смоленска.

Но верхушка дворянства и военно-придворные круги северной столицы в августе — сентябре 1812 г. были настроены к Барклаю достаточно непримиримо. «Теперь явно видно, что Барклай не честный человек и неверный или глупый вождь, что впустил столь далеко врага, внутрь России»,— писал 12 августа под впечатлением известий о сдаче Смоленска престарелый Г.Р. Державин своему родственнику, дипломатическому чиновнику Л.Н. Львову. Это видно и из откликов на назначение главнокомандующим Кутузова. «Когда дело идет о спасении государства,— писал 9 августа Н.М. Лонгинов С.Р. Воронцову,— тут уже не до испробования дарований генералов. Барклаю немыслимо быть главнокомандующим и распоряжаться судьбою войск, которым он не вселяет доверия и любви которых, как равно и генералов, он не сумел заслужить своим тяжелым характером, терпение же солдат совсем истощилось»[200].

Как ни обидны были, однако, эти нападки, подвергавшие сомнению способность Барклая предводительствовать русской армией, самыми тяжелыми были все же не они, а расползавшиеся повсюду слухи об измене.

Поиски некоего «зловещего умысла» неизменно сопутствуют, как известно, обстановке национальных кризисов, приводящих в движение глубинные слои населения при отсутствии в них сколько-нибудь пробудившегося политического сознания. Смутные толки о такого рода «умысле» имели в России хождение и в 1812 г., чему сильно способствовала извечная на Руси привычка объяснять сотрясающие государство катаклизмы и опасности действиями «внутреннего врага». Удивительно между тем что эти предопределенные предрассудками мифологизированного сознания толки рождались тогда не в естественной для их обитания среде городского и сельского простонародья, а в просвещенных, военно-дворянских слоях и уже оттуда проникали в «низы».

Представление о том, что в высшем командовании армии свили гнездо тайные изменнические силы, ведущие ее к катастрофе, складывается еще в первые недели отступления: «У нас скоры видеть измену и падать духом»,— писал Н.М. Лонгинов С.Р. Воронцову 28 июля 1812 г. Но еще за месяц до того, из-под Несвижа, сетуя

на уступление французам западных губерний, Н.Н. Раевский делится своим беспокойством с А.Н. Самойловым: «Сохрани Бог, а похоже, что есть предатели»[201]. Не сомневался в этом и Багратион, тогда же извещавший Аракчеева: «Мы начали отходить, не ведаю за что, никого не уверить, ни в армии, ни в России, чтобы не были преданы... но видно есть злодей государю и России, что гибель нам предлагает», а 3 июля он в отчаянии пишет Ермолову: «Мы преданы, я вижу, нас ведут на гибель». По свидетельству того же Н.М. Лонгинова, знавшего о том, что происходило в армии из первых рук, не прошло и двух недель после начала кампании, как в Видзах, в присутствии Александра I, «корпус Шувалова... почти громко закричал: измена!»[202]

Первые адресованные непосредственно Барклаю подозрения в измене фиксируются в источниках концом июля, и знаменательно, что их питательная среда — это те же столичные придворно-аристократические круги. 28 июля В.И. Бакунина отмечает в дневнике: «имя его сделалось ненавистным, никто прямо из русских не произносил его хладнокровно», некоторые считали Барклая «сумасшедшим и дураком», иные же «называли его изменником» и «все соглашались в том, что он губит нас и продает Россию»[203].

И в армии эти подозрения сперва прозвучали из уст его недругов в главной квартире. Ростопчин вспоминал, что в письмах к нему за июль и начало августа Багратион старался «выставить» Барклая «то человеком бездарным, то изменником». Насколько можно судить по уклончивым указаниям в записках Ермолова, в июле в разговорах с солдатами он тоже поддерживал тему измены Барклая. Как помним, во время генеральского демарша 9 августа перед большой группой офицеров называл Барклая «изменником» и великий князь Константин Павлович. Принц Евг. Виртембергский писал о «говорунах» и «честолюбцах» из главной квартиры, «которые кричали, что Барклай изменник»[204].

После оставления Смоленска подобные обвинения разделяли даже люди из ближайшего к Барклаю окружения. Вот что писал об этом 6 августа 1812 г. А.А. Закревский М.С. Воронцову: «Холоднокровие, беспечность нашего министра я ни к чему иному не могу приписать, как совершенной измене (это сказано между нами)... Сему первый пример есть тот, что мы покинули без нужды

Смоленск, и идем Бог знает куда и без всякой цели для разорения России. Я говорю о сем с сердцем, как русский, со слезами. Когда были эти времена, что мы кидали старинные города? Я, к сожалению, должен вам сказать, что мы, кажется, тянемся к Москве; но между тем уверен, что министра прежде сменят, нежели он туда придет, но не иначе должно сменить его, как с наказанием примерным»[205].

Лишь после взятия Смоленска французами подозрения Барклая в измене проникают в войсковую массу. Об этом свидетельствуют, в частности, показания офицеров-очевидцев А.В. Чичерина и Н.М. Коншина[206].

Н.Е. Митаревский вспоминал, как после 10 августа под Дорогобужем «высшие офицеры обвиняли его в нерешительности, младшие — в трусости, а между солдатами носилась молва, что он немец, подкуплен Бонапартом и изменяет». Отправившись на фуражировку, Митаревский слышал, как о проезжавшем затемно Барклае «в толпе солдат кто-то сказал: „Смотрите, смотрите вот едет изменник". Это было сказано с прибавкою солдатской брани»,— уточняет мемуарист[207].

Не ослабли разговоры об измене Барклая и с прибытием в армию Кутузова. А.Х. Бенкендорф, приехавший сюда 27 августа — на другой день после Бородина, где Барклай на глазах войск сражался с величайшей отвагой, увидел, что «армия громко обвиняла» его в измене. И после оставления Москвы, когда, по свидетельству Левенштерна, «войска были... убиты духом, ожесточены», продолжали высказываться подозрения в измене» — «этой участи не избежал сам Барклай... некоторые даже громко называли его изменником»[208].

Но, пожалуй, упорнее всего слухи об измене Барклая держались после оставления Смоленска в Москве. В воспоминаниях А.Г. Хомутовой, основанных на поденных записях 1812 г., отмечено, что как только 10 августа дошло сюда известие об этом, в дворянских гостиных пошли толки о предательстве[209]. 12 августа, рассказывая в письме к Багратиону о реакции москвичей на последние военные новости («город дивился очень бездействию наших войск против нуждающегося неприятеля. Но лучше бы ничего ему не делать, чем, выиграв баталию, предать Смоленск»), Ростопчин особо отмечает: «а так как общество в мнениях своих меры не знает, то и уверило само себя, что Барклай де Толли изменник»[210].

В тот же день сообщал о том министру полиции А.Д. Балашеву московский обер-полицмейстер генерал-майор П.А. Ивашкин, информированный о том, что говорили и о чем думали местные жители, наверное, лучше кого-либо другого. В личном архиве Балашева сохранилась подборка секретных «осведомительных донесений» на его имя Ивашкина за август — сентябрь 1812 г.— источник по точности и богатству сведений о повседневной жизни столицы в своем роде уникальный, остававшийся историкам доселе не известным (на одно из этих донесений мы уже ссылались выше). Так вот, 12 августа он пишет Балашеву, что все бедствия армии москвичи «приписывают военному министру, что не сумел распорядить войска, а некоторые полагают, что он изменил и нельзя верить, чтоб можно было отдать Смоленск неприятелю»[211]. 13 августа Балашеву пишет уже Ростопчин: «обыкновенным следствием неудачных дел: ненависть народа к военному министру произвела его в изменники». 15 августа Ивашкин посылает министру полиции новое донесение: о Барклае теперь «генерально все говорят, что он изменник»[212]. 3 сентября М.А. Волкова сообщает В.И. Ланской из Тамбова, куда выехала накануне французского вторжения в столицу: «Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам все, что мог, и если бы имел время, то привел бы Наполеона прямо в Москву. Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены»[213].

У нас нет сомнений в том, что Ростопчин и Ивашкин в своих письмах и донесениях верно и хронологически точно отразили отношение к Барклаю московских жителей. Чрезвычайно показательно, например, совпадение посланных ими независимо друг от друга в один и тот же день, 12 августа, разным адресатам сообщений относительно хождения в Москве слухов об его измене — само по себе это служит подтверждением истинности того, о чем они писали. Очевидно, именно к 12 августа эти слухи и начали расходиться по Москве.

Симптоматично, однако, что ни Ростопчин, ни Ивашкин не связывают с этими слухами своей личной точки зрения, а пишут как бы отстраненно, с позиции официальных, но сторонних наблюдателей. Более того, в письме к Багратиону от 12 августа умный и скептичный Ростопчин ясно дает понять, что сам он в эти подозрения не верит, что они есть плод заблуждений, самовнушения

«общества», типичных для всякого рода социально-политических неурядиц («обыкновенное следствие неудачных дел», как определил он это в письме к Балашеву от 13 августа), когда, не зная «меры» в своих «мнениях», оно поддалось смятению и панике. В позднейших своих воспоминаниях Ростопчин прямо указывал, что лишь после сдачи Смоленска, перед лицом угрозы захвата французами древней столицы «московское общество решилось, для своего успокоения, обозвать бедного Барклая изменником»[214].



Ф.В. Ростопчин. Неизвестный художник. Б., акварель, гуашь. ГИМ

«Общество» же в его устах, да и вообще по понятиям того времени,— это, конечно, не все сословно многообразное население города, а его привилегированные, прежде всего дворянские слои. Значит, если следовать точному смыслу оценок Ростопчина, обвинения Барклая в измене первоначально циркулировали в Москве именно в этих слоях, а уже потом стали расходиться в простонародье, о чем он и извещал на следующий день — 13 августа — Балашева, говоря о «ненависти народа», которая «произвела» военного министра в изменники.

Надо сказать, что это первое по времени известие о распространении слухов об измене Барклая в социальных низах, равно как и вообще о «ненависти» к нему народа в 1812 г.: до середины августа в сохранившихся доныне синхронных источниках такие сведения не встречаются.

Между тем некоторые мемуаристы, заставшие войну в детском или юношеском возрасте и вспоминавшие о ней много десятилетий спустя, иногда и в преклонных годах, по преданиям старших участников событий или под влиянием расхожих исторических представлений склонны были изображать народ враждебно настроенным к Барклаю на протяжении всей войны в целом, в том числе и на начальном ее этапе, и уже тогда будто бы винившим

его в измене. Примерно так, скажем, писал в конце 1830-х годов выходец из калужских дворян А.К. Кузьмин, в 1812 г. 16-летний студент Петербургского лесного института: «К главнокомандующему Барклаю де Толли никто не имел доверенности, а простой народ прямо называл его изменником». Неопубликованные воспоминания И.Е. Голдинского, пережившего войну 16-летним мальчиком в г. Касимове Рязанской губернии (написаны им в глубокой старости — в 1873 г.) повествуют о восприятии военных событий в уездной провинции, жадно ловившей всякий запоздалый слух. И здесь отношение народа к Барклаю передано в самом общем, хронологически не расчлененном виде. «Неодобрение, даже ропот выражался на Барклая де Толли за отступление армии; его считали изменником, называли французом и утверждали, что сын его служит в армии Наполеона против нас»[215] — такими фантастическими измышлениями обрастали разговоры 1812 г. об «измене» Барклая. (К тому же разряду фантастических домыслов, кстати, следует отнести и закрепленный в цитированных выше записках Н.Е. Митаревского слух о том, что Барклай «подкуплен Бонапартом».)

В действительности же обвинения Барклая в измене начали циркулировать в народной среде несколько позднее — в сентябре — начале октября 1812 г. Во всяком случае внушающие доверия свидетельства мемуаристов об отношении народа к Барклаю, которыми мы ныне располагаем, относятся к тому времени, когда, покинув армию, Барклай проезжал через центральные русские губернии.

В устных рассказах В.И. Левенштерна о 1812 годе (вероятно, со слов сопровождавших Барклая лиц), записанных военным историком Ф.И. Смитом, отмечено, что «при проезде через Калугу» он «подвергся поруганию от ослепленной и раздраженной черни, которая выбила стекла в его карете и ревела на всю улицу: „Смотрите, вот изменник!" В дело должна была вмешаться полиция». В собственноручной редакции воспоминаний Левенштерна указано даже, что народ, столпившийся возле экипажа Барклая, «стал бросать в него камнями»[216].

Известный исторический романист И.И. Лажечников в 1812 г. служил в канцелярии гражданского губернатора Москвы и перед вторжением французов покинул город, направился к родным в Рязань. Позднее он вспоминал,

как на первой же почтовой станции после Коломны «остановилась колясочка, она была отогнута. В ней сидел Барклай де Толли... При этом имени почти все, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе»[217].

А.А. Закревский, неотлучно находившийся тогда при Барклае, рассказывал близким на склоне лет, как на подъезде к Владимиру в одной из деревень толпа жителей, узнав, «кто едет», «собралась вокруг станционного дома, и послышались зловещие крики. Народ не хотел выпускать изменника, а собирался удержать его», и только решительность Закревского, с саблей в руках проложившего дорогу Барклаю к уже запряженному экипажу, предотвратила самочинную расправу[218].

Барклаю пришлось, таким образом, воочию убедиться в «ослеплении» народа, клеймившего его в измене. 25 октября, как бы подытоживая впечатления от поездки из Тарутина до Владимира, он писал оттуда Александру I: «Проезжая губернии внутренние, с сокрушением сердца слышу я повсюду различные толки о действиях армий наших, и особливо, о причинах отступления их от Смоленска и Москвы. Одни приписывают то робости, другие — недостаткам и слабостям разного рода, а некоторые, что всего оскорбительнее,— даже измене и предательству!»[219]

Но еще за два с половиной месяца до того — сразу после оставления Смоленска — эти обвинения в свой адрес он слышал и в войсках. И когда Пушкин писал в «Объяснении», что «воины» «почти в глаза называли изменником» Барклая, то был исторически совершенно точен. Так, артиллерийский офицер 2-й армии Н.М. Распопов вспоминал, как во время отступления «некоторые генералы простирали дерзость свою до того, что, собираясь в кружок, не в дальнем расстоянии от сего достойного вождя, называли его изменником столь громко, что Барклай де Толли, слыша о себе обидный толк, посылал просить генеральство быть поскромнее». По свидетельству Н.Е. Митаревского, частые разговоры на солдатских бивуаках об его измене тоже не могли не доходить до Барклая, и, сокрушался мемуарист, «как должно быть оскорбительно было ему слышать подобные незаслуженные упреки». Барклай, однако, старался их не



А.Н. Сеславин. Гравюра неизвестного художника по оригиналу К. Витберга. Первая четверть XIX в. ГИМ

замечать и, по словам Евг. Виртембергского, «не заботился о прекращении ходивших о нем слухов»[220].

Выразительнее всего о реакции Барклая на нападки на него в армии сказано в памятных заметках А.Н. Сеславина, имевшего приказание полководца «доносить ему лично обо всех важных обстоятельствах». Как-то ночью он прибыл из арьергарда. «Выслушав донесение, главнокомандующий спросил, какой дух в войсках и как дерутся? Бранили вас до тех пор,— отвечал Сеславин,— пока гром пушек и свист пуль не заглушили ропот». Барклай на это заметил: «Я своими ушами слышал брань и ее не уважал. Я смотрю на пользу отечества, потомство смотрит на меня». И уже от себя Сеславин добавляет: «Как гранитная скала с презрением смотрит на ярость волн, разбивающихся о подошву ее, так и Барклай, презирая не заслуженный им ропот, был, как и она, непоколебим».

Стоический образ полководца словно вычеканен здесь в духе античной героики суровым пером воина-мемуариста. Все это так — Барклай, меривший свои действия не треволнениями момента, как бы они ни были жгучи и повелительны, а масштабом исторических судеб государства, держался с редкой стойкостью и внешней невозмутимостью, считая ниже своего достоинства что-либо отвечать тогда на низкую клевету, но змеиное ее жало не могло не отравлять его душевного состояния. (Античные свойства натуры Барклая остро ощущали, кстати, и другие близко наблюдавшие его современники. Булгарин, например, отмечал: «Барклай де Толли достоин был предводить легионами Цезаря, Плутарх или Тацит изображением его украсили бы красноречивые

страницы своего повествования», «Барклай должен иметь своего Тацита»[221].)

Сразу после прихода армии в Царево-Займище с донесением к Барклаю был послан генерал-квартирмейстером К.Ф. Толем Н.Н. Муравьев, вспоминавший позднее: «Я отыскал его в какой-то избе... Он кивнул головой, ничего не сказал, сел к столу и задумался. Он казался очень грустным, да не могло иначе быть: Барклай слышал со всех сторон даваемое ему напрасно название изменника». О мрачном расположении духа, в котором пребывал Барклай, свидетельствовал и Михайловский-Данилевский, постоянно видевший его после приезда с Кутузовым в армию: «Казалось, что он был глух к упрекам войска... будучи спокойным уверениями совести своей» и даже произнес однажды пророческую фразу: «Отступление мое спасет Россию», тем не менее «на лице его начертана была всегда, когда я его ни встречал, горесть». О «горести» Барклая «за неблагодарность и непризнание народом оказанных им бессмертных заслуг» вспоминал и П.Х. Граббе[222].

В конце лета и осенью 1812 г. Барклай, как мы видим, переживал глубокую моральную травму. Военный министр и главнокомандующий крупнейшей русской армией, более всех ответственный за ее действия, публично и повсеместно обличался в измене,— что могло быть тягостнее для военачальника, проделавшего долгий боевой путь и ничем дотоле не запятнанного? Драматизм ситуации, который мы сейчас, по прошествии стольких лет, вряд ли можем ощутить в полной мере, состоял еще и в том, что эти страшные подозрения в раскаленной до предела обстановке 1812 г. могли самым непредсказуемым образом отразиться и на его официальном положении, и на его личной участи.

Уже после войны последние недели пребывания в армии были для Барклая крайне болезненной темой. По свидетельствам близких, он «не любил в разговорах своих касаться этого предмета», а штабные офицеры, «щадя его самолюбие», избегали расспросов «об этом тяжелом периоде его жизни»[223].

Приведем в завершение психологически проникновенное суждение Д.В. Давыдова: «Ряд оскорблений, испытанных Барклаем после приезда князя Кутузова в армию, и всеобщие неосновательные клеветы, коими его преследовали после отъезда из армии, имели огромное

влияние на его характер»[224]. Слова эти проливают свет и на тот образ действий, какой избрал для себя Барклай, покинув 22 сентября 1812 г. главную квартиру. Но об этом — чуть позже.

«НЕМЕЦ, А ПОТОМУ ИЗМЕНЯЕТ»

Истоки «ужасных гонений» на Барклая многие в 1812 г. усматривали, помимо общего неприятия отступательной стратегии, в его «немецком» происхождении. Этот мотив отчетливо звучал, как мы видели, и в доводах недоброжелателей Барклая, когда заходила речь о его смещении, и в открытой пропаганде против него высокопоставленных лиц из главной квартиры («не русская кровь течет в том, кто нами командует»,— публично провозглашал у стен Смоленска великий князь). Преднамеренно распускаемый военной верхушкой слух о том, что чуть ли не все несчастья России в войне проистекают оттого, что Барклай — «немец», проник в низы армии и гражданского населения. По рассказам А.С. Норова, записанным в 1820 г. в Ревеле лицейским однокашником А.С. Пушкина, известным впоследствии государственным деятелем М.А. Корфом, «Барклай... был в немилости у двора, генералы все ему завидовали и, наконец, вся армия его ненавидела: печальное последствие нашего привычного предубеждения против всего, что носит иностранную фамилию»[225].

Сами обвинения в измене зачастую связывались с тем, «что он не русский»,— именно так 13 августа разъяснял Ростопчин А.Д. Балашеву, на чем зиждется в Москве «ненависть народа к военному министру». Другой современник вспоминал, что «фамилия Барклая, не отзываясь родным звуком, рождала явное подозрение». Одного его имени было «достаточно в то время,— отмечал впоследствии М.А. Фонвизин,— чтобы... возбудить нелюбовь армии к достойному полководцу» и «внушить обидное подозрение на счет чистоты его намерений»[226].

Как не оценить и здесь документальную точность Пушкина, писавшего в «Полководце» об антибарклаевских настроениях 1812 г.: «И в имени твоем звук чуждый не взлюбя».

Трагизм обличений Барклая как «немца» усугублялся для него, естественно, их абсолютно мнимым характером,

их несоответствием культурно-этническому самосознанию полководца, с детских лет сросшегося с бытовым и военным укладом русской жизни.

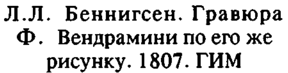
Тем не менее мы должны признать, что эта коллизия имела отчасти свои основания в суровых условиях эпохи. Вполне объяснимо, что в пору национального кризиса и великой опасности, сгустившейся над Россией, когда, по словам того же Фонвизина, «предубеждение против всего не русского, чужестранного сильно овладело умами», неприязнь к главнокомандующему с «иностранной фамилией» тоже приняла остро национальную, если не сказать националистическую, а в иных случаях и смутно-инстинктивную окраску. Не стоит, однако, вслед за современниками-мемуаристами ее абсолютизировать — то было велением преходящего исторического момента. П.Х. Граббе вспоминал, что только «со вступлением армии на старинную русскую землю», когда «доверенность войск к своему главнокомандующему ослабла, заметили нерусскую его фамилию». Точный в своих наблюдениях К. Клаузевиц высказался на этот счет еще определеннее: на Барклая «стали смотреть как на иностранца» «лишь за несколько дней до прибытия Кутузова в главную квартиру»[227], т.е. уже после оставления Смоленска.

Что такого рода «античужеземные» настроения не были в 1812 г. самодовлеющими, мы увидим, если присмотримся внимательнее к некоторым затемненным в исторической литературе обстоятельствам эпохи. Историки, в частности, не обращали внимания на то, что в те же августовские дни, когда Барклай со всех сторон уличался в том, что он — «немец, а потому и изменяет», в столицах и армии стали разноситься известия о назначении на пост командующего 1-й армией не кого иного, как Л.Л. Беннигсена. Об этом еще 9 августа сообщал Н.М. Лонгинов С.Р. Воронцову. Позднее, в середине сентября, Лонгинов вспоминал, что «после смоленских несчастий Государь предлагал» Беннигсену «главное начальство, от чего он отказался». 15 августа помечена запись в дневнике Ф.Я. Мирковича о приходе гвардейских частей в Вязьму: «Здесь мы узнали, что главнокомандующий армии заменен Бенигсеном». Тем же днем датировано «осведомительное донесение» П.А. Ивашкина Балашеву, где среди последних разговоров в Москве на военные темы указано на слух о назначении « в Первую армию командиром Бениксона»[228].

И что всего любопытнее, весть о замене «немца» Барклая действительно немцем Беннигсеном, уроженцем Ганновера, чужестранцем в подлинном смысле слова, своего рода кондотьером, служившим в русской армии еще с 1773 г., но так и не принявшим российского подданства, была встречена совершенно спокойно, как нечто в той обстановке вполне естественное. Более того, поговаривали даже, что инициатива на сей счет исходила из самой армии. Приехавший оттуда английский эмиссар при русском штабе Р. Вильсон рассказывал в 20-х числах августа в Петербурге о желании некоторых генералов видеть Беннигсена на данном посту, а 13 сентября Н.М. Лонгинов известил С.Р. Воронцова, что «при отступлении из Дорогобужа войска почти взбунтовались и громогласно требовали Бениксена»[229]. Отвлекаясь от выяснения вопроса о происхождении этих весьма далеких от реального положения дела слухов, еще раз подчеркнем только то, что сама их циркуляция не сопровождалась тогда ни в армии, ни в обществе каким-либо национально окрашенным протестом антинемецкого толка.

Существенна в этом же плане высокая во время Отечественной войны репутация других генералов русской армии с «иностранной фамилией», например П.Х. Витгенштейна, командовавшего Отдельным корпусом на Петербургском направлении. Выходец из старинного германского рода, так же, как и Барклай,— «иноверец»-лютеранин, за активные боевые действия под Полоцком летом и осенью 1812 г. он был наречен «спасителем Петрополя», снискав буквально всероссийскую славу, подорванную, правда, после Березинской переправы, где он совершил ряд грубых тактических просчетов. Но до того по степени популярности Витгенштейн соперничал с самим Кутузовым, его прославляли в своих стихотворениях Г.Р. Державин и В.А. Жуковский, имя его не сходило со страниц массовой патриотической поэзии и публицистики, описанию его воинских успехов посвящались брошюры и книги. Немецкое происхождение Витгенштейна ничуть не помешало тому, что народным сознанием и общественным мнением он был вознесен на такую высоту, о какой только мог мечтать русский военачальник той эпохи. «Ты Суворов наш второй»,— с гордостью распевали солдаты в своих песнях. «Зачем не берут примера с героя Витгенштейна, идущего по стезям бессмертного Суворова»,— говорилось в одном из писем И.П. Оденталя к А.Я.





Л.Л. Беннигсен. Гравюра Ф. Вендрамини по его же рисунку. 1807. ГИМ



П.Х. Витгенштейн. Гравюра И. Клаубера. 1812—1813. ГИМ

Булгакову. «Он защитил Псков и Петербург, неизгладим подвиг его в памяти потомства, отселе всякий русский произносить будет имя его с благодарностию и почтением»,— отзывалась о немце Витгенштейне та самая В.И. Бакунина, которая с жаром клеймила «немца» Барклая[230].

Стало быть, дело было не в возбужденной крайностями патриотизма всеобщей вражде к немцам-«иноверцам» во главе русских войск, а персонально в Барклае, и «ужасные гонения» на него, инспирируемые в немалой мере военно-дворянской верхушкой, имели иную, куда более глубинную подоплеку.

БАРКЛАЙ И СПЕРАНСКИЙ

В глазах помещичьего дворянства и придворной аристократии война с Наполеоном — «исчадием» разрушительного духа французской революции, повсюду в Европе сокрушавшим средневеково-сословные порядки, была чревата устрашающими потрясениями. Их предчувствия охватили дворянство еще в 1806—1807 гг.— тогда Наполеон впервые приблизился к границам России и

военные действия чуть было не перенеслись на ее территорию. Теперь же, когда многоязычная наполеоновская армия, набранная из стран, которые сравнительно недавно сбросили с себя бремя феодальных отношений, вторглась в пределы России и вошла в непосредственное соприкосновение с массой крепостных крестьян и солдат, опасения такого рода усилились во сто крат[231]. Откровенно и точно их высказал И.П. Оденталь в письме к А.Я. Булгакову от 19 июля: «К чему бы послужили внешние победы, когда внутренние враги будут побороть отечество? Честолюбец, испровергший старый порядок вещей по всей почти Европе, ни одной из порабощенных им держав никогда б в пагубной власти своей не имел, ежели бы не умел воспользоваться развратом», взращенным «революциею во Франции»[232].

Страх перед освободительными «провозглашениями» французского императора, перед призраком антифеодальных волнений и новой пугачевщины уже с первых дней войны стал доминирующим настроением правящих кругов — им проникнута правительственная документация, дворянская переписка, официальная публицистика летних месяцев 1812 г. «Бонапарт, у которого нет ничего святого, тащит за собой целое поколение Европы в революцию... Хотя я уверен, что наши люди не примут дара свободы от подобного чудовища, но все же нельзя не тревожиться»,— сокрушался в одном из июльских писем к С.Р. Воронцову Н.М. Лонгинов[233].

Эту тревогу, кстати сказать, разделяли и авторы наступательных проектов из военно-аристократической среды и вообще воинственные критики русской отступательной стратегии[234].

Так, В.И. Бакунина, еще в мае 1812 г. порицая «советников государя» за подталкивание его на «войну оборонительную», отмечала в дневнике, что когда Наполеон «приблизится к русским губерниям и объявит крестьян вольными, то может легко сделаться возмущение»[235]. «Я боюсь прокламаций, чтоб не дал Наполеон вольности народу, боюсь в нашем крае внутренних беспокойств»,— писал в конце июля солидарный с наступательными намерениями Багратиона Н.Н. Раевский, недоумевая по поводу отвода корпусов 1-й армии от границы. Эти же опасения он не мог тогда скрыть и от жены, С.А. Раевской, находившейся с семьей в украинском имении — на пути возможного движения наполеоновских войск:

«Если мы наделаем еще глупостей или сам Тормасов будет разбит, вы должны будете ехать через Кременчуг на Каширу на своих лошадях. Я боюсь не врага, но прокламаций к вольности, которую Наполеон может обещать крестьянам»[236]. Сам Багратион 10 июля предостерегал Александра I от «вторжения во внутрь неприятельских войск, могущих предлагать свободу». В те же дни, обращаясь к Ермолову с призывом прекратить отступление, он в сильном волнении сообщал о каких-то дошедших до него слухах, что французы «революцию делают в Несвиже, хотели в Гродно начать, но не удалось, в Вильне тоже хотели, в Минске. Им все удастся, если мы трусов трусим. Ретироваться трудно и пагубно»[237].

Далеко не случайно, что наиболее обеспокоенные антифеодальными последствиями иноземного нашествия представители консервативно-патриотической «партии» были, как мы видели, и самыми рьяными хулителями Барклая — это во многом объясняет одну из скрытых причин «ужасных гонений» на него в 1812 г. Каждый шаг на пути отступления, увлекавший за собой неприятельские войска, таил в себе, по ее мнению, серьезную угрозу для вековечных устоев социального быта. Вторжение же наполеоновской армии в коренные русские губернии с преобладанием крепостного населения делало перспективу «всеобщего бунта против государя и дворян» вполне реальной[238]. Поэтому, по справедливому замечанию Е.В. Тарле, «ненавистный Барклай, ответственный виновник бесконечных отступлений», и был для них «изменником или, в лучшем случае, позорным трусом»[239]. Уместно вспомнить здесь снова точное наблюдение П.Х. Граббе, что «нерусскую его фамилию» заметили лишь «со вступлением армии на старинную русскую землю». Социальную обусловленность нападок военно-дворянских кругов на Барклая правильно понял В.И. Левенштерн, писавший, что его отступательные действия «не нравились знатным и богатым людям, имевшим в столицах свои дворцы»[240].

Лишним подтверждением того, что исходный импульс гонений на Барклая имел не только собственно национальный, но и социально-охранительный характер, служит та реакция, которая последовала на полководческие усилия Кутузова в первое время после приезда его в армию. Вынужденный проводить тогда в целях создания решающего перевеса сил ту же, в сущности, стра-

тегическую линию, что и Барклай, до Тарутинского лагеря включительно, Кутузов, сдав французам Москву, поплатился временным, но очень ощутимым ослаблением своего авторитета в военно-дворянских кругах. И знаменательно, что он, как и Барклай, подвергся с их стороны столь же яростной критике за измену и пренебрежение национальными интересами, которая велась в отношении него с тех же дворянских, прокрепостнических позиций.

Начальник походной канцелярии Кутузова С.И. Маевский вспоминал, что, когда вечером 1 сентября был получен приказ об «уступлении Москвы», командир 8-го пехотного корпуса генерал М.М. Бороздин «решительно счел его изменническим». Иначе чем «предателем Москвы» не называл после ее оставления Кутузова Ростопчин. «Расположением князя Светлейшего очень недовольны... он свое обещание не выполнил и заставил всех дворян... скитаться без пристанища»,— конфиденциально сообщал 7 декабря А.Д. Балашеву П.А. Ивашкин.С проклятиями обрушился на Кутузова чуткий к дворянским умонастроениям А.Я. Булгаков 23 сентября в письме к А.И. Тургеневу: «Несчастная Москва в награду своей ревности, щедрости и привязанности к отечеству горит... Горе тому, кто отдал ее, велик его ответ перед богом, перед отечеством и потомками. Сто тысяч солдат можно набрать, но что потеряно в Москве, *того помещикам никакая сила земная «возвратить не может...* (курсив мой.— *А.Т.*) Не оправдал Кутузов всеобщих ожиданий»[241].



М.М. Сперанский. Гравюра Т. Райта по оригиналу Дж. Доу. 1815. ГИМ

Консервативно-охранительная критика Барклая подогревалась, несомненно, и его репутацией накануне войны как приверженца передовых взглядов на организацию военного дела и воспитание войск, но более всего тем, что его имя прочно ассоциировалось с опальным М.М. Сперанским.

Напомним: государственный секретарь, влиятельнейший после Тильзита сподвижник Александра I, создатель грандиозного проекта преобразований России на буржуазных и конституционно-монархических началах, ущемлявших потомственное дворянство, Сперанский возбудил против себя яростную и сплоченную аристократическую оппозицию и в результате коварной придворной интриги в ночь с 17 на 18 марта 1812 г. был внезапно выслан с ближайшим своим сотрудником М.А. Магницким из Петербурга.

Падение Сперанского взбудоражило русское общество, вызвав восторг в помещичьем дворянстве. «Не знаю, смерть лютого тирана могла бы произвести такую всеобщую радость»,— вспоминал много лет спустя Ф.Ф. Вигель[242]. Поскольку об этом не было дано какого-либо публичного извещения, подлинные обстоятельства его опалы стали сразу же обрастать нарочито распускаемыми слухами клеветнического свойства. В грозной атмосфере надвигающегося столкновения с наполеоновской Францией Сперанского обвиняли в измене, в тайных сношениях с Наполеоном, в передаче будущему противнику секретных военных бумаг, в стремлении насильственно подорвать государственные устои и т.д.

Никаких отношений, конечно, у него с французским императором не было и быть не могло — по самому положению его при Александре I, а к выработке планов предстоявшей войны и к оперативно-стратегической документации он вообще не имел допуска уже хотя бы потому, что его влияние на правительственные дела заметно упало еще за несколько месяцев до злополучного марта 1812 г. Что же до каких-либо насильственных потрясений, то Сперанский был от этого так же далек, как и его августейший покровитель. Тем не менее В.И. Бакунина, передавая расхожее мнение, в таких, например, выражениях, откликнулась на известие о его ссылке: «Сперанский был намерен предать отечество и Государя врагу нашему. Уверяют, что в то же время хотел возжечь бунт вдруг во всех пределах России, дав вольность крестьянам, вручить им оружие на истребление дворян. Изверг, не по доблести возвышенный, хотел доверенность Государя обратить ему в погибель». Порицали даже Александра I за то, что не подверг смертной казни «государственного изменника», но, как бы то ни было, само его

удаление, по словам Вигеля, «торжествовали как первую победу над французами»[243].

Отношения между ним и Барклаем завязались еще в 1809 г., когда он занимал пост генерал-губернатора Финляндии, получившей, по разработанному Сперанским плану, внутреннюю автономию на конституционных принципах с законодательным сеймом, и понятно, что Барклай должен был содействовать проведению этих принципов в жизнь, постоянно контактируя с тем же Сперанским — председателем Комитета по делам Финляндии, куда сходились все нити управления вновь присоединенным краем. Недаром Александр I,— а это было время апогея его либерально-конституционных устремлений,— определяя Барклая на эту должность, писал ему: «Зная усердие ваше к добру и ваши либеральные правила, я убежден, что это назначение будет иметь самое благотворное влияние на общую пользу страны и преуспеяние ее жителей»[244].

Еще более упрочились отношения со Сперанским с начала 1810 г., когда Барклай стал Военным министром. Дело было не только в том, что обширные военно-административные преобразования и переустройство русской армии проводились в русле реформаторской политики Сперанского, а само образование Военного министерства явилось шагом на пути осуществления задуманного Сперанским «общего учреждения министерств». Но и вся практическая работа по подготовке основополагающих для нового ведомства военно-нормативных актов строилась в повседневном сотрудничестве Военного министра с государственным секретарем[245].

Важно иметь в виду, что связующим звеном между тем и другим был любимец Барклая еще со Шведской войны, высокообразованный и литературно одаренный полковник А.В. Воейков, начальник его Особенной канцелярии. В собственноручных заметках А.Л. Майера на печатном экземпляре висковатовской биографии Барклая указано, что Воейков сохранял «все преимущества первоприсутствующего при Военном министре лица»[246], но в равной мере был приближен и Сперанским, вследствие чего и оказался замешанным в его дело.

В дни удаления Сперанского в Петербурге, а затем и в Москве поползли слухи, тоже явно инспирированные,

о прикосновенности А.В. Воейкова к «измене». «Сперанский, государственный секретарь, Магницкий и Воейков, флигель-адъютант, были арестованы за то, что имели переписку с Францией»,— записал 19 марта в своем дневнике Н.Д. Дурново. «Уверяют, что... Воейков соучастник в преступлении»,— отметила тогда же В.И. Бакунина[247]. Но его постигла — и, вероятно, не без ходатайства Барклая — более легкая участь: без потери чинов и званий (в том числе и флигель-адъютантского) он был переведен командиром бригады в формировавшуюся под Москвой дивизию Д.П. Неверовского, с которой и проделал кампанию 1812 г., получив за Бородинское сражение генерал-майора.

Если ссылка Сперанского воспринималась как «первая победа над французами», то каково же было при этом главе Военного министерства, изнутри и извне опутанного враждебными России силами — ведь именно так получалось по логике расходившихся среди правительственной бюрократии и столичной знати толков. «Сперанский,— писал Н.М. Лонгинов,— был все в Империи, так как Магницкий, военный законодатель, с Воейковым и Болоховским* делали все, что ни заблагорассудили по Военному департаменту»[248].

Поэтому опала Сперанского и особенно история с А.В. Воейковым, а она компрометировала Барклая уже самым непосредственным образом, не могли пройти для него бесследно.

Участник ареста Сперанского Я.И. де Санглен вспоминал, что у пораженного известием об его опале Барклая невольно вырвался возглас: «Итак, зависти и злобе удалось взять верх над правдой!» Причастность Барклая к делу государственного секретаря и посредническая роль в их взаимоотношениях с А.В. Воейковым до сих пор не разъяснены в полной мере в исторической литературе. В течение долгого времени этот эпизод опалы Сперанского представлялся столь сокровенным и таинственным, что о нем предпочитали говорить лишь с глазу на глаз. В 40-х годах XIX в. Михайловский-Данилевский, готовивший биографию А.В. Воейкова для

* Д.Н. Бологовский, участник антипавловского заговора 1801 г., был по службе прикосновенен к делу Сперанского и в марте 1812 г. выслан из Петербурга.

сборника жизнеописаний генералов 1812 г., писал по этому поводу своему сотруднику А.В. Висковатову: «Обстоятельство удаления его из Петербурга очень щекотливо; оно требует личного объяснения нашего»[249].

Во всяком случае сам Барклай в марте 1812 г. опасность быть заподозренным в сообщничестве со Сперанским ощущал достаточно остро. Трудно иначе истолковать ответ Барклая на вопрос А.В. Воейкова, почему он не убедил в его невиновности Александра I: «Если бы я заступился за вас, то, быть может, и я лишился бы своего места»[250].

Но вот что интересно: во множестве современных откликов на опалу Сперанского весны и начала лета 1812 г. мы не находим ни одного упоминания о Барклае. О возникших в предвоенные месяцы подозрениях о его связи с обвиненным в измене реформатором заговорили вдруг и во всеуслышание лишь в кризисную пору после оставления Смоленска,— только теперь они были как бы реанимированы, выйдя на поверхность общественной жизни. Сообщая 13 сентября 1812 г. о раскладе сил перед началом кампании в военно-правительственных сферах Н.М. Лонгинов с явным осуждением писал, что Барклай имел «нужду» в Сперанском, а тот, со своей стороны, «принял его в покровительство». «Многие поставляют его на одной доске со Сперанским, но несправедливо, кажется, и вероятно, что последний в выборе сем участвовал»,— добавлял он, давая понять, что бывший государственный секретарь даже способствовал выдвижению Барклая на высшие военные посты[251].

И только в августе — сентябре 1812 г. инвективы в адрес «предателя» Сперанского сливаются в один общий голос с критикой отступательной линии Барклая,— голос, нашедший сочувственный отзвук и в народной среде. Впрочем, вину за отступления на Сперанского стали возлагать еще раньше, чем даже на Барклая,— в первые недели войны: «Общее мнение есть, что отрасли Сперанского»,— писал в конце июня Н.Н. Раевский, размышляя над причинами отхода армии от границы[252].

Нам не известно, знал ли Барклай, что его отступательные действия сопрягаются в обличительном духе с преданным анафеме Сперанским,— источники на сей счет хранят полное молчание. Но что объективно это сопряжение отягощало его и без того пошатнувшееся поло-

жение и могло еще более ухудшить его дальнейшую участь,— в том нет никаких сомнений.

«Солдаты вслух кричат, что Барклай со Сперанским в измене»,— отмечал в том же сентябрьском письме Н.М. Лонгинов. А.Ф. Кологривова, типичнейшая представительница столичного барства, вспоминала о выезде из Москвы мирных жителей после сдачи Смоленска: «Даже в высших слоях общества были люди, которые подозревали в этой беде предательство Сперанского, а простой народ толковал так: Что тут и говорить! Да просто начальники изменяют, вот и только... И эта мысль так в них укоренилась, что мы слышали, как ямщики, запрягая лошадей, кричали на них: „Куда пятишься, Барклай проклятый!"»[253]

Освещая в трагическом свете две крупнейшие фигуры эпохи 1812 г., этот словно выхваченный из живого течений событий эпизод достаточно выразителен, чтобы признать известную долю истины в суждении позднейшего историка: «Удаление Барклая от звания главнокомандующего и военного министра имеет в главных основаниях много общего с падением Сперанского»[254].

УСТРАНЕНИЕ

Разумеется, об общих «основаниях» перелома в их судьбе правомерно говорить лишь в плане социально-политических условий эпохи. Что же касается конкретных мотивов удаления Барклая с его постов, то они имели, кроме того, свои особые «основания» в военной обстановке лета 1812 г. К их рассмотрению мы сейчас и обратимся, памятуя о том, что по этому исторически важному вопросу в литературе имеют хождения не вполне точные представления.

Еще с прошлого века среди историков повелась традиция объяснять назначение в августе 1812 г. единого главнокомандующего — а это фактически предрешало устранение Барклая от руководства боевыми действиями — «громким голосом общественного мнения», когда «вся армия была уже проникнута чувством глубокого недовольства и негодования к своему вождю» и «ропот против отступающего Барклая де Толли» охватил большую часть дворянского общества. Причем непременно подчеркива-

ется, что Александр I пошел на столь ответственный шаг под непосредственным влиянием сдачи Смоленска. Как считал Е.В. Тарле, вопрос об этом встал перед царем, едва лишь в Петербург начали доходить «первые еще темные, неясные слухи о падении Смоленска». В одной из недавних работ о той эпохе назначение единого главнокомандующего связывается с получением в Петербурге донесений Барклая и Багратиона об оставлении древнего русского города[255]. Особая роль отводится при этом упомянутому выше письму А.П. Ермолова Александру от 10 августа с резкими выпадами против Барклая, потерявшего, как было сказано здесь, «доверенность» войск. По мнению некоторых историков, «сильный голос Ермолова... подготовляет почву к назначению единого... главнокомандующего»[256].

Мнение историков родилось, однако, не на пустом месте. Указания такого же рода мы находим в свидетельствах участников событий. Так, Ф.В. Ростопчин вспоминал, что антибарклаевские толки московского дворянства, напуганного после Смоленска перспективой занятия Наполеоном столицы, «дошли до Петербурга и государь... назначил Кутузова». После войны Д.П. Бутурлин в письме к А. Жомини утверждал, что оставление Барклаем Смоленска «было одною из главных причин назначения Кутузова главнокомандующим всеми армиями»[257].

Да и сам Александр I, объясняя задним числом — осенью 1812 г.— причины этого решения, приводил аналогичные доводы. 5 сентября он сообщал П.В. Чичагову, что из-за оставления Барклаем Смоленска, открывшего французам путь «к движению... на Москву» и приведшего к «полной утрате доверия к нему со стороны армии и всего народа», должен был отправить в войска главнокомандующим Кутузова. 18 сентября царь заверял великую княгиню Екатерину Павловну, что окончательно толкнуло его на это письмо Ростопчина от 5 августа, где говорилось, что «в Москве все за Кутузова» как главнокомандующего и не желают видеть на этом посту Барклая, он же, добавлял Александр I, «как нарочно, делал глупость за глупостью под Смоленском». Той же логикой была пронизана и мотивация Александром I своих действий в отношении Барклая в письме к нему от 24 ноября — итоговом в их переписке за 1812 год: «Потеря Смоленска произвела огромное впечатление во всей

империи... ваши ошибки... были у всех на устах... Москва и Петербург единодушно указывали на князя Кутузова... и мне не оставалось ничего другого, как уступить всеобщему мнению»[258].

Однако логика эта была ложной — царь то ли по забывчивости, то ли намеренно сместил последовательность событий, и в результате предпосылки устранения Барклая оказались представленными далеко не такими, какими они были в действительности.

В самом деле, назначение единого главнокомандующего состоялось еще 5 августа и было оформлено постановлением специально учрежденного в тот же день Александром I Чрезвычайного комитета в составе высших сановников империи, ни один из которых, кстати, не обладал сколько-нибудь значимым военно-стратегическим опытом,— это лишь подчеркивало, что комитет был призван для выражения в коллегиальной форме воли царя. Не желая публично выказывать личное отношение к военачальникам — претендентам на этот ключевой пост, особенно к Кутузову, к которому, как известно, издавна испытывал неприязнь, Александр I предпочел закамуфлировать свою позицию мнением внешне авторитетного государственного органа. Не случайно главную роль в комитете играли такие близкие в тот период к царю люди, как А.А. Аракчеев и А.Д. Балашев, выполнявшие и до и после того его самые сложные и секретные поручения. Поздно вечером 5 августа, после почти четырехчасовых обсуждений комитет предложил облечь верховным военным званием Кутузова, о чем сразу же был уведомлен в Каменноостровском дворце Александр I. И хотя он утвердил постановление комитета только 8 августа, это вовсе не было признаком какихлибо его сомнений на сей счет[259].

Между тем, как было показано выше, «всеобщий ропот» против Барклая выявился несколько позднее — после оставления Смоленска. Напомним, что «негодование» на него вплоть до обвинений в измене приняло широкий размах в армии не ранее конца первой декады августа, среди гражданского населения, прежде всего московского дворянства и простонародья,— не ранее десятых чисел месяца. Следовательно, «громкий голос общественного мнения» никакого влияния на устранение Барклая оказать не мог. Естественно, что не отразилась на этом и сама сдача французам Смоленска 6 августа.

Накануне, когда Александр I уже принял свое решение, какие-либо сведения о постигшей Смоленск участи, в том числе и «неясные, темные слухи», дойти до него, конечно, не могли. Донесение Барклая об оставлении города, датированное 9 августа, было получено в Петербурге не раньше 11 августа, но еще 10 августа Александр I отправился на свидание с наследным шведским принцем Ж. Бернадоттом в Финляндию, в г. Або, где только 16 августа ему и было вручено это донесение[260]. По той же причине не могло повлиять на решение царя и донесение Багратиона о сдаче Смоленска от 7 августа — оно, как видим, было не только получено Александром I, но и отправлено из армии уже после того, как это решение состоялось[261]. Равным образом следует считать совершенно беспочвенным утверждение историков о том, что «смелый голос Ермолова», прозвучавший в его письме к Александру I от 10 августа, «подготовил почву» для принятого за 5 дней до того решения. Наконец, не соответствует реальной хронологии событий и заверение Александра I сестре в том, что последним толчком, подвигнувшим его на назначение единого главнокомандующего, стало письмо Ростопчина от 5 августа о желании московского общества видеть на этом посту Кутузова. Во-первых, письмо датировано не 5, а 6 августа. Во-вторых, до Петербурга оно могло дойти не раньше чем на третий день, когда о назначении Кутузова было уже официально объявлено[262].

Что же явилось действительно последним толчком, склонившим Александра I на такую меру? Ответ на это мы находим в совпадении ее даты с приездом в Петербург П.М. Волконского — именно 5 августа фиксируется получение здесь посланного с ним из армии пакета донесений и писем высших военачальников[263]. Наиважнейшим среди них было отмеченное нами ранее крайне тревожное письмо П.А. Шувалова царю — сгусток умонастроений враждебной Барклаю части генералитета. Оно содержало в себе не только сведения об острейших раздорах в главной квартире, но, как мы помним, суровую критику его действий и устрашающее царя требование незамедлительно назначить общего главнокомандующего армиями. Письмо это, бесспорно, явилось одним из тех аргументов, которые исчерпали колебания Александра I. Весьма ориентированный в перипетиях военно-правительственной политики Н.М. Лонгинов, описывая

нарастание в верхах армии конфликта с Барклаем, сообщал в сентябре 1812 г. С.Р. Воронцову: «По рапорту о нем графа Шувалова его сменили». Письмо Шувалова было представлено на рассмотрение Чрезвычайного комитета и наряду с другими документами послужило основанием для определения в армии единого главнокомандующего[264].

Итак, можно считать вполне доказанным, что решение на сей счет было принято Александром I в значительной мере под напором «происков» противостоящей Барклаю генеральской группировки в главной квартире, предпринявшей в конце июля решительные усилия для устранения его тем или иным способом от дел. Прав был К. Клаузевиц, усматривавший в подоплеке назначения единого главнокомандующего поступление в Петербург «неблагоприятных донесений» о Барклае. Среди причин, побудивших к тому Александра I, императорская фрейлина Р. Эдлинг также отмечала «некоторые происки»[265].

Но дело было не только в этом. Вместе с письмом Шувалова П.М. Волконский привез царю донесение самого Барклая от 30 июля, где он сообщал, что в предвидении неудачи наступления на Рудню и возможности обхода со стороны неприятеля отвел войска к Поречью, многозначительно сославшись при том на одобренный царем замысел «продолжить сколь можно кампанию, не подвергая опасности обе армии». К донесению была приложена копия письма Барклая к Багратиону от 29 июля, откуда уже совершенно отчетливо следовало, что маневры под Рудней связаны с тогда еще созревшим намерением Барклая уступить французам Смоленск и ради сохранения армии отойти далее к Москве[266].

А все это уже в корне противоречило сложившимся к концу июля взглядам Александра I на необходимость именно у Смоленска положить предел отступлению. Еще 28 июля он направил Барклаю письмо, в котором выражал надежду, что, соединившись у Смоленска, 1-я и 2-я армии активными боевыми операциями пресекут дальнейшее продвижение Наполеона в глубь страны. 30 июля Александр I вновь предписывал Барклаю перейти в наступление, будучи в полной уверенности, что со дня на день французов удастся отбросить от Смоленска: «Я с нетерпением ожидаю известия о ваших наступательных движениях, которые... почитаю теперь уже начатыми...

ожидаю в скором времени услышать отступление неприятеля и славу подвигов наших»[267].

И вот теперь полученные от Барклая официальные бумаги не только обескураживающим образом не подтверждали этих надежд, но, напротив, свидетельствовали о его твердом намерении поступать объективно вопреки воле царя, что само по себе выходило уже за все допустимые нормы взаимоотношений между монархом и его подданным, какой бы высокий пост он ни занимал. Ущемляя помимо всего прочего самолюбие Александра I, это, вероятно, побудило его отказать Барклаю в прежнем своем расположении и определило окончательно участь полководца. Вдумываясь в обстоятельства назначения в армии единого главнокомандующего, К. Клаузевиц пришел к верному выводу, что «решающее значение для смены Барклая имел отказ от уже начатого наступления под Смоленском»[268]. Нелишне здесь будет сказать, что привезенные П.М. Волконским бумаги Барклая за последние числа июля тоже фигурировали среди первейших документов на заседании Чрезвычайного комитета 5 августа.

В оставлении же несколько дней спустя Смоленска в противовес прямым распоряжениям царя,— а к тому времени его письма от 28 и 30 июля были уже несомненно получены в главной квартире — нельзя не усмотреть проявления независимости полководческой линии Барклая.

Но, в отличие от написанных осенью 1812 г. и искажавших реальное положение дел писем царя, его синхронные событиям свидетельства освещают мотивы назначения единого главнокомандующего более адекватно. Так, в письме Александра I к великой княгине Екатерине Павловне, датированном 8 августа, т.е. тем самым днем, когда было утверждено постановление Чрезвычайного комитета, нет ни слова об «общем ропоте» народа и армии, о недовольстве Барклаем московского дворянства и т.д., а говорится только, что в Петербурге царь нашел «сильное озлобление против военного министра», и в этом отношении «настроение здесь,— специально подчеркивает Александр I,— хуже, чем в Москве и провинции». (Ясно, что в данном случае речь шла прежде всего о «настроении» исконно недружелюбной к Барклаю столичной знати.) В числе же действительных причин назначения единого главнокомандующего Александр I не-

двусмысленно указал на свою неудовлетворенность «нерешительным образом действий» Барклая и непомерно разросшуюся «ссору его с Багратионом»[269].

Неприятие царем «образа действий» Барклая в официальных документах того времени оказалось скрытым. Рескрипт его на имя Барклая от 8 августа о назначении Кутузова содержит в себе весьма расплывчатую ссылку на «разные важные неудобства, происшедшие после соединения двух армий». Текст постановления Чрезвычайного комитета не передает всех подробностей длившегося несколько часов заседания, последовательности и содержания прений. В нем дано только суммарное изложение его итогов, и сама необходимость назначения общего главнокомандующего обосновывается лапидарной фразой об отсутствии «положительной единоначальной власти». Далее, правда, сказано о «неудобстве» совмещения Барклаем постов командующего 1-й армией и Военного министра, о преимуществе в чинах других военачальников, глухо упоминаются и его просчеты под Рудней: «перемены касательно предложенной Военным советом... атаки на неприятеля», но отношение ко всему этому Александра I и здесь никак не выявлено[270].

Вместе с тем в неопубликованных доселе «Собственноручных записках» А.Д. Балашева — одного из наиболее осведомленных в этом деле лиц — находим ценнейшие сведения относительно истинной позиции царя. Балашев без всяких околичностей пишет, что Александр I учредил Чрезвычайный комитет «при получении известия о распрях, происходящих в армии и *быв „недоволен главнокомандующим" генералом Барклаем»* (курсив мой.— *А.Т.*). И самое главное — из «Собственноручных записок» мы впервые узнаем, что именно по инициативе царя — и никого другого — в центр обсуждения на Комитете 5 августа был прямо поставлен вопрос о полководческой несостоятельности Барклая и его смещении с поста Военного министра. Предложив комитету разобраться «по всем бумагам, полученным из армии, официально и конфиденциально», царь, по свидетельству Балашева, приказал «сделать свое мнение на следующие пункты: 1-е, может ли с выгодою далее продолжать команду генерал Барклай над армиею. 2-е, в случае противном, кому заступить его место. 3-е, после сего, может ли генерал Барклай оставаться Военным министром, или нет»[271].

Следовательно, устранение Барклая не было уступкой Александра I «всеобщему мнению», как он пытался убедить его в этом в ноябре 1812 г. Ссылками на «общее мнение» народа и армии царь, в сущности, прикрывал свое собственное осуждение деятельности полководца и закулисное, но достаточно жесткое давление враждебной ему генеральской оппозиции.

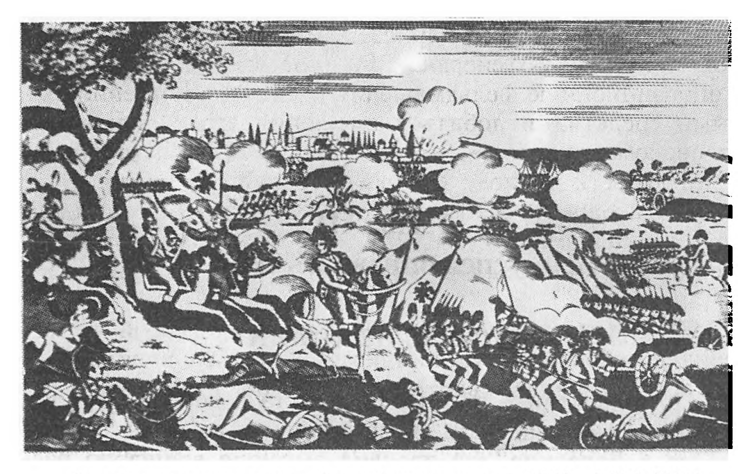
Г. Кока — автор одной из наиболее значительных работ последнего времени о Барклае, заметил, что «корни трагедии полководца были в отношениях его в 1812 году не с властями, а с народом», что «не правительство, а народ несправедливо отвергал заслуги Барклая»[272]. Но если иметь в виду центральный акт этой трагедии — устранение Барклая от руководства военными действиями, то корни ее — и данный вывод вытекает из всего сказанного выше — лежали как раз в плоскости его взаимоотношений не с народом, а с «властями», «правительством» — Александром I, его придворным окружением и высшим генералитетом. Что же до народа, то кульминация отвержения им Барклая последовала уже после его отъезда из армии и явилась как бы вторичным актом этой трагедии, наслоившимся на первый и ее, конечно, непомерно усугубившим. Есть, поэтому, все основания уточнить формулу Пушкина из его «Объяснения»: «...не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины...» В свете того, что мы знаем ныне о положении Барклая в военно-политической ситуации 1812 г., следовало бы поменять местами слагаемые этой формулы: сперва «роптали опытные воины», а уж затем и не без их воздействия — «народ ожесточенный».

Глава III
«Не успев оправдать себя...»

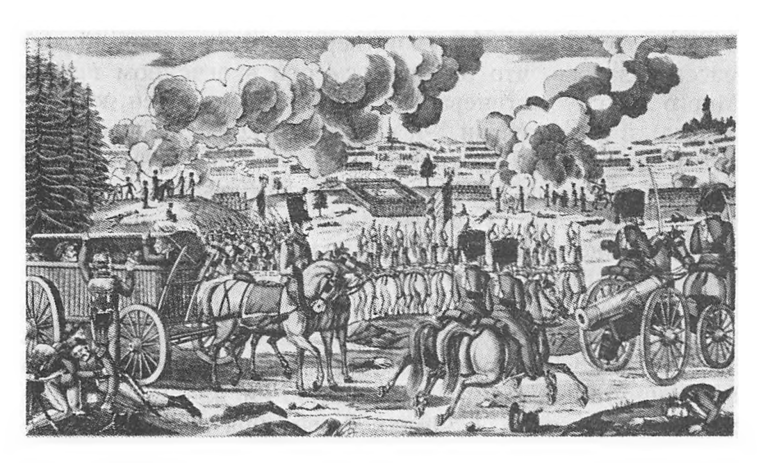
ОТЪЕЗД ИЗ АРМИИ

По прибытии Кутузова 17 августа в войска Барклай продолжал командовать своей армией и во главе ее сражался в Бородине, где проявил высокую воинскую распорядительность и личное мужество, устремляясь в наиболее опасные места боя. Под Барклаем пало несколько лошадей, сам он получил сильную контузию, двое его адъютантов были убиты, четверо — ранены, армейской массе казалось, что он ищет смерти в огненном пекле. Много лет спустя генерал-лейтенант Петр Пален, командовавший в 1-й армии 3-й кавалерийской дивизией, рассказывал А.И. Тургеневу, как «на поле сражения Барклай подъехал к нему со словами: «Странно, я не могу, что ни делаю, умереть от пули»[1]. Когда унесенный с места ранения Багратион узнал о «геройском самоотвержении» Барклая, то, забыв недавнюю еще вражду, с истинно рыцарским великодушием воскликнул: «Спасение армии в его руках... Господь да сохранит его!» При подходе к Москве Барклай настоял на отказе от неудачно выбранной Л.Л. Беннигсеном позиции для нового сражения, а на совете в Филях 1 сентября первым высказался за оставление Москвы, поддержав тем самым историческое решение Кутузова. Даже Ермолов с похвалой отзывался об этом его поступке: «Все сказанное Барклаем на военном совете в Филях следовало бы отлить золотыми буквами». Во время флангового маневра Барклай действовал столь же активно, руководя боевыми операциями и участвуя в важных военных совещаниях[2]. Но на следующий день по приходе армии в Тарутинский лагерь, 22 сентября, он покинул главную квартиру.

По мнению некоторых военных историков из числа завзятых критиков Барклая, инициатором его отъезда был Кутузов, решивший парализовать «сильную



Бородинское сражение. Английская гравюра. 1812—1813. ГИМ



Бородинское сражение. Немецкая гравюра. 1812—1813. ГИМ

оппозицию во главе с Барклаем де Толли, Беннигсеном, Ростопчиным и... генералом Вильсоном». Их объединяло в оппозиционную фельдмаршалу группу «стремление любыми средствами добиться смещения его с должности главнокомандующего», и «все они осуждали Кутузова... в письмах к царю». В таких условиях «враждебная политика Барклая де Толли становилась прямой помехой подготовки армии» к наступлению, и «в целях прекращения далеко зашедших интриг» Кутузов «отправил его из армии»[3].

Между тем это построение не имеет под собой ни малейших оснований. После приезда Кутузова Барклай держался в главной квартире особняком и ни с кем из генералитета, кроме, может быть, только П.П. Коновницына, не сближался, а тем более с Беннигсеном. По свидетельству В.И. Левенштерна, это был «единственный из генералов, коего Барклай искренне ненавидел и не скрывал этого; он... не терпел его чрезмерного самолюбия и честолюбия и не находил им оправдания»[4].

Находясь в армии рядом с Кутузовым с 17 августа по 22 сентября, Барклай в письмах к Александру I (а они сохранились от этого времени полностью) не допустил в его адрес ни одного худого слова, хотя в глубине души тяжело переживал это назначение. О «враждебной политике» Барклая в отношении Кутузова, стремлении сместить его с поста главнокомандующего мы не найдем в источниках и тени намека. Заниматься же какими-либо интригами он был органически не способен. Что же до остальных участников «оппозиции», у каждого из них были свои причины противостоять Кутузову, и уже в период флангового маневра они не таили своих чувств, но действовали порознь, поодиночке. Притом желчно-высокомерный Ростопчин (из армии он уехал 21 сентября) относился к Беннигсену, как участнику антипавловского заговора 1801 г., с крайней неприязнью и недоверием и уже по одному этому не мог вступить с ним в сговор, а Вильсона, прибывшего в кутузовский штаб 11 сентября, толком и не знал[5]. Конфликт двух последних с Кутузовым приходится на более позднее время, во всяком случае впервые он выявился лишь в связи с приездом в Тарутино с примирительной миссией наполеоновского посланца Лористона, т.е. не ранее 23 сентября, когда Барклая уже не было в главной квартире[6]. Кроме того, Ку-

тузов не мог своей волей отстранить его от руководства 1-й армией и по чисто юридическим мотивам, ибо назначение и смещение главнокомандующего «частными» армиями было, как уже отмечалось выше, исключительно прерогативой царя.

Так обстоит дело с «сильной оппозицией» — еще одним «вообразительным сказанием» о Барклае.

Отъезд Барклая из армии явился следствием его личного решения — об этом надо сказать совершенно прямо во избежание каких-либо кривотолков.

В биографиях полководца и военно-исторической литературе 1812 г. причина этого усматривается иногда в «лихорадке», которой Барклай заболел 15 сентября. Правда, ссылка на «болезнь» как обоснование просьбы разрешить отъезд из армии присутствует в его рапорте Кутузову от 19 сентября 1812 г. О «расстроенном» здоровье в контексте своего отъезда Барклай писал в конце сентября — октябре Александру I и ряду других лиц. О том, что «за болезнью» он получил «повеление от армии удалиться», считали тогда многие и в войсках[7]. Барклай был действительно болен — 22 сентября за несколько часов до отъезда он доверительно сообщал П.П. Коновницыну: «Я намерен сего дня ввечеру отправиться, ибо я действительно слаб и ни к чему теперь не гожусь, как лечь и умереть. Я сей час имел спасм в груди, который чуть было меня не задушило»[8].

Но дело было все-таки не в болезни. Еще 11 сентября до всякой лихорадки Барклай писал жене, что единственное его желание — поскорее уехать из армии, «а уже в какой форме это будет сделано — мне совершенно безразлично». Ведь впервые Барклай сильно занемог уже после Бородина и даже слег тогда в постель[9], что не помешало ему в критической обстановке кануна сдачи Москвы превозмочь себя и энергичнейшим образом вмешаться в управление войсками.

Высказывалось также мнение, что Барклая подвигла на отъезд из армии публикация в «Северной почте» рапорта Кутузова Александру I от 4 сентября, оскорбившего его объяснением причин сдачи Москвы[10]. Далее мы еще вернемся к этому сюжету, сейчас же отметим только, что никакого отношения к отъезду Барклая упомянутый рапорт иметь не мог, поскольку был обнародован в «Северной почте» 18 сентября и номер газеты от этого числа дошел до штаба армии не раньше

начала третьей декады сентября, тогда как свой рапорт об отъезде Барклай подал Кутузову еще 19 сентября. Да и сам Барклай писал министру внутренних дел О.П. Козодавлеву 8 октября из Владимира, что только накануне, по прибытии сюда, впервые ознакомился с публикацией кутузовского рапорта в «Северной почте»[11].

Е.В. Тарле причину отъезда Барклая видел в самом факте назначения Кутузова единым главнокомандующим: «он не мог служить с Кутузовым, не мог простить ему, что тот похитил у него и пост, „ и власть, и замысел, обдуманный глубоко"»[12]. Каких-либо доводов в пользу сказанного историк не привел, кроме этой поэтической строки из пушкинского «Полководца», которая, конечно, доказательной силы как аргумент военно-исторического характера не имеет и сама нуждается в развернутом историческом комментарии. Такая трактовка представляется если не совсем ошибочной, то по крайней мере требующей существенных уточнений.

К середине августа Барклай, с его громадным военно-политическим опытом и трезвым взглядом на вещи, конечно, отдавал себе отчет в том, что ход событий неумолимо ведет к сосредоточению командования всеми войсками в одном лице и что сам он выполнять эту обязанность ввиду падения своей репутации и нападок на свою «иностранную фамилию» вряд ли будет в силах. Иначе говоря, он ясно понимал то, что потом точно выразил Ф.Н. Глинка в «Очерках Бородинского сражения»,— в такой чрезвычайной ситуации «нужен был русский полководец, *с русским именем»* (курсив мой.— *А.Т.*), и при всем трагизме ее восприятия, сам он видел в этом, по словам В.Г. Белинского, «разумную и непреложную необходимость»[13].

Правда, у Барклая еще теплилась какая-то надежда, что ему все же удастся сохранить командование армией. В марте 1839 г. в Париже А.А. Закревский много рассказывал о Барклае и 1812 годе П.А. Вяземскому и А.И. Тургеневу (записавшему эти рассказы в своем дневнике), в частности, о том, что сперва он «не ожидал, что государь его отставит», но когда это произошло, то «покорился без ропота». И действительно, назначение единого главнокомандующего Барклай счел целесообразным и поначалу внутренне с ним смирился, держа себя внешне со спокойным достоинством, а в отношении Кутузова — вполне лояльно. «Каждый верноподданный и

преданный делу своего государя и отечества слуга испытает истинную радость при известии о назначении главнокомандующего всеми армиями, уполномоченного направлять их действия к одной общей цели...— писал Барклай Александру I 16 августа в ответ на только что полученный рескрипт с этим известием. — Что касается меня, какую бы должность или положение я не занимал, я желал бы пожертвованием жизни доказать мою готовность служить отечеству... В звании главнокомандующего, подчиненного князю Кутузову, я знаю свои обязанности и буду исполнять их точно». Чтобы не закралось подозрений, что в обращении к царю (хотя это не служебное донесение, а личное письмо) Барклай был неискренен и свое негативное отношение к происходящему прикрывал этикетом официальной риторики, приведем выдержку из его письма от того же 16 августа к жене, с которой ему нечего было кривить душой: «Что касается назначения князя Кутузова, то оно было необходимо, так как император лично не командует всеми армиями; но счастливый ли это выбор, только Господу Богу известно. Что касается меня, то патриотизм исключает всякое чувство оскорбления»[14].



М.И. Кутузов. Гравюра Ф. Болленгера по оригиналу Смита. Первая четверть XIX в. ГИМ

Так было в первые дни по прибытии главнокомандующего, но очень скоро положение стало меняться. Еще приказом от 19 августа Кутузов, с целью соединения всей власти в своих руках, произвел ряд новых назначений, в результате которых Барклай был лишен реальных рычагов управления 1-й армией. Квартирмейстерские офицеры, а также инженерные и пионерные части были переданы в ведение Кутузова и начальника его главного штаба Беннигсена, приказания по войскам, отдававшиеся не только самим главнокомандующим, но

от его имени другими лицами штаба, часто не доводились до сведения Барклая[15]. Словом, прав был А.В. Висковатов, отмечавший, что «с этих пор кончилась непосредственная власть Барклая де Толли и он... сделался только исполнителем»[16].

Вообще, надо сказать, Кутузов испытывал к нему известную недоверчивость. Явно заблуждаясь, он считал, по словам А.Н. Муравьева, что Барклай «продолжал пользоваться расположением государя и был тайным для него судиею». Еще откровеннее о мотивах этой настороженности высказался Михайловский-Данилевский, в 1812 г. очень близкий к Кутузову и в своих мемуарно-исторических трудах отзывавшийся о нем обычно в панегирических тонах,— тем ценнее для нас его свидетельство. В 1839 г. в неопубликованных доселе заметках о Барклае он писал: «Надобно ли прибавлять, что Кутузов, вызванный необходимостью на поприще битвы, не мог скрыть ни торжества своего, ни памяти оскорбления, что ему сначала предположен был Барклай де Толли?

Столь же великий политик, сколь великий полководец, он затаил чувства свои под личиною ласки и привета, но Барклай де Толли увидел, что при Кутузове он лишний в армии. Кутузов призывал его в советы... соглашался с его планами, всегда имея свой план, благодарил за все и ничего не исполнял по его предположениям. Другие не думали щадить Барклая де Толли в своих с ним сношениях». «Подобные случаи повторялись неоднократно,— вспоминал А.Л. Майер,— но Барклай старался не замечать их и всегда с врожденным его холоднокровием умел скрывать свою скорбь»[17].

Кутузов стремился и лично отдалить его от себя. «Барклая больше к нему не допускают»,— сообщал 13 сентября Александру I Ростопчин. За два дня до того Барклай писал жене: «Меня явно избегают и многое скрывают от меня». Еще накануне Бородина, 24 августа, Барклай жаловался царю на «немилость и пренебрежение»: «Здесь обращаются со мной так, как будто мой приговор подписан».

Прощаясь перед отъездом из армии с Левенштерном, Барклай с досадой сказал: «Фельдмаршал ни с кем не хочет разделить славы изгнания из империи»[18]. Можно поэтому согласиться с Е.В. Тарле в том, что «момент отъезда Барклая принес облегчение Кутузову»[19], хотя

сам отъезд произошел, повторяем, совсем не по его почину.

Приказом от 16 сентября Кутузов соединил обе Западные армии в одну 1-ю армию, окончательно слив их штабы со своим главным штабом. Правда, Барклаю было «вручено» командование этой объединенной армией, но его положение в данном качестве стало отныне совершенно номинальным и делать ему здесь было уже ровным счетом нечего[20].

Подав Кутузову 19 сентября упомянутый выше рапорт с ходатайством об отъезде, Барклай в тот же день принимается за пространное письмо Александру I. В нем он снова пытается объяснить стратегический смысл летнего отступления и уклонения от генерального сражения, отчитывается в своих действиях после приезда Кутузова, критически отзывается о воцарившихся с тех пор порядках в руководстве войсками и откровенно пишет о своем угнетенном состоянии. Отправлено это письмо было уже из Калуги и официально датировано 24 сентября, под этим числом оно не раз публиковалось, под ним же известно и в исторической литературе. Но в архивном черновике на французском языке с подписью Барклая оно помечено 19 сентября, что ставит в более точный хронологический контекст намерения и поступки полководца в последние дни пребывания в армии. В этом-то письме — первом из отосланных им царю после отъезда — Барклай прямо пишет, что вовсе не болезнь побудила его оставить армию: «Я желал бы найти выражения, чтобы описать вам глубокую печаль, снедающую мое сердце, видя себя вынужденным покинуть армию, с которой я хотел жить и умереть. Но если бы даже и не состояние моей болезни, последствия утомления и нравственных тревог, меня вынудили бы к тому; настоящие обстоятельства и способ управления этой храброй армией ставят меня в невозможность быть деятельным для блага службы», ибо «я лишь ношу звание командующего, не будучи им»[21].

Итак, вечером 22 сентября Барклай отбыл из главной квартиры. Но уезжал он не один. Из многочисленного своего окружения по Военному министерству и штабу 1-й армии он взял с собой самых верных сотрудников. Среди них были упомянутые выше не раз А.А. Закревский и П.А. Чуйкевич, его адъютант, ротмистр лейб-гвардии Уланского полка Е.В. Кавер,— по словам Ф.П. Веймарна, он еще со Шведской войны «был особенно близок к

Барклаю и никогда его не покидал». Неотлучно сопровождал Барклая после Тарутина и известный русский военный врач М.А. Баталин, сблизившийся с ним еще в первые годы столетия.

Был в их числе и племянник полководца коллежский асессор Андрей Иванович Барклай де Толли — чиновник Коллегии иностранных дел, еще в 1810 г. прикомандированный к Военному министру. По воспоминаниям его сослуживца и друга А.Л. Майера, он «участвовал в важнейших приготовлениях к войне 1812 года как по Особенной канцелярии Военного министра, так и по собственным его поручениям. В 1812 году он назначен был начальником 2-й экспедиции канцелярии главнокомандующего 1-й армией, при коем состоял безотлучно, находился в сражениях под Витебском и Смоленском, с поля Бородинского сражения отправлен был курьером к его императорскому величеству». В 1812 же году он привлекался к секретной переписке Барклая. Добавим к этому, что после войны А.И. Барклай де Толли служил в русской миссии в Вене, затем был старшим секретарем посольства России в Дрездене и в этой должности, между прочим, ему пришлось — волею судьбы — выполнить конфиденциальное поручение николаевского правительства по изъятию секретнейших мемуаров скончавшегося перед тем в Ганновере Л.Л. Беннигсена, столь враждовавшего в 1812 г. с его дядей-полководцем[22].

НАДЕЖДЫ НА ЦАРЯ

Мы очень мало знали доселе о том, что происходило с Барклаем с тех пор и до его появления на командном поприще в начале 1813 г. Это, несомненно, одна из темных, неизученных сторон не только биографии полководца, но и истории военно-политических отношений эпохи. Под пером почти всех писавших о Барклае он как бы сходит на эти 4—5 месяцев с исторической арены, растворяется в своей частной жизни. Близкие к Барклаю лица, наблюдавшие его в этот период или что-либо знавшие о нем, в своих письмах, дневниках и позднейших мемуарах, как правило, ничего на сей счет не сообщают, мало что дают официальные документы.

Поэтому сведения и в историографии весьма скудны и отрывочны. Отчасти грешат этим биографический

очерк о Барклае В.Н. Балязина и специальные исследования В.П. Тотфалушина. В одном из них, в частности, сказано, что, покинув армию, «Барклай надолго оказался отодвинутым в тень и *обреченным на молчание* (курсив мой.— *А.Т.*)[23]. Подчеркнутые слова глубоко ошибочны, ибо, как мы постараемся показать далее, он тогда не только не был обречен на молчание, а, напротив, стремился заговорить в полный голос. Именно после отъезда из главной квартиры Барклай начинает необыкновенно упорную и последовательную, длившуюся много месяцев борьбу за свою реабилитацию. И тут мы вплотную подходим к разъяснению исторически конкретного смысла загадочных слов Пушкина в «Объяснении»: «...не успев оправдать себя перед глазами России».

В воспоминаниях В.И. Левенштерна воспроизведены слова, сказанные Барклаем перед отъездом. Бросив взгляд на свое положение в армии и осложнившиеся отношения с Кутузовым, выразив уверенность в правильности избранного им способа ведения войны и надежду на то, что народ «отдаст мне справедливость впоследствии», Барклай заметил: «К тому же, император, коему я всегда говорил правду, сумеет поддержать меня против обвинений со стороны общественного мнения, время сделает остальное»[24].

Из этого свидетельства следуют два важных вывода.

Первое. Мысль публично противодействовать обвинениям в свой адрес, выступить с открытой отповедью своим хулителям, зародилась у Барклая еще к моменту отъезда из армии, что, может быть, предопределило тогда и само решение об отъезде, ибо в силу военной субординации *такое* он мог позволить себе только вне пределов главной квартиры, находясь на положении частного лица. Значит, изначальным стимулом оправдательных усилий Барклая явились «гонения» (в том числе и обвинения в измене), испытанные им еще в армии под влиянием сдачи Смоленска, но — существенное уточнение — до того, как, проезжая в конце сентября — начале октября внутренние губернии, он столкнулся со взрывом народного негодования, впечатления от которого потом лишь укрепили его в неотложности гласного оправдания.

В данной связи было бы небезынтересно выяснить, не претерпело ли каких-либо изменений отношение к Барклаю в армейской среде к осени 1812 г., т.е. каков именно

был тот фон, на котором разворачивались его оправдательные усилия.

В дополнение к сказанному выше об антибарклаевских настроениях должно заметить, что даже летом 1812 г., в пору их наивысшего накала, они не имели все же повсеместного распространения. Были и тогда в России сторонники стратегических принципов Барклая или люди, лично ему преданные, которые находили в себе смелость противостоять преобладающим мнениям и высказываться в его защиту. Отголоски этого противостояния, скрытые от нас разноречия в верхах петербургского общества, нашли отражение в дневнике вечно осуждавшей его В.И. Бакуниной. Так, 10 июля она пишет, что «доброжелатели Барклая стали проповедывать» в его пользу, а 28 июля не без злорадства отмечает: «Некоторые еще из немецкой партии слабым голосом его защищали, но заглушены были громкими криками негодования»[25].

«Доброжелатели» принадлежали прежде всего к кругам, близким к полководцу, и в этом плане нельзя пройти мимо одной из самых ранних в русском обществе его апологий. Мы уже упоминали о родственных отношениях Барклая с Ю.Я. Кюхельбекер — матерью знаменитого в будущем литератора-декабриста. 24 августа она пишет сыну Вильгельму письмо в ответ на его взволнованное послание по поводу текущих военных событий. Передавая, видимо, господствовавшие в Лицее настроения, юный В. Кюхельбекер, полный пылких патриотических чувств, как только мог порицал Барклая в духе расхожих слухов о его предательстве. В своем письме Ю.Я. Кюхельбекер призывает сына не верить слепо вымыслам «враждебно настроенных и легкомысленных умов», которые «говорят лишь вздор» и «вредят чести великого мужа». Обнаружив особую осведомленность в делах и намерениях Барклая, она убедительно отводит возводимые на него обвинения: «Император предоставил ему на выбор: возвратиться в Петербург и снова исполнять обязанности военного министра или остаться при армии. Барклай совершенно естественно выбрал последнее и командует первой частью главной армии. Если бы была хоть мысль об измене или о чем-нибудь, что ему можно было бы вменить в вину,— разве император поступил бы так? Однако Барклай теперь дает доказательство того, что любит свое отечество, так как по собственной воле

служит в качестве подчиненного, тогда как сам был главнокомандующим»[26].

Приверженцы Барклая находились в ту пору и среди его адъютантов, штабных офицеров, людей типа А.Н. Сеславина, А.Н. Муравьева и т.д. «Безусловным поклонником Барклая де Толли вообще и его плана военных действий в особенности» считал себя летом 1812 г. конногвардейский офицер И.С. Тимирязев. О «тогдашних сторонниках» Барклая писал позднее дипломатический чиновник канцелярии штаба 2-й армии А.П. Бутенев. Вспоминая вскоре после войны, как «вся Россия обвиняла его» в 1812 г., А.И. Михайловский-Данилевский делает знаменательную оговорку: «за исключением малого числа военных, которые умели ценить и личное благородное его достоинство, и затруднительное положение, в котором он находился во время отечественного похода»[27].

На почве этих разрозненных, но не замиравших и в самые худшие недели 1812 г. проявлений сочувствия к Барклаю с конца сентября в военной среде намечается тенденция к общей переоценке его полководческих действий. В свете вспыхнувших в результате флангового марш-маневра надежд на скорый перелом в ходе войны зреет понимание эффективности руководства Барклаем вооруженными силами страны, целесообразности летнего отступления. Едва ли не впервые этот новый взгляд выразил М.С. Воронцов в замечательном по проницательности и благородству тона письме к А.А. Закревскому из с. Андреевского Владимирской губернии, где он лечился от раны, полученной в Бородине. За несколько дней до того Закревский известил его, что Барклай намерен выйти в отставку, и вот 22 сентября — в тот самый день, когда он покинул армию, словно вдогонку, Воронцов отвечает: «Михайло Богданович дурно делает, что просится в отставку; служба его нужна, первое, для государства, второе же, и для него самого. Разные трудные обстоятельства обратили на него от многих негодование. Это пройдет, как все усмирится, и ему во многом отдадут справедливость. Выходя же в отставку, он делает то, что неприятели его желают, а прочим покажется еще больше виноватым. Поверь мне, что, наконец, меньше будут думать о Дриссе, об оставлении Смоленска и пр., нежели о том, что ему мы обязаны тем укомплектованием, коим армии наши теперь держатся, и даже то, что он первый и он один причиной, что последовали роду войны, ко-

торой со всеми ошибками и со всеми несовершенствами в исполнении есть один, который мог нас спасти и должен, наконец, погубить неприятеля. М.Б. и во фронте и в Советах может быть полезен отечеству и теперь такое время, что никто от своего места отходить не должен». (В конце 1814 г. в письме к Р. Вильсону, посетовав на то, что во всем написанном до сих пор о войне 1812 г. «никогда не было упоминаний о Барклае», Воронцов отзовется о нем с еще более высокой похвалой: «Это тот человек, который больше всех сделал для сокрушения могущества Наполеона»[28].)

Письмо Воронцова к Закревскому тем весомее, что, командуя дивизией во 2-й армии, он входил в число друзей и единомышленников Багратиона. Поэтому его мнение нельзя считать случайностью. В какой-то мере оно было, видимо, симптомом сдвига в отношении к Барклаю генералитета и офицеров, в том числе и рядовых. Рассказывая о разговорах в их среде в Тарутинском лагере о русских военачальниках, Н.Е. Митаревский вспоминал, что чаще всего речь заходила о Барклае, а многие из офицеров — ветеранов войн конца XVIII — начала XIX в.— служили еще под командованием Барклая в Прусской и Финляндской кампаниях. Отличительная черта этих офицерских бесед во время впервые выдавшейся за всю войну передышки, располагавшей к спокойным и несуетным размышлениям,— стремление вникнуть в смысл поступков Барклая, разобраться в мотивах его действий, подвергавшихся совсем недавно столь сокрушительным обвинениям. Если отдельные солдаты выказывали недоумение нерешительностью Барклая и еще как бы по инерции называли его даже изменником, то офицеры этого себе уже не позволяли: «Все отзывались о нем как о добрейшем и благороднейшем человеке, храбром и распорядительном генерале... Все очень жалели о постигшей Барклая де Толли участи»[29].

К концу года пробарклаевские настроения в войсках получают опору в победоносном исходе кампании. Так, А.В. Чичерин, ранее фиксировавший в своем дневнике «ненависть в армии» к Барклаю, ныне, в записи за 19 декабря, пишет уже о «бесстрашии» полководца, который «прославился своим отступательным маневром». 10 декабря в письме к А.Н. Самойлову Н.Н. Раевский — летом 1812 г. тоже один из недоброжелателей Барклая,— не называя прямо его имени, с запоздалым сожалением

отмечает спасительную для России роль проводимой им стратегической линии: теперь, когда «Россия освобождена от неприятеля» и «нам бывшие его силы известны... должно признать, что единственный способ был победить их изнурением и завлечением внутрь России, что мы прежде осуждали»[30].

Закономерно напрашивается вопрос: а доходили ли до Барклая сведения о наметившейся с конца сентября перемене в отношении к нему армейских кругов, знал ли он об этом что-либо достоверное? Мы можем ответить утвердительно: да, знал, если не обо всех этих мнениях, то во всяком случае о наиболее для себя важных. Трудно предположить, чтобы Закревский, безотлучно находившийся при Барклае после отъезда из армии до середины ноября и глубоко сочувствовавший его невзгодам, не посвятил своего начальника в содержание столь значимого для него письма Воронцова. Сам Барклай в одной из своих записок конца 1812 г. засвидетельствовал, что такого рода сведения были ему известны. Говоря о том, что опровержения «порицаний» в свой адрес он «спокойно ожидал» от последующего хода событий, Барклай заметил: «Надежда моя частью совершилась — беспристрастные признаются уже в своей ошибке».

Казалось бы, все это должно было принести удовлетворение оскорбленным чувствам полководца. Но ведь похвальные мнения в его пользу распространялись — и об этом он тоже хорошо знал — в сравнительно узкой военно-командной среде посредством личной переписки, бесед в офицерских кружках, частных разговоров, закрепляясь и на страницах походных записок, но не имея никакого гласного выхода. Барклай же, повторяем, добивался своей реабилитации не перед каким-либо частным кругом, а перед широкими слоями населения, перед русским обществом в целом,— раз и обвинения против него с августа 1812 г. шли отовсюду, тоже имели всеобщий характер. Сказанное выше лишний раз оттеняет, таким образом, *публичную, общественную* направленность оправдательных усилий Барклая, их адресованность, как отмечено в цитированной только что его записке, для «всех и каждого»[31].

Второй вывод, прямо следующий из приведенного ранее мемуарного свидетельства В.И. Левенштерна,— при отъезде из главной квартиры Барклай твердо рассчитывал на поддержку со стороны Александра I.

Но насколько основательны были эти расчеты?

Еще первые биографы Барклая в весьма приукрашенных тонах освещали его взаимоотношения с царем. В их изображении он представал «добрым гением» полководца, чуть ли не единственным человеком в России, ценившим его заслуги и на всем протяжении войны оказывавшим ему «неизменную доверенность» и безоговорочное монаршее покровительство. Даже современный историк пишет, что Барклая «всегда поддерживал Александр I»[32].

Что до исключительной роли Александра I в оценке заслуг Барклая в 1812 г., то мы только что видели, что в действительности дело обстояло далеко не так. В остальном же его биографы отчасти были правы, имея в виду канун и первые месяцы кампании, но и тогда отношения между монархом и полководцем были далеко не безоблачны. Применительно же к периоду войны, наступившему с начала августа, эта версия представляется попросту идиллической.

Хотя А.П. Ермолов писал в своих записках о Барклае: «Перед государем боязлив, не настойчив в предложениях... боится потерять милости его»[33],— данную характеристику нельзя не признать столь же злой, сколь и несправедливой. Перед Александром I Барклай не только не был «боязлив», но, если дело касалось вопросов профессионально-военных, у него хватало завидной настойчивости и воли поступать сообразно собственным убеждениям.

Один из таких поступков относится еще к началу кампании, когда под давлением своих приближенных А.С. Шишкова, А.А. Аракчеева и А.Д. Балашева Александр I принял решение об отъезде из армии.

Интересное свидетельство о причастности к этому Барклая оставил известный мемуарист, либеральный деятель и дипломат Д.Н. Свербеев. Повествуя в своих воспоминаниях — по запискам и устным рассказам Шишкова — о том, что непосредственно подтолкнуло влиятельных сановников побудить Александра I на этот шаг, Свербеев отмечает, что Барклай «в откровенных разговорах с графом Аракчеевым, Балашовым и Шишковым не скрывался, что он, главнокомандующий, хотя и облеченный всею властью, не может, однако, действовать безотчетно, а уступает направлениям самого государя, хотя бы они приходили к нему в виде советов. Из сего Шишков мог заключить,— продолжает Свербеев,— что

пребывание государя при армии скорее вредно, нежели полезно».

Были, разумеется, и другие доводы, побудившие сановный «триумвират» воздействовать на Александра I, но характерно, что на первое место Свербеев ставит здесь все же авторитетное в военном плане мнение Барклая. В записках самого Шишкова рассказ о всех соображениях в пользу отъезда царя дан более пространно, но и в нем мнение Барклая изложено среди них первым[34]. Короче, отъезд царя из армии совершился при внушительном воздействии Барклая, не желавшего мириться с его дилетантским вмешательством в управление войсками и вообще с неразберихой, проистекавшей от одного его присутствия в главной квартире.

Очень остро независимость полководческой, да и личной позиции Барклая Александр I почувствовал, как мы видели выше, в его действиях под Смоленском, шедших вразрез со стратегическими предписаниями царя, который именно с тех пор изменил свое отношение к полководцу, явившись едва ли не главным инициатором устранения его от руководства боевыми операциями. Причем обставлено это было самым оскорбительным для Барклая образом. Он, например, был поражен тем, что рескрипт на его имя о назначении Кутузова был доставлен из Петербурга только 16 августа, на 9-й день после подписания, т.е. с явно намеренной задержкой (тогда как для этого было достаточно не более трех суток), буквально накануне приезда Кутузова, что истолковал как выражение царского к себе недоверия. Еще болезненнее самолюбие Барклая было задето подчеркнуто холодным тоном рескрипта Александра I от 24 августа об увольнении от должности Военного министра, где не было ни слова благодарности, хотя за свою плодотворную службу на этом посту Барклай, как сам укорял позднее царя, «вправе был надеяться заслужить одобрения вашего величества»[35].

Проявлением известной его независимости был и сам отъезд из главной квартиры 22 сентября с оставлением должности командующего 1-й армией, на что, строго говоря, должна была быть получена санкция не Кутузова, а Александра I — по военно-юридическому статусу лишь он мог распоряжаться судьбой начальников «частных» армий. Однако Барклай пренебрег этим и не только не получил согласия царя, но и не известил его пред-

варительно о своем отъезде. Александр же, узнав об этом задним числом, был неприятно удивлен поступком Барклая и упрекал его в этом[36].

Но при всех своих обидах на царя Барклай и осенью 1812 г. по-прежнему относился к нему с глубочайшим пиететом. Оценивая военные дарования Александра I скептически, он вместе с тем видел в нем главу великой империи, политика, искуснейшего дипломата, просвещенного государя, стоявшего на высших ступенях европейской образованности, умевшего привлекать к себе людей и очаровывать своих приближенных. Тем более что и личным своим возвышением Барклай был во многом ему обязан. Понятно, что мнением Александра I о себе, о своей полководческой деятельности он необыкновенно дорожил. Барклай был совершенно искренен, когда в завершении «отчетного» письма царю, отправленного из Калуги 24 сентября, писал, что был бы «несчастлив увидеть, что моя репутация помрачена в глазах моего монарха, потому что, несомненно, это величайшее несчастье, которое может случиться с человеком честным и с принципами... излагая вам чистую правду, в моем настоящем положении я не мог иметь другого желания, как быть Вам, государь, еще раз полезным и спасти, если возможно, репутацию, которая чиста по убеждению моей совести»[37].

Внутренняя логика убежденности Барклая в том, что найдет в Александре I союзника в своих оправдательных усилиях, достаточно ясна и при учете свойственного ему прямодушия психологически вполне объяснима. Характерно в этом отношении само обоснование этой убежденности, как оно передано в воспоминаниях В.И. Левенштерна: «...император, *коему я всегда говорил правду,* сумеет поддержать меня». Находясь под обаянием прежнего расположения царя, Барклай полагал, что, поскольку в суровых обстоятельствах 1812 г. говорил ему только правду, то и тот, со своей стороны, не может не признать правоты полководца в отстаивании им своей репутации.

Беда Барклая заключалась, однако, в том, что он не мог постичь всей сложности «византийской» натуры Александра I, его двойственности, лицемерия, глубоко спрятанной злопамятности, отягощенной его непомерным и не раз ущемлявшимся военным честолюбием. Все это помешало Барклаю реально оценить, насколько сильно

пали его шансы в глазах императора. А потому и надеждам на его поддержку не суждено было сбыться.

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

Борьба Барклая за свою реабилитацию выразилась прежде всего в серии оправдательных записок, составленных осенью 1812 — в начале 1813 г.

Но, строго говоря, первая попытка публично защитить свою репутацию была предпринята им в устной форме еще до отъезда из главной квартиры. Это — речи Барклая к войскам, произносившиеся 7 сентября при расположении их лагерем близ Красной Пахры. Собственно, о самих этих речах было давно известно в литературе. О них сообщал Александру I сам Барклай в письме от 24 сентября. Рассказ об этом эпизоде находим в записках И.Т. Радожицкого, бывшего одним из его наблюдателей. Писали об этих речах А.Н. Попов в одной из работ о 1812 годе и В.П. Тотфалушин в диссертации о Барклае[38].

В связи с производством нижних чинов 1-й армии в унтер-офицеры и награждением их знаком отличия военного ордена за боевые успехи в период отступления Барклай, по свидетельству Радожицкого, «со спокойным челом, уверенный в правоте своей» объезжал полки и к каждому обращал «краткую, но сильную ободрительную речь». Радожицкий приводит далее текст одной из речей, призывавшей войска быть готовыми к скорому наступлению и действительно выдержанной в духе высокого воинского красноречия[39].

Однако он передал текст речи неполно, и присутствие в ней оправдательной тенденции оставалось незамеченным. Между тем из обнаруженных недавно в архивах мемуаров офицеров-очевидцев отчетливо видно, что, обращаясь к солдатам и офицерам, Барклай пытался раскрыть свой стратегический замысел и значение летнего отступления для сохранения боеспособности армии и создания предпосылок для зреющего перелома в ходе войны. Причем оправдательные ноты прозвучали здесь так сильно и убедительно, что именно этим его речи запомнились слушателям по прошествии многих лет после войны. Так, в 1818 г. артиллерийский подпоручик 4-го пехотного корпуса Г.П. Мешетич в «Исторических записках войны России с французами» вспоминал, как «бессмертный герой своею мудростию и неуст-

рашимостию, бывший главнокомандующий Барклай де Толли, объезжая ряды своих малочисленных полков, перед фронтом каждого объявил свой план, что такая продолжительная ретирада отвлекла неприятеля от всех выгод в его армии и послужит ему гибелью и что он впал в приготовленные ему сети, из которых он не выпутается иначе как истреблением оного». О том же свидетельствовал в конце 1830-х годов и майор 1-го Егерского полка М.М. Петров в насыщенных бытовыми подробностями походных записках: «Пред Красною Пахрою, прощаясь с полками армии своей, знаменитый полководец наш военный министр изъяснил нам эту тайну спасительного маневра своего от границы прусской до Царева-Займища». Недаром Радожицкий в заключении рассказа об этом эпизоде заметил, что своей речью «перед каждым полком» «почтенный вождь... примирился с войсками»[40].

Но вернемся к оправдательным запискам. По причинам, о которых будет еще сказано, до середины XIX в. о них вообще мало что знали в исторической литературе. Публикации некоторых их текстов в конце 1850-х годов, затем в начале 1880-х и в 1911—1912 гг. никак не повлияли, однако, ни на биографические штудии о Барклае и историографию Отечественной войны, ни на их собственное изучение. Несколько удачнее сложилась в этом смысле судьба одной только записки Барклая — «Изображение военных действий 1-й армии в 1812 году», использовавшейся в военно-исторических трудах второй половины XIX — начала XX в.

Лишь в 50—60-х годах нашего столетия его оправдательные записки попадают в орбиту исследовательского внимания. Впервые к ним обратился В.В. Пугачев в своих трудах по подготовке России к войне с Наполеоном, но не как к самостоятельному предмету изучения, а в связи с рассмотрением стратегических планов русского командования[41]. В 1974 г. вышла в свет статья Н.И. Казакова, уже специально посвященная запискам Барклая. Этим собственно историография темы исчерпывается.

В указанных работах были высказаны интересные наблюдения по отдельным сюжетам, но цельного и достоверного представления о происхождении, составе и бытовании оправдательных записок Барклая в них не давалось. Оба автора основывались главным образом на уже опубликованных материалах и не привлекли богатейшие

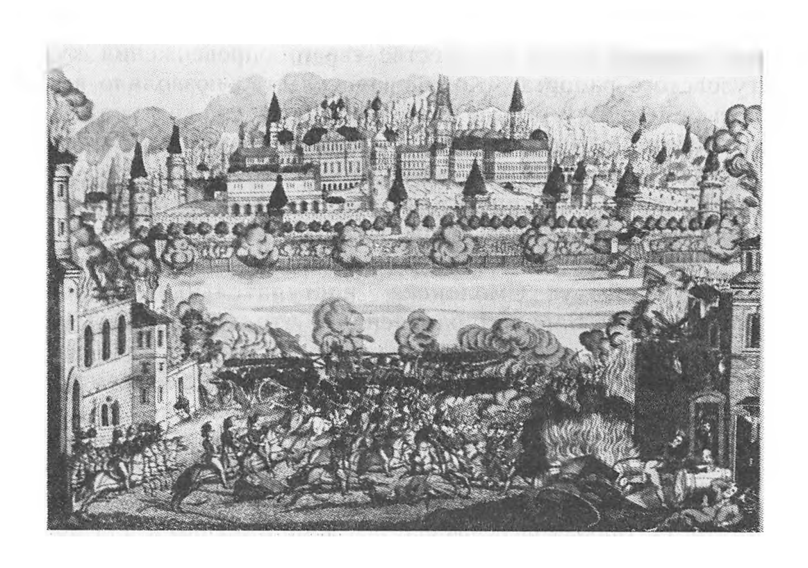
архивные источники, без чего решить такую задачу практически невозможно. Некоторые же вопросы освещены заведомо неверно. Например, в той и другой работе особое значение придается одной из оправдательных записок — «Объяснению генерала от инфантерии Барклая де Толли о действиях первой и второй западных армий в продолжение кампании сего 1812 года». Все же остальные — хронологически более поздние записки неправомерно квалифицируются лишь как разновидности текста этого «Объяснения» — «списки», «варианты» и т.д. На самом же деле это были, как мы увидим далее, самостоятельные по назначению и содержанию военно-публицистические произведения[42].

Нам предстоит поэтому, опираясь на архивные первоисточники, рассмотреть барклаевские записки заново.

«Примечание»

Первая из них — «Примечание Барклая де Толли на рапорт главнокомандующего армиями генерал-фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова, помещенный в газете «Северная почта», № 75». Казаков решительно отрицал принадлежность этой записки перу Барклая, переадресовав ее без сколько-нибудь серьезных доводов правительству Александра I[43]. Но все сомнения на сей счет отпадают, поскольку мы располагаем собственноручно подписанным Барклаем оригиналом «Примечания», сохранившимся вместе с подлинниками других его оправдательных записок и писем к Александру I[44].

По приезде 7 октября во Владимир Барклай к полной для себя неожиданности прочел в указанном номере «Северной почты» за 18 сентября рапорт Кутузова Александру I от 4 сентября о сдаче Москвы, в завершение которого было сказано: «Впрочем, ваше императорское величество всемилостивейше согласиться изволите, что последствия сии нераздельно связаны с потерею Смоленска»[45]. Таким образом, получалось, что оставление Кутузовым Москвы было заведомо предопределено сдачей почти за месяц до того Смоленска. Поскольку же в последнем повсеместно обвинялся Барклай, то, хотя его имя не было здесь прямо названо, вина за уступление древней столицы тоже возлагалась на него — теперь уже принародно, благодаря публикации кутузовского рапорта в



Вступление французов в Москву. Французская гравюра. Первая четверть XIX в. ГИМ

правительственных официозах (днем раньше, 17 сентября, он появился в «Санкт-Петербургских ведомостях»).

Барклай крайне болезненно воспринял этот упрек не только из-за его явной несправедливости, но из опасений, что он подогреет распространенные в обществе подозрения в его измене, и это долгое время не давало покоя опальному полководцу, послужив еще одним побудительным стимулом для его оправдательных усилий. 25 октября он писал Александру I: «Известный отзыв князя Голенищева-Кутузова, что отдача неприятелю Москвы есть следствие отдачи Смоленска, к сожалению, подтверждает во многих умах сии ужасные для чести армий и предводительствовавшего ими заключения». Три месяца спустя, 27 января 1813 г. он снова с горечью напоминает об этом царю: «Князь Кутузов заявлял, что потеря Москвы есть следствие потери Смоленска. Тогда-то явился я перед Россией и всей Европой изменником»[46].

Понятно, что этого Барклай не мог оставить без ответа, и вот, отложив все дела, он быстро пишет «Примечание» и на следующий день, 8 октября, с еле сдерживаемым гневом обращается к министру внутренних дел О.П. Козодавлеву, под надзором которого издавалась «Северная почта», настаивая на напечатании

его именно в ней в качестве своего опровержения кутузовского рапорта: «Коли правительство позволило выдать в публику статью такую, которая должна навлечь нарекания на армию», «то справедливость требует, чтобы и оправдания их были объявлены публике чрез тот же журнал», а посему просит министра исходатайствовать на это разрешение Александра I[47].

Кратко описав в «Примечании» действия 1-й армии, отразившей у Смоленска наступательный напор неприятеля, Барклай разъясняет, что дальнейший ее отход был вызван стремлением сохранить войска, отступившие далее для сближения с подкреплениями и резервами. И тут же отвергает какую-либо связь между оставлением Москвы и потерей Смоленска («Город сей не есть предместье московское»), считая, что падение столицы произошло из-за беспорядочного отступления армии от Бородина и выбора неудачной позиции для нового сражения у самых ее стен[48].

Опровержение рапорта от 4 сентября метило непосредственно в Кутузова, но вряд ли Барклай подозревал, в какой мере он затрагивал при этом лично Александра I, ибо, как выясняется, именно он и постарался придать скрытому упреку фельдмаршала общероссийскую известность.

В 1812 г. присылавшиеся на имя царя из армии рапорты военачальников выполняли, так сказать, двойную функцию: основную — оповещали главу государства о ходе боевых операций, и вспомогательную — использовались, наряду с также поступившими из главной квартиры журналами военных действий, для информирования населения и с этой целью помещались в приложениях к «Санкт-Петербургским ведомостям», откуда уже перепечатывались другими газетами. Но попадали они в официальную прессу далеко не полностью, а с существенными изъятиями и редакционной правкой, которым их подвергал Александр I при участии Аракчеева. Цензурное вмешательство царя имело в виду устранение политически нежелательных сведений и, разумеется, сохранение военной тайны. Вымарывались трезвые оценки боевых событий, данные о планах командования, лишениях и трудностях русских войск, их дислокации, передвижениях и т.д.[49]

Нет нужды доказывать, что, составляя свои рапорты, военачальники в первую очередь были озабочены тем,

чтобы дать Александру I верное и всестороннее, с их точки зрения, изображение военной обстановки, и меньше всего думали о том, что из сообщенного ими попадет в печать, а что надолго еще останется достоянием царских и военных архивов.

Не думал об этом и Кутузов, отсылая по горячим следам рапорт о сдаче Москвы — едва ли не самый ответственный в его переписке с царем за 1812 год. Многое в нем, в том числе и не лишенное лукавства соображение об оставлении Смоленска как прологе сдачи Москвы, заключало в себе конфиденциальный смысл и скорее всего было предназначено исключительно для сведения Александра I.

Любопытно, что впоследствии, уже после того как рапорт с этой сакраментальной фразой увидел свет, она была встречена некоторыми современниками с резким неодобрением. Так, А.П. Ермолов заметил по этому поводу в своих записках: Кутузов «высказывал, что потеря Смоленска была преддверием падения Москвы, не скрывая намерения набросить невыгодный свет на действия главнокомандующего, Военного министра». Знаменитый французский публицист клерикально-монархического толка Жозеф де Местр, тогда посланник Сардинского королевства в Петербурге, писал 2 июня 1813 г. в одной из своих депеш, процитировав эту фразу из кутузовского рапорта: «Какая низость! Какая гнусность! ...чтобы открыто приписать весь ужас гибели Москвы генералу Барклаю, который не-Русский и у которого нет ничего, чтобы его защитить»[50].

Не будем, однако, вслед за современниками столь сурово судить Кутузова. Его позиция в отношении последствий сдачи Смоленска была сложной и изменчивой по ходу событий. Справедливости ради надо заметить, что всю их тяжесть он оценил сразу же, как только 11 августа, по выезде из Петербурга, узнал от спешившего из армии курьера об оставлении Смоленска. Первой его реакцией были горестные слова: «Ключ от Москвы взят!» Эта мысль не покидала его по прибытии 17 августа к войскам в Царево-Займище, но в последующие дни она перемежалась с надеждой и на то, что древнюю столицу удастся отстоять. Собственно, с этой целью и было дано Бородинское сражение. Но и после Бородина Кутузов продолжал еще надеяться на спасение Москвы, о чем он писал бодрые письма Ростопчину и для чего распорядился

избрать у стен города позицию для нового сражения 1 сентября. И только к вечеру этого дня окончательно понял, что Москву придется все-таки сдать[51].

Думается поэтому, что в разбираемой фразе из его рапорта от 4 сентября отразилось не только — прямо скажем — не вполне рыцарственное стремление дать понять царю о хотя бы частичной вине за это Барклая, но и мучительные колебания главнокомандующего в оценке роковой роли уступления французам Смоленска.

Как бы то ни было, однако «открыто», т.е. гласно, всенародно, «приписать весь ужас гибели Москвы» Барклаю в расчеты Кутузова, как мы отмечали, не входило, и за это он ответственности не несет — она всецело падает на Александра I.

Если мы сравним кутузовский рапорт в полном его виде с тем, что было напечатано в правительственных газетах, то увидим, что царь подверг его целенаправленной обработке, изъяв или затушевав сомнительные, с его точки зрения, тексты, чересчур откровенные характеристики состояния армии и ее боеспособности, ресурсов, стратегического смысла событий и т.д. Всего насчитывается не менее десяти таких изъятий и исправлений. И, что всего примечательнее, подверглась царской правке та самая фраза, о которой мы ведем здесь речь. В подлиннике она звучала сперва так: «Впрочем, ваше императорское величество всемилостивейше согласиться изволите, что последствия сии нераздельно связаны с потерею Смоленска и *с тем расстроенным совершенно состоянием войск, в котором я оные застал*». Подчеркнутая концовка фразы была вычеркнута и в опубликованном в сентябре 1812 г. варианте оказалась выпяченной ее начальная часть, бросавшая тень на Барклая, что на фоне продуманно-избирательной правки всего рапорта имело совершенно недвусмысленный характер.

Если бы Александр I по-прежнему сохранял к Барклаю лояльность и дорожил его репутацией, то наверняка изъял бы фразу целиком — в силу хотя бы ее легко угадываемой пристрастной, личностной подоплеки. А потому такого рода манипуляции над ее текстом могут быть расценены вполне однозначно — как сознательный выпад против Барклая, как акт публичной его дискредитации. Как сказано в английской биографии Барклая, он был нужен в тот момент царю в роли «козла отпущения, и

потому обвинения Кутузова остались не опровергнутыми в публике»[52].

Впрочем, это и не удивительно: оставление Смоленска, как помним, было самой болевой точкой во взаимоотношениях Александра I с Барклаем в 1812 г., царь расценил это как грубейшую ошибку полководца, которой долго не мог ему простить.

Д.С. Дохтуров, командир 6-го пехотного корпуса, прославившийся во многих сражениях 1812 г., 5—6 августа возглавлял оборону Смоленска и покинул пылающий город лишь по приказу Барклая. В конце 1812 — начале 1813 г. он впервые после отъезда Александра I из армии увидел его в главной квартире и часто беседовал с ним. Об одной из таких бесед он сообщал 12 января 1813 г. жене: государь «отлично меня принял, благодарил за все мои дела и очень много говорил обо всем, и более насчет смоленского дела. Я ему все обстоятельства рассказал, опасаясь, чтоб сдача Смоленска не причтена была мне. Он мне сказал, что сие дело ему совершенно известно и что он всегда уверен, что я сего города не сдал, ежели бы не имея на сие начальника повеления»[53].

Замечательное признание: и по прошествии пяти месяцев, когда наполеоновская армия была уже разгромлена, а русские войска победительно перешли западную границу, царь все еще погружен в мрачные воспоминания о «смоленском деле» и прежде всего о нем пристрастно расспрашивает Дохтурова, тот же, чувствуя осуждение августейшим собеседником сдачи Смоленска, всячески оправдывается. Александр I успокаивает Дохтурова, прозрачно намекая на виновность Барклая. Согласуется с этим и свидетельство Д.П. Бутурлина, осведомленного в событиях 1812 г. и по участию в них, и по последующим историческим разысканиям. «Я знаю наверное,— писал он А. Жомини,— что император был очень недоволен оставлением Смоленска, которое повлекло за собою большую неприятность для Барклая»[54].

Можно ли было при всем этом верить, что царь даст согласие на публикацию в «Северной почте» барклаевского «Примечания», парировавшего его собственный выпад против полководца?

Барклай, однако, верил.

«Объяснение»

После его отсылки 8 октября в Петербург он принялся за упомянутое выше «Объяснение» — документ, с которым связывал тогда все надежды на реабилитацию. Сохранился подлинник «Объяснения» — он писан по-русски А.И. Барклаем де Толли, видимо, под диктовку полководца и удостоверен его подписью. (Рука А.И. Барклая де Толли точно устанавливается сличением текста «Объяснения» с автографом его письма к А.А. Аракчееву от 30 мая 1813 г. — их почерки оказываются идентичными[55].)

К 25 октября «Объяснение» было закончено, и в тот же день Барклай отправил его к Александру I с сопроводительным письмом, где среди мотивов своих оправдательных устремлений снова сослался на оскорбивший его рапорт Кутузова. Письмо это меньше всего напоминает обращение к монарху с характерным для таких документов изъявлением верноподданнических чувств. Предельно лаконичное, деловито-сухое по тону, оно требует от царя непременной публикации «Объяснения»: «Изложив отчет о действиях 1-й и 2-й западных армий в продолжение нынешней кампании и о прямых причинах отступления их, я приемлю смелость... о Высочайшем повелении обнародовать сие через публичные ведомости. Отечество и целый свет увидят здесь истину во всей наготе ее, и уста злословия к успокоению общему умолкнут».

Свой «отчет» Барклай начинает с указания на исключительные условия военного противоборства с Наполеоном, когда ввиду преобладающего превосходства его сил, собранных со всей Европы, и громадной протяженности западной границы, России не оставалось ничего другого, как вести войну «оборонительно». Ибо даже самые упорные приграничные бои были бесполезны и даже пагубны — «удачное сопротивление на одном пункте никак не могло бы обеспечить другого». И затем в чеканных фразах формулирует существо стратегического плана, последовательно осуществлявшегося им летом 1812 г.: «Итак, чтобы, спасая отечество от предстоящей ему грозы, положить конец бедствиям, в продолжении 20-ти лет угнетавшим лучшую часть света, предположено было с общего совещания открыть кампанию отступлением к древним нашим границам и, завлекши

неприятеля в недра самого отечества... истощив силы его с меньшим, сколько возможно, пролитием своей крови, нанести уже ему удар решительный». Далее Барклай сжато обрисовывает под этим углом зрения ход военных действий — от приграничных боев в Литве до Бородина, с более подробным рассказом о сражении под Смоленском, причем оставлению Москвы дает прежнее толкование, намекая на несогласие с тактикой Кутузова после Бородина, причины отступления от которого «одному только высшему начальству известны». Завершает он «Объяснение» полемическим выпадом против злобных слухов, с твердой убежденностью в своей правоте: «Изложив перед всеми и каждым отчет о действиях двух западных армий во время главного командования мною ими, я после сего не страшусь уже порицаний, злобою, клеветою, завистью и неведением вымышляемых. Благомыслящие сами увидят истину объяснений моих; перед недоверчивыми оправдает меня время; пристрастные изобличатся собственною совестью в несправедливости своей, а безрассудных можно, хотя и с сожалением, оставить при их заблуждении, ибо для них и самые убедительные доводы не сильны».

Важно подчеркнуть, что Барклай отстаивает здесь не только себя лично, но предводительствуемые им войска — то и другое в его сознании нерасчленимо. «Нахожу себя в обязанности,— извещал он царя 25 октября,— защищать честь армии и честь мою собственную, 42-летнею службою и увечьем стяжанную»[56]. Еще 8 октября он с возмущением писал О.П. Козодавлеву, что «помрачение чести целой армии и ее начальника не есть партикулярное, но государственное дело»[57].

Отметим также, что в «Объяснении» Барклай берет на себя ответственность и за 2-ю армию Багратиона, учитывая, видимо, то, что ее действия решающим образом зависели от осуществляемого им общего отступательного замысла.

Отправляя 25 октября царю «Объяснение», Барклай всерьез рассчитывал на его публикацию. Но не могло при этом не настораживать предшествующее молчание Александра I. Ведь прошло уже два месяца, как от него было получено последнее — от 24 августа — письмо с извещением об увольнении от должности Военного министра, и с тех пор Барклай не имел ответа ни на одно из своих, по меньшей мере, пяти писем — от 24 августа, 11, 22

и 24 сентября, 7 октября (не считая того, что было отправлено из Владимира 25 октября). Барклай находился в полном неведении об отношении Александра I и к его отъезду (под предлогом болезни) из армии, и к раздорам с Кутузовым, и к отчету о своих отступательных действиях после Смоленска в предельно откровенном письме от 24 сентября, и, наконец, к дальнейшей своей участи.

22 сентября, официально уведомляя царя об отъезде из главной квартиры, Барклай писал, что будет в Туле «ожидать распоряжений о высочайших вашего императорского величества повелений относительно своего положения»[58]. Но ни в Туле, ни в других местах, через которые проезжал, он не получил от Александра I никаких вестей. Думается, что вообще чрезмерная — даже по тем временам — длительность поездки Барклая из Тарутино во Владимир — она заняла 16 суток — объясняется как раз тем, что в каждом крупном городе он задерживался на несколько дней в надежде получить письмо от царя.

Сразу же по приезде во Владимир, 7 октября Барклай извещает его об этом и просит «дозволения вашего величества для лучшего пользования прибыть в Петербург или Дерпт» — приезд в столицу он определенно связывал с возможностью личного объяснения с Александром I по поводу всего произошедшего с ним в последние месяцы. Письмо это Барклай на следующий день отправил со специально отряженным в Петербург адъютантом Е.В. Кавером, который, кстати, повез с собой и «Примечание» на рапорт Кутузова с сопроводительным письмом от 8 октября на имя О.П. Козодавлева,— 16 октября оно уже было получено Александром I[59]. Но и на эту очень значимую для него просьбу до конца октября ответа так и не последовало.

О том, что и тогда Барклай продолжал надеяться на ответ из Петербурга, свидетельствует характер его передвижений по выезде из Владимира. В данной связи было бы небезынтересно вообще уточнить итинерарий Барклая осенью 1812 г.— с того момента, как он покинул главную квартиру.

С легкой руки А.В. Висковатова принято было считать, что, уехав из армии, Барклай «провел некоторое время в Калуге, после того прожил несколько дней во Владимире» и прямо оттуда, минуя Петербург и никуда

не заезжая, направился в свое имение Бекгоф в Феллинском уезде Лифляндской губернии. Именно так изображался осенний маршрут Барклая в его биографиях XIX—XX вв.— вплоть до нашего времени[60].

Действительный итинерарий Барклая восстанавливается в следующем виде. Уехав из Тарутина вечером 22 сентября, он 24—25 сентября находился в Калуге — этими днями датированы отправленные отсюда его письма Александру I и А.И. Остерману-Толстому, но здесь Барклай пробыл, видимо, еще несколько дней, так как только 30 сентября — 1 октября фиксируется его пребывание в Туле. 2—3 октября он уже в Рязани — об этом есть отметка в дневнике Ф.Я. Мирковича. Приезд его 7 октября во Владимир документируется не только письмом Александру I от того же числа, но и дневниковой записью бывшего тогда здесь Д.М. Волконского за 7 октября: «Барклай приехал из армии во Владимир и, говорят, проездом»[61]. Но тут его пребывание длилось, вопреки мнению А.В. Висковатова, не «несколько дней», а почти три недели, до конца месяца, ибо 28 октября Барклай приезжает в недавно освобожденную от французов Москву — факт, выпавший из поля зрения его биографов. Об этом мы узнаем из примечательных строк письма тесно общавшегося с ним во Владимире А.Я. Булгакова к брату — К.Я. Булгакову от 28 октября: «Через час будет сюда Барклай де Толли, на житье в Москве впредь до повеления; с ним Закревский, который находит, что не великодушно бы было оставлять начальника, тогда как он в несчастии»[62].

О пребывании его в Москве сохранилась также колоритная зарисовка в воспоминаниях М.А. Баталина: Барклай, «по отдохновении нескольких дней, пошел с бывшими при нем адъютантами осматривать Кремль и, дойдя до Никольских ворот, увидел, что башня взорвана по самой образ Св. Николая, но стекло, находившееся в киоте у задника, было цело, послал одного из адъютантов к графу Ростопчину, советуя поставить к воротам караул для сбережения уцелевшего стекла»[63].

Как видим, Барклай, и покинув Владимир, вовсе не спешит в свое лифляндское имение, а останавливается на несколько дней в Москве, надеясь, что, может быть, здесь его настигнет «повеление» Александра I.

Биографами Барклая осталось почти незамеченным еще одно важное обстоятельство — его почти двухнедель-

ное пребывание после отъезда из Москвы в Твери и Новгороде, в самой непосредственной близости от Петербурга. Выясняется это из неопубликованных писем А.А. Закревского к А.Я. Булгакову за ноябрь 1812 г. В одном из них, отправленном из Новгорода 6 ноября, Закревский пишет, что за несколько дней до того Барклай с сопровождавшими его лицами прибыл из Москвы в Тверь, и далее: «Я через неделю или две поеду в Петербурх, а Михайла Богданович ожидает здесь на просьбу его решения».

Но в Новгороде терпение Барклая стало, наконец, иссякать. Еще в Твери его ждал возвращавшийся из Петербурга Е.В. Кавер, который, по словам того же Закревского, «никакого ответа от Государя не привез, а доставил рескрипт со 2-м Георгием»[64] (речь шла о награждении Барклая орденом св. Георгия 2-й степени за Бородинское сражение). «Никакого ответа» — в контексте наградного рескрипта означало прежде всего подчеркнутое нежелание Александра I прислушаться к требованию Барклая обнародовать «Примечание» на рапорт Кутузова, что вообще ставило под сомнение его надежды на публичную реабилитацию. Это ощущение лишь усилилось спустя несколько дней, в течение которых из Петербурга не последовало никакой реакции и на аналогичные настояния Барклая относительно «Объяснения».

Он не без основания увидел во всем этом явное неодобрение царем своих полководческих действий, счел себя вдвойне оскорбленным и принял решение выйти в отставку. Этот комплекс переживаний отразился в одном из более поздних писем Барклая к царю, где среди главных доводов, побудивших просить его об отставке, прямо называет отказ царя напечатать в правительственной прессе его оправдания. Напомнив, в частности, о порочащем его кутузовском рапорте от 4 сентября, Барклай констатирует: «Молчание самого Правительства относительно меня и позволение сделать это замечание (т.е. замечание Кутузова об обусловленности потери Москвы сдачей Смоленска.— *А.Т.*) официально публичным должно было подтвердить неблагоприятные мнения на мой счет». «При таких обстоятельствах,— пишет он далее,— Вы, Ваше величество, и моя честь обязывали меня просить об отставке. Я твердо решил скорее идти на нищету... чем продолжать карьеру, в которой за всю мою службу, за усердие и личную привязанность мою к сво-

ему Монарху, я получил только позор глубоко обесчещенной репутации»[65].

Мысли об отставке посещали Барклая еще до отъезда из армии. Впервые он высказал их Александру I накануне Бородина — 24 августа, затем дважды напоминал об этом в письмах к нему от 11 и 24 сентября — в последнем признавался: «Мое единственное желание... быть совершенно уволенным от службы»[66]. 14 сентября Закревский сообщал М.С. Воронцову, что «Барклай три письма писал к Государю и просился, чтобы его отставили, но ни на одно еще не получил ответу»[67]. Однако формально это были лишь частные пожелания и просьбы к царю, не имевшие юридического значения и его ни к чему не обязывавшие.

Теперь же, в Новгороде, когда ситуация более чем прояснилась, свое окончательное решение Барклай оформляет в виде официального прошения на имя Александра I, где, ссылаясь на увечья и раны, полученные в продолжение 42-летней службы, на «расстроенное во всех частях здоровье», просит «от оной уволить». Прошение, подлинник которого, как сказано здесь, «писал со слов просителя квартирмейстерской части полковник Петр Андреев сын Чуйкевич», датировано 7 ноября 1812 г.[68]

Поскольку же ни с Е.В. Кавером в конце октября, ни с кем-либо еще в последующие дни не было получено царского ответа на еще месячной давности просьбу о разрешении приехать в Петербург, то Барклаю стало ясно, что перспективы личного объяснения со «своим Монархом» для него уже исчерпаны. А неопределенность в отношениях с Александром I, опасения, что он вконец разуверился в нем, осуждает его, разделяя всеобщие подозрения в измене,— все это было для Барклая не менее мучительным, чем невозможность публичного оправдания.

«Изображение»

Отсюда — одновременно с просьбой об отставке — и родилась идея еще одной, но теперь уже сугубо конфиденциальной, адресованной лично царю, оправдательной записки, в которой он мог бы перед ним в развернутой форме защитить свою репутацию. Речь идет об упомянутом выше «Изображении военных действий 1-й армии в 1812 году». В препроводительном письме Алек-

сандру I от 9 ноября Барклай прямо указал на то, что оно составлено «единственно для того, чтобы быть прочтенным вашим императорским величеством», поскольку «содержит в себе такие подробности и обстоятельства, которые подлежат только вашему ведению». Здесь столь же недвусмысленно сказано и о непосредственной связи представления царю этой секретной записки с невозможностью личного свидания с ним: «Я не мог получить позволения на поездку в Петербург... я не питаю более надежды повергнуть себя к стопам вашего величества. Вот почему я счел своим долгом отдать вам, государь, отчет в военных действиях армии, которую вам благоугодно было вверить мне»[69].

«Изображение» сильно отличается от предшествующих оправдательных записок. Если в «Объяснении» Барклай широкими мазками рисовал ход боевых операций, стремясь донести до публики в первую очередь их стратегический смысл и показать, что причины отступления армии в глубь страны и сдачи Смоленска коренились не в его грубых просчетах и злом умысле, а в объективном соотношении сил воюющих сторон, то в письменном отчете царю, который обо всем этом был достаточно осведомлен, незачем было подробно затрагивать стратегическую сторону дела. Слегка коснулся он ее лишь в сопроводительном письме от 9 ноября. Отметив, что «руководил действиями армии таким образом, чтобы последствием было уничтожение неприятеля», Барклай далее пишет: «Военные дела приняли ныне тот оборот, который ваше императорское величество предвидели при начертании общего плана кампании» — тем самым напоминает царю и о его ответственности за образ действий, вызвавших столько упреков в адрес Барклая.

Все внимание сосредоточивает он в «Изображении» на рассказе о предводительствовании 1-й армией, причем с такой конкретностью и с таким знанием дела, какие мало кому были тогда доступны. Впечатляюще описаны боевая обстановка под Смоленском, Бородинское сражение и совет в Филях — никто другой из присутствовавших на нем не осветил его столь достоверно и точно, вплоть до передачи атмосферы прений и речей военачальников. Барклай здесь снова отрицает какую-либо связь оставления Смоленска со сдачей Москвы, полагая, что в ее окрестностях Кутузов упустил шанс разгромить французов,

подвергая его критике за просчеты в руководстве войсками и беспорядки в армии, раскрывая по ходу дела свои разногласия с главнокомандующим.

«Изображение» вообще заключает в себе немало не подлежавших в ту пору огласке сведений о закулисных сторонах жизни русского штаба в 1812 г. В отличие от сдержанного тона оправдательных записок, почти лишенных персональных аллюзий, в «Изображении» Барклай откровенно пишет о противоборстве «партий» в главной квартире, тяжелых отношениях с Багратионом, об оппозиции со стороны высшего генералитета и царской свиты, в том числе и великого князя Константина Павловича. «Изображение» наполнено выпадами против известных военачальников, особенно из окружения Кутузова. Суровой оценке удостаивается и Беннигсен, «гордящийся похищенною им славою и почитающий себя первым генералом в свете»,— еще «с самой Вильны питал он ко мне злобу по неудаче его происков для получения некоторого влияния на управление армией».

Но, пожалуй, резче всего отзывается Барклай о Ермолове — выше мы уже приводили нелицеприятную его характеристику из «Изображения» как «интриганта», плетущего при поддержке Багратиона и великого князя тайные козни против главнокомандующего 1-й армией.

В 30-е годы Д.В. Давыдов в мемуарно-историческом повествовании «Материалы для истории современных войн» пытался по-своему интерпретировать мотивы столь отрицательного отзыва Барклая о Ермолове. Старый поэт-партизан рассказывал, что известные нам письма Ермолова к Александру I лета 1812 г. с уничижительными оценками Барклая и требованием смещения его с высших военных постов «были даны в оригиналах государем Кутузову при отправлении» его в армию. По смерти же Кутузова «эти письма Ермолова перешли к Барклаю», что бесповоротно настроило «против него Михаила Богдановича, который не упускал впоследствии случая ему, по возможности, вредить»,— «вот истинная причина, почему Барклай невыгодно отозвался в своем Изображении военных действий 1-й армии о Ермолове»[70].

«Причина» была, однако, не в этом, не в обстоятельствах более позднего времени, связанных, в сущности, не с чем иным, как с вероломством царя по отношению к Ермолову, а в собственных впечатлениях Барклая от

его недоброжелательства летом 1812 г., что Давыдов, всю жизнь прославлявший Ермолова, стремился всячески сгладить.

Объяснение это, даже если сам рассказ Давыдова о судьбе ермоловских писем верен, не выдерживает критики и с чисто фактической стороны. Ему, вероятно, осталось неизвестно время составления «Изображения» — текст его не был датирован, а препроводительное письмо Барклая от 9 ноября 1812 г., из которого и можно было точно судить об этом, увидело свет лишь в начале XX в. Но, как бы то ни было, Барклай получил ермоловские письма к царю, видимо, не ранее мая 1813 г., при вступлении в должность командующего русско-прусскими армиями, и повлиять это на то, что он писал в «Изображении» о Ермолове в ноябре 1812 г., никак, естественно, не могло.

Конечно, многие суждения Барклая пристрастны, односторонни, несправедливы, некритичны в отношении собственных действий. Но переживая уже несколько месяцев глубокую травму, чувствуя себя смертельно оскорбленным, он дал, наконец, волю своим чувствам, не пожелав кривить душой даже перед царем. В этом же и несомненная ценность «Изображения», непосредственно запечатлевшего живой, не искаженный последующим ходом времени взгляд полководца на драматические события 1812 г. и остроту борьбы вокруг него в военно-общественных кругах.

Не имея при себе никакой штабной оперативной документации, Барклай строил свое повествование, основываясь на личных впечатлениях, на памяти (на это, в частности, указывают очевидные ошибки в датах, которые при составлении «Изображения» не могли быть проверены документально, например, днем соединения армий у Смоленска показано 23 июля, тогда как произошло это 21-го, днем прибытия армии в Гжатск — 18 августа вместо 19-го и т.д.). В этом смысле «Изображение» при насыщенности военно-историческими реалиями и при своих оправдательно-полемических целях представляет собой, в отличие от других оправдательных записок Барклая, произведение не публицистического, а мемуарного преимущественно характера, причем весьма значительное по объему — опять же сравнительно с предыдущими: текст «Изображения» составляет около двух печатных листов. («Примечание»

и «Объяснение», написанные как газетные опровержения, не выходили за пределы 1,5—3 страниц.)

К 9 ноября 1812 г. «Изображение» было закончено и перебелено. Доставить его в Петербург Барклай поручил — ввиду особой важности дела — не кому-либо из адъютантов, а Закревскому. Как помним, он еще 6 ноября сообщал А.Я. Булгакову, что «через неделю или две» поедет в Петербург. Вероятно, уже тогда вопрос об этом поручении был решен, и Закревский ждал только, когда будет готов документ, что объясняет и неопределенность указания времени отъезда: то ли одна неделя, то ли две. Вместе с тем составление «Изображения» совпало по времени с прошением об отставке, датированным 7 ноября. Это позволяет понять и смысл следующей далее фразы из процитированного письма Закревского к А.Я. Булгакову: «а Михайло Богданович ожидает здесь на просьбу его решения», т.е. Барклай останется ждать в Новгороде удовлетворения его ходатайства об отставке, которое вот-вот будет оформлено для отсылки в Петербург.

Мы располагаем подлинником «Изображения», представленным Александру I. Но, вопреки указанию М.И. Богдановича на «немецкий» подлинник[71], писан он по-французски — упомянутым выше А.И. Барклаем де Толли[72]. Сохранился и его французский черновик. По мнению В.В. Пугачева, он написан самим М.Б. Барклаем де Толли[73],— на самом деле это писарский текст, писанный рукой того же А.И. Барклая де Толли, который фиксировал его, видимо, под диктовку полководца или по его предварительным наброскам. Черновик несет на себе следы обширной правки писарским почерком, но некоторые вставки на французском и немецком языках принадлежат М.Б. Барклаю де Толли. Участие А.И. Барклая де Толли в подготовке чернового текста и белового подлинника «Изображения» устанавливается бесспорно не только по почерку, но и свидетельством прекрасно осведомленного на этот счет А.Л. Майера, вспоминавшего четверть века спустя, что в 1812 г. «по приказанию родного дяди своего, Михайлы Богдановича Барклая де Толли» он «составил... краткое Обозрение действий 1-й Армии»[74].

Если можно допустить, что «Изображение» было подготовлено в указанные выше несколько дней, то только в том отношении, что за эти дни ему был придан вид

связного и целостного повествования. Но вся напряженная работа над таким объемным и сложным по составу произведением, со множеством дат, цифр, фактических данных, вряд ли могла быть выполнена за столь короткое время. Думается, что Барклай давно исподволь вынашивал и обдумывал то, что потом стало называться «Изображением»,— как личные воспоминания о своем участии в кампании и как материал для обстоятельного в будущем оправдания.

Закревский повез в Петербург «Изображение» вместе с прошением об отставке 10 ноября. В тот же день он сообщил А.Я. Булгакову: «Я сего дня еду в Петербург, отколь буду вам писать». В списке «приехавшим в столичный город Санкт-Петербург с 10 по 13 ноября» отмечено: «из Новогорода лейб-гвардии Преображенского полка полковник Закревской»[75].

Барклай же, не дожидаясь в Новгороде решения на просьбу об отставке, отбыл примерно тогда же в свое лифляндское имение Бекгоф. Слух об этом дошел до Петербурга. 22 ноября И.П. Оденталь извещал А.Я. Булгакова: «Барклай из Новгорода прямо поехал в Лифляндские свои гаки». 16 ноября он писал оттуда к А.Л. Майеру: «Несколько дней тому назад я благополучно прибыл в мою деревушку и чувствую себя совершенно довольным, как человек, который после жестокой бури нашел убежище в тихой гавани. Я теперь ничего более не желаю, как полной отставки, дабы забыть все, что напоминает мне прошедшее, и сделаться простым гражданином»[76].

Но стать «простым гражданином» Барклаю так и не довелось.

«Оправдание»

Не прошло и двух недель после приезда в Бекгоф, как из Петербурга было доставлено письмо от Александра I (датировано 24 ноября). Но это был вовсе не ответ на прошение об отставке, а пространное изъяснение царем своей позиции относительно Барклая в течение 1812 г.— «мой настоящий образ мыслей на счет вас и событий». Оно, бесспорно, явилось откликом на «Изображение», хотя его текст ни разу здесь не назван,— Александр I упоминает только предпосланное ему письмо Барклая от 9 ноября.

Упрекнув его не без лицемерия в том, что усомнился в своем праве в любое время без всякого дозволения прибыть в Петербург, где «я ждал вас» и «от всей души хотел переговорить с вами с глазу на глаз», намекнув на то, что он сам имел основания быть обиженным на полководца, к которому всегда испытывал «приязнь и уважение», Александр I в несколько извинительном тоне излагает далее причины, по которым произошло удаление Барклая от его постов.

Доводы царя сводились, как мы помним, к ссылкам на непростительные просчеты Барклая и требования его смещения со стороны общественного мнения, что лишь камуфлировало собственное решение Александра I удалить полководца от дел. Подчеркивая вынужденный характер его устранения, царь давал понять, что ныне ничто уже не стоит между ними: «Мне только остается сохранить вам возможность доказать России и Европе, что вы были достойны моего выбора, когда я вас назначил главнокомандующим». Полагая, что Барклаю следовало оставаться в армии,— «бывают случаи, когда нужно ставить себя выше обстоятельств», Александр I писал, что, раз «борьба еще не окончена», «вам... представляется возможность выдвинуть ваши воинские доблести, которым начинают отдавать справедливость»,— ни о какой отставке в свете всего этого речи уже быть не могло. Но самое главное, стоившее всего письма, всех царских заверений и комплиментов, заключали в себе его последние строки: «Я велю опубликовать обоснованное оправдание ваших действий, выбранное из материалов, присланных мне вами»[77].

Письмо от 24 ноября знаменовало собой перелом в отношении Александра I к Барклаю. Сейчас трудно точно судить, что к тому его подтолкнуло.

Возможно, после того как 15—17 ноября Наполеону удалось на Березине уйти от преследования, царь в преддверии упорной борьбы за рубежами России решил вернуть в армию военачальника такого масштаба и с таким боевым опытом, тем более что недовольство им явно шло на спад. Это решение могло быть подсказано Александру I и самим Барклаем. В письме от 9 ноября, еще за неделю предвидя, что Наполеон ускользнет от Чичагова на Березине и боевые действия перенесутся в Герцогство Варшавское, он высказал удивительный по своей прозорливости взгляд на характер развития военных со-

бытий в следующем году,— повторяем, еще 9 ноября, когда в верхах русского командования никто и не задумывался о заграничном походе: «Надо быть готовым весною к весьма активным операциям. Между тем, не вижу, чтобы об этом шла речь. Ваша армия, государь, по крайней мере та, которую я оставил, в плохом состоянии...» Пока еще она «действует в защиту отечества, под влиянием народного духа. Но вне страны она не будет тем, чем должна быть... В будущую кампанию надо будет оказывать покровительство народам, успокаивать их, брать крепости, что требует больших приготовлений и много единодушия»[78].

Вовсе не безосновательно предположить, что Александр I, относившийся к Кутузову с органической неприязнью и крайней подозрительностью, надеялся на исходе войны каким-то образом противопоставить ему Барклая, который, как можно было убедиться из того же «Изображения», не питал к главнокомандующему добрых чувств. Подтверждение этому находим в записках В.Р. Марченко, с начала ноября состоявшего помощником статс-секретаря Государственного совета и постоянно общавшегося с Александром I, а затем сопровождавшего его в армию: «Неизвестность о намерениях Кутузова и дурные об нем вести едва не довели Государя до того, чтобы снова приняться за Барклая»[79].

Так или иначе, но Барклай впервые получил долгожданное обещание Александра I содействовать его публичному оправданию, и это принесло ему глубокое удовлетворение.

27 ноября он ответил благодарственным письмом и стал готовиться к отъезду в Петербург. В эти же дни Александр I, лично распорядившийся, как свидетельствовал В.Р. Марченко, отправить за Барклаем фельдъегеря, с нетерпением ждал его в столице и, по преданию, перед тем как в ночь с 6 на 7 декабря отбыть в армию, трижды посылал справиться, не приехал ли он еще[80]. Вездесущий И.П. Оденталь сообщал 6 декабря А.Я. Булгакову: «За Барклаем посылали в деревню и, как мне сказывали, он уже здесь». Барклай, однако, царя не застал, прибыв в Петербург не ранее 8 декабря. В списке «приехавших в столичный город Санкт-Петербург с 8 по 11 декабря» отмечено: «Из Валк генерал от инфантерии Барклай де Толли». Он остановился как частное лицо в доме своего давнего друга Л.Л. Майера, сын которого —

А.Л. Майер, как мы уже не раз отмечали, неотлучно находился при нем весь 1812 год,— указание на это находим в собственноручных заметках А.Л. Майера на печатном экземпляре висковатовской биографии полководца[81]. 12 декабря он присутствовал на торжествах в Зимнем дворце по поводу дня рождения императора, где был потрясен пренебрежительным невниманием к себе придворных сановников и генералов, расценив это как рецидив перенесенных им еще совсем недавно гонений.

Далее следы Барклая теряются. По одним сведениям, от расстройства он надолго слег больным, по другим — тут же вернулся в лифляндское имение[82], и о времени его приезда в главную квартиру армии, уже перешедшей русскую границу, прямых указаний в источниках и литературе мы не находим.

Биограф и отдаленный потомок Барклая Ф.П. Веймарн писал, что он «был вызван государем, находившимся в Герцогстве Варшавском, в Плоцке и 3(15) февраля назначен вместо Чичагова» главнокомандующим 3-й армии. На то, что Барклай достиг главной квартиры в Плоцке, указывал в своих записках и М.А. Баталин. По воспоминаниям В.Р. Марченко, вопрос о назначении Барклая на новый пост был предрешен будто бы еще по приезде Александра I в Вильно в декабре 1812 г., когда Чичагов «попросил увольнения».

Но главная квартира с царской свитой и кутузовским штабом обосновалась в Плоцке только 24 января 1813 г., предписание же об определении Барклая главнокомандующим 3-й армии датировано 31 января[83]. Таким образом, если верить приведенным выше свидетельствам, то надо будет признать, что Барклай приехал в армию на уже подготовленную для него должность буквально за несколько дней до того, как ее занять.

На самом деле все обстояло несколько иначе, и приезд Барклая в армию отодвигается на более раннее время.

Еще 6 января 1813 г. А.А. Закревский писал из Петербурга А.Я. Булгакову: «Михайла Богданович по высочайшему повелению послезавтра отправляется в армию», а 13 января Кутузов сообщал жене: «Барклая ожидаем; я думаю, мы с ним не поссоримся, тем более что и не вместе будем жить». Следовательно, не рискуя впасть в ошибку, можно полагать, что Барклай приехал в главную квартиру 13—14 января, когда она находилась в Иоганнесбурге. Пребывание в эти дни здесь Александра I

подтверждается его перепиской с сестрой. Приезд Барклая в главную квартиру царя к середине января 1813 г. устанавливается также данными его английской биографии и дневниковым свидетельством находившегося там тогда Р. Вильсона[84].

Покидая Петербург, до прибытия в армию Барклай не знал, что его ждет там, в каком качестве будет использован и чем именно будет командовать,— он просто ехал в главную квартиру по вызову царя. Отлично осведомленный в армейских делах Закревский, в это время уже приближенный Александра I (еще в декабре он был пожалован во флигель-адъютанты), 14 января 1813 г. писал тому же А.Я. Булгакову: «Совершенно не известно, чем будет командовать Барклай, он мне напишет, коль скоро получит свое назначение»[85].

Военный историк А.Т. Борисевич заметил по этому поводу: «Странная судьба постигла главнокомандующего, успевшего явиться в главную квартиру к началу заграничного похода. Около месяца Барклай оставался не у дел и только в конце января 1813 г. принял так называемую армию Чичагова»[86].

В том, что Барклай, вовремя приехавший в армию, столь долго (разумеется, не «около месяца», а — мы видели — более двух недель, что тоже не так уже мало) «оставался не у дел», Борисевич усматривал очередную «странность» в его биографии, вызванную, видимо, как и в других случаях, происками враждебных ему сил. «Странность» эта имела под собой действительно серьезные основания, но они были совсем не того свойства, о каком думал Борисевич.

В 40-х годах XIX в. А.В. Висковатов писал: «Мы не могли достоверно узнать, где и как происходило первое свидание императора Александра с Барклаем де Толли по прибытии последнего из Петербурга, а сколько важного и любопытного должно было заключать в себе это свидание!»[87]

Ныне мы можем пролить на это некоторый свет, поскольку дело касается еще одной оправдательной записки полководца, которая так и называется: «Оправдание генерала Барклая де Толли».

Прежде всего — о времени ее создания.

Н.И. Казаков датировал «Оправдание» началом 1813 г., но из его текста это совершенно не следует, каких-либо аргументов в пользу данной даты он не привел[88]. В

публикации «Оправдания» по неисправному списку Б.М. Колюбакиным, о которой мы еще скажем далее, после названия было указано: «15 дек. 1812 г.» Заметим, опять же забегая немного вперед, что ни в одном из авторитетных списков «Оправдания», восходящих непосредственно к Барклаю, этой даты нет. Ее ошибочность выявляется при обращении к датирующим признакам самого документа. В конце его мы читаем: «Кичливый враг обратился, к стыду своему, в ужаснейшее для него бегство»,— т.е. об изгнании наполеоновской армии из России говорится как о продолжающемся процессе. Так можно было сказать не позже начала декабря 1812 г., когда остатки «Великой армии» ретировались за русскую границу на Немане. Тут же автор пишет о «приближении 3-й Молдавской армии к Минску»[89]. Авангард армии Чичагова, следовавшей с юга для упреждения французов на Березине, достиг Минска 4 ноября, а основные ее силы подошли к городу 7 ноября[90], о чем Барклай, где бы он ни находился тогда, неделю спустя должен был непременно знать. Это хронологически последнее упоминание в «Оправдании» боевых действий позволяет уточнить его датировку, ибо о последующем их развитии автору уже ничего не известно, в том числе и о катастрофическом поражении неприятельской армии на Березине 16—17 ноября; знай же Барклай что-либо о нем, это не могло бы не отразиться в тексте записки. Сведения о Березинской катастрофе дошли до Петербурга и близлежащих губерний, насколько можно судить по газетным известиям и частной переписке, не позднее середины 20-х чисел месяца[91]. Значит, по совокупности этих данных, время составления «Оправдания» может быть определено серединой 10-х — серединой 20-х чисел ноября 1812 г.

Итак, не смирившись с запретом царя на публичную защиту своей репутации, Барклай по приезде в лифляндское имение составляет новый оправдательный документ, но, конечно, не для себя лично, не в стол, а предполагая, видимо, его обнародовать при первом же представившемся случае.

Понятно, что «Оправдание» теснейшим образом связано с законченным за три недели до того, но так и не увидевшим света «Объяснением»,— именно по этой причине его установки и содержание продолжали сохранять для Барклая животрепещущий смысл. Как и в «Объяснении», он берет здесь, так сказать, под свою «опе-

ку» обе западные армии и отстаивает не только свой авторитет, но и достоинство руководимых им войск: «Порицаемая вместе со мною честь моих сподвижников (отметим попутно это демократически уважительное наименование подчиненных ему офицеров и солдат.— *А.Т.*), явивших чудеса геройства и примерной любви к отечеству, убеждает изложить пред лицом всего отечества к собственному успокоению его полный отчет в делах моих относительно сего чрезвычайного времени».

Из «Объяснения» Барклай заимствует его политико-стратегическую концепцию, общую линию защиты своих полководческих усилий, узловые положения военно-исторического порядка. В итоге примерно половина текста «Объяснения» с некоторыми редакционными изменениями вошла в состав «Оправдания», что, кстати, как мы отмечали, и послужило для ряда историков поводом к ошибочной идентификации этих различных в своей основе произведений. Различных потому, что в стремительно изменившейся военной обстановке Барклай вносит существенные коррективы и уточнения в старый текст, дополняет и обновляет его, сообщает ему иные оттенки и иное, чем прежде, звучание, не говоря уже о том, что по объему «Оправдание» превосходит его в два с лишним раза.

Основному изложению Барклай предпосылает яркое публицистическое введение, где отмечает необычность «начала нынешней войны» (т.е. отступление армии в глубь страны), породившего «бесчисленное множество суждений среди народа русского, целый век уже страшного врагам своим во всех странах мира!». Далее Барклай очерчивает меры по подготовке кампании и преобразованию армии в качестве Военного министра на фоне военно-дипломатических событий начала века.

Доводы в свое оправдание Барклай подкрепляет конкретным описанием расположения русских войск на западных рубежах, операционных планов противоборствующих сторон, отступательных маневров и крупных сражений — на уровне не только армий, но и корпусов, всякий раз поясняя, чем руководствовался он в тех или иных ситуациях. Доведя рассказ до «беспримерного сражения» под Бородином и отметив первые успехи в преследовании неприятеля, Барклай истолковывает это как подтверждение правильности избранного им способа ведения войны, что только и позволило сохранить бое-

способность армии: «Теперь сии самые успехи, совершив спасительный план наш, доказали пред целым светом, что план сей был плод обдуманной предусмотрительности и верного соображения всех впереди обстоятельств». Заключая «Оправдание», он с нескрываемым презрением к своим оппонентам-злопыхателям замечает: «Изобразив здесь истину во всей наготе ее, я предаю строгому суду всех и каждого дела мои; пусть всяк, кто хочет, укажет лучшие меры, кои бы можно было изыскать и принять к спасению отечества в столь критическом и ужасном для него состоянии; пусть после сего ненависть и злословие продолжают изливать яд свой, я отныне не страшусь и не уважаю их».

Но особую остроту «Оправданию» придавала открыто выраженная в нем личностная интонация. В отличие от «Объяснения», где доминировал спокойно-объективный тон, фигура автора была скрыта за нейтральными «мы», «наши» и т.д., а местоимение «я» употреблялось всего один раз в заключительном абзаце, весь текст «Оправдания» Барклай с резкой определенностью строит от своего имени — как документ личной и далеко не беспристрастной защиты: «Я, будучи покоен в моей совести...», «Я по важной обязанности моей...», «Я получил о том уведомление...» и т.д. Наиболее выразительна в этом плане вводная часть «Оправдания». Говоря здесь о нападках на неизбежно отступательный характер войны на начальном ее этапе — о «различных толках» и «странных вымыслах», обратившихся «к порицанию лиц, на коих лежало обеспечение блага общего», Барклай с редкостной прямотой напоминает, что речь идет именно о нем и что ради интересов России, требовавших неукоснительного сохранения военной тайны, он сознательно жертвовал своим добрым именем: «К сожалению, осторожность не позволяла предварить публику о критическом положении отечества. Я скорее должен был в сем случае решиться на принесение в жертву репутации своей, нежели преждевременным оправданием себя перед народом расстроить единственные средства к отражению грозы, толико ужасной!»[92]

Можно допустить, что данный текст «Оправдания» Барклай и представил в середине января 1813 г. Александру I,— это было тем более естественно, что сам же царь в последнем своем письме обещал «опубликовать обоснованное оправдание» его действий.

Это предположение зиждется на следующих доводах.

Текст «Оправдания» сохранился — писарский авторизованный список, находящийся в составе подлинников конфиденциальных писем и донесений Барклая к Александру I за 1812 — начало 1813 г. Как и все секретные военно-политические бумаги того времени, адресованные царю, эти барклаевские документы сразу же по прочтении передавались им Аракчееву и хранились в его архиве, а спустя много лет после войны поступили в государственные архивы[93]. Отметим также, что барклаевские бумаги подложены в архивном деле и зафиксированы в приложенной к ним описи в той хронологической последовательности, в какой они поступали к царю, а затем — к Аракчееву, и список «Оправдания» значится здесь последним, вместе (это важно для последующего изложения) с письмом Барклая к Александру I от 27 января 1813 г.— он как бы приложен к нему[94].

Следовательно, само нахождение здесь, среди оригиналов секретных бумаг 1812 г. из аракчеевского архива, списка «Оправдания» есть неоспоримое доказательство того, что первоначальным его адресатом был Александр I, а попасть к нему в то время и в тех условиях он мог только от самого автора — Барклая де Толли.

Еще одно небезынтересное наблюдение в связи с этим списком. Вчитываясь в него, нетрудно заметить, что по общему облику писарского текста и, главное, по характеру написания отдельных слов список несколько архаичен для начала XIX в., не вполне соответствует принятым языковым нормам того времени и в этом отношении сильно напоминает тоже достаточно старомодную графическую манеру немногих дошедших до нас собственноручных документов самого Барклая на русском языке, осложненную к тому же нетвердым знанием им норм русского правописания (например, его письма к П.П. Коновницыну и Аракчееву за 1812—1813 гг.)[95]. Там и здесь мы сталкиваемся с таким написанием, как «притчины», «лутчую», «дватцати», «недро самого отечества», как последовательное опущение мягкого знака: «разорителной», «Тилзитского», «следователно», «сиятелство» и т.д. Стало быть, писарский список, о котором мы ведем речь, изготовленный по поручению Барклая кем-то из близких к нему лиц, видимо, еще до приезда в армию — в лифляндском имении или в Петербурге, возможно, восходит к

собственноручно написанному полководцем подлиннику «Оправдания», являясь его довольно точной копией.

Как же «Оправдание» было воспринято Александром I? Косвенно судить об этом позволяет упомянутое выше собственноручное письмо Барклая царю от 27 января 1813 г., целиком посвященное вопросу о его реабилитации. В нем явственно различимы отзвуки их жарких споров и разногласий.

Любопытно, что письмо написано в том же Плоцке, где находился тогда Александр I, и, следовательно, представляет собой не документ почтовой связи между разделенными расстоянием людьми, а переданную из рук в руки записку. В черновом тексте письма рукой Барклая помечено по-французски: «Написано и передано Его Величеству 27 января 1813 в главной квартире в Плоцке на Висле», а судя по помете Аракчеева на подлиннике письма «Получено от государя 27 января», в тот же день оно было передано ему на хранение царем[96]. Письмо представляет собой опыт связного изложения Барклаем своих взглядов по столь волновавшему его тогда вопросу, как бы продолжение и в известном смысле подведение итогов устных бесед с царем. Об этом свидетельствует, в частности, такая характерная оговорка. Объясняя, почему ему пришлось обратиться к нему письменно, Барклай указывает на то, что «последний раз, когда я имел счастие представляться вашему величеству, сердце мое было так стеснено, что я не в состоянии был высказаться». Ясно, что речь шла о сравнительно недавнем разговоре с царем (а ему наверняка предшествовали и другие подобные беседы,— зачем было тогда писать о «последнем» представлении), который так огорчил Барклая и привел его в настолько расстроенные чувства, что чуть ли не лишил дара слова.

Что же за этим стояло?

Рассказывая о пребывании Барклая в главной квартире Александра I в январе 1813 г., его английские биографы отмечают: «Встреча с царем... не оправдала надежды Барклая и тяжело подействовала на его сердце. Вопреки обещанию царя опровергнуть утверждения Кутузова, в печати ничего не появилось. Атмосфера была настолько напряженной, что Барклаю стало трудно объясняться с царем лично, и он опять направил ему письменное послание» — и далее цитируется упомянутое только что письмо Барклая от 27 января[97].

Несомненно, таким образом, что дело было в отклонении просьбы Барклая обнародовать в России «Оправдание» от его собственного имени,— а именно для того он и представил его Александру I, приехав в главную квартиру. (В свете этой событийно непосредственной, органической связи «Оправдания» с письмом от 27 января, явившимся реакцией Барклая на обсуждение судьбы данного документа с царем, и можно понять, почему список «Оправдания» был приложен к письму при передаче его Аракчееву.) Как выясняется из этого письма, царь мотивировал свой отказ весьма вескими доводами. Упомянув о желании быть «оправданным перед глазами всего света», Барклай заверяет Александра I, что ему «не дозволено надеяться на это с точки зрения политики», и что даже «лучший из Монархов не всегда в состоянии следовать движению своего сердца, и что часто государственные интересы требуют принесения к жертву вернейшего из его слуг».

Вполне отчетливо раскрывается тем самым позиция Александра I в спорах с Барклаем — он убеждает его в политической нецелесообразности публикации «Оправдания» с его столь острой самозащитой и личностной окраской, ибо, произведя сенсацию и смятение в умах многих, это обнажит неблагополучие и раздоры в верхах командования русской армии, подорвет ее престиж в общественном мнении и не послужит делу сплочения всех сил для борьбы с неприятелем. Тем более это нежелательно и вредно в настоящий момент, когда война перенесена за границу и России предстоит возглавить коалицию высвобождающихся от французского гнета европейских стран против Наполеона.

Нельзя сказать, чтобы в этих гипотетически реконструированных доводах царя не было резонов. Ими отчасти, а не только злопамятным раздражением Александра I из-за просчетов и непослушания Барклая под Смоленском, диктовалось и его упорное молчание в октябре — ноябре 1812 г. по поводу просьб обнародовать предшествующие оправдательные записки полководца — тогда еще наполеоновская армия находилась в пределах России и такие дискредитирующие русское командование публикации могли иметь еще более опасные для военно-государственных интересов страны последствия.

Но ведь и у Барклая были свои резоны. Правда, они проистекали не из высших государственных соображений, а из его представлений о личном достоинстве и воинской чести, но для Барклая, поскольку дело касалось репутации предводительствуемых им войск, это обретало, как мы видели выше, значение «государственного дела».

Тем не менее он готов был внять убеждениям Александра I и, видимо, пойти ему навстречу — в том отношении, чтобы на худой конец оправдание, как это и было предусмотрено в письме царя от 24 ноября 1812 г., появилось в печати не от его собственного имени, а в виде официального документа, реабилитирующего полководца от имени правительства. Не случайно письмо Александру I от 27 января 1813 г. он начинает с благодарности за его письмо от 24 ноября и с напоминания о содержащемся там обещании «приказать напечатать для сведения публики небольшого резюме кампании для того, чтобы снять с моей репутации тень в глазах этой же публики». И весь последующий текст письма от 27 января есть, в сущности, обоснование необходимости опубликовать в правительственной прессе это «резюме». Перечислив основные вехи своих взаимоотношений с Александром I от начала кампании до подачи прошения об отставке, указав на невзгоды, перенесенные после назначения в армию Кутузова, в том числе — в который уже раз! — на печатно оглашенный упрек в свой адрес о потере Москвы как следствии сдачи Смоленска, Барклай в беспрецедентно жестком, почти ультимативном тоне настаивает на публикации «резюме» в качестве условия возвращения в армию и занятия в ней командных постов. «Есть еще нечто, что гнетет мою душу и может сделать меня неспособным служить делу моего Государя и родины с тем усердием и уверенностию, которые необходимы в делах»,— осторожно формулирует он свое требование в начальной части письма и предельно заостряет его в заключении: «Моя опороченная репутация не позволяет мне быть полезным на службе, пока мой Государь не сочтет за благо оправдать мои политические и военные действия»[98].

Александр I счел, видимо, это «за благо» и, надо полагать, пообещал Барклаю, что это оправдание в той или иной «безличностной» форме будет обнародовано правительством. Барклая это вполне устраивало, и он дал согласие на вступление в службу. (В этом, между прочим,

и состоит разгадка той «странности» долгого пребывания Барклая в главной квартире «не у дел», о которой писал А. Борисевич,— он твердо отказывался занять какую-либо должность в армии до тех пор, пока не решится вопрос о его реабилитации.) Иначе нельзя объяснить тот факт, что прошло всего три дня после 27 января, когда Барклай вручил царю письмо со своим ультимативным требованием, как 31 января последовало предписание Кутузова о назначении его главнокомандующим 3-й армией, а 3 февраля он уже принял управление ею[99].

До нас дошли документальные данные о том, что Александром I были предприняты тогда и некоторые усилия по претворению в жизнь его обещания Барклаю.

В том же архивном деле, где сосредоточены ныне передававшиеся царем Аракчееву военно-политические бумаги Барклая за 1812—1813 гг., вместе с авторизованным списком «Оправдания», предназначенным Александру I, находится еще один его список, полностью с ним идентичный, на бумаге с водяным знаком 1812 г. Он тоже писан писарским почерком, но отличным от почерка списка Александра I, с расположением текста «Оправдания» в правой стороне каждого листа и с замечаниями Аракчеева на полях в левой[100]. Так, против указаний Барклая на подготовку к войне в 1810—1811 гг., увеличение численности русских войск, решение придерживаться отступательной тактики Аракчеев на полях отмечает: «Здесь приложить ведомость, что оставлено в Военном Департаменте 1810 года 1 генваря артиллерии, оружия, пороху...», «Здесь поместить число заготовленных запасов хлеба и фуража...», «Здесь поместить число войск до открытия кампании...»; против текста, следующего за описанием дислокации русских войск на границе перед вторжением Наполеона, Аракчеев пишет на полях: «Здесь можно сказать, почему армия не расположена была на Двине, почему провинции Литовские не заняты одними лехкими войсками» и т.д.[101].

Сам тип этих замечаний, имеющих дополняющий и уточняющий, а отнюдь не полемический характер, в сочетании с палеографическими признаками списка и его местоположением в архивном деле говорит о многом. Вполне определенно можно считать, что Александр I, как и в других конфиденциальных делах, обратился к своему

временщику, поручив превратить «Оправдание» в правительственный документ, реабилитирующий полководца, и с этой целью специально для Аракчеева был изготовлен настоящий список. Он предполагал насытить его военно-историческими сведениями, призванными как бы растворить в себе барклаевский текст, приглушив его личностное звучание. Но работа в этом направлении, только начатая, не получила своего завершения — то ли Аракчеев не смог или не захотел довести дело до конца, то ли Барклай был им неудовлетворен и запротестовал, то ли Александр I, как это бывало обычно, заколебался. Во всяком случае от этого способа оформления правительственного документа в пользу Барклая отказались, вследствие чего, вероятно, появился новый текст «Оправдания», который мы определяем как его вторую редакцию.

Когда в 1830-х годах военный писатель и историк, генерал-лейтенант А.И. Михайловский-Данилевский занялся собиранием архивных материалов для составления фундаментального описания Отечественной войны, среди многих ценнейших источников для него была разыскана в тайниках государственных хранилищ и некая рукопись эпохи 1812 г., правленная рукой Барклая. Ныне она хранится в составе богатейшей коллекции исторических материалов Михайловского-Данилевского о наполеоновских войнах. На обложке ее текст обозначен как копия «с записки Барклая де Толли под заглавием "Объяснение о военных действиях 1 и 2-й Западных армий в 1812 году"». На начальном листе рукописи в заглавии после «Объяснения» следовало указание на автора, позднее зачеркнутое: «генерал от инфантерии Барклай де Толли». В верху начального листа помета: «В сей тетради его превосходительство Александр Иванович найдет собственноручные поправки и отметки покойного фельдмаршала и князя Барклая де Толли».

Совпадение заглавия этой рукописи с названием предшествующего оправдательного документа Барклая лишь подчеркивало их внутреннюю связь.

Она заключает в себе два слоя: один — изначальный, писарский с текстом «Оправдания», другой — текст, сложившийся в результате многочисленных исправлений, зачеркиваний, вставок рукой Барклая в изначальном слое рукописи[102]. Совокупность этих поновлений и позволяет квалифицировать его как черновой подлинник второй

редакции «Оправдания». Мы имеем, таким образом, уникальную возможность воочию проследить сам процесс авторской работы по преображению первой, разобранной нами выше, редакции «Оправдания» (назовем ее так условно) во вторую, которую нам предстоит теперь рассмотреть.

По указанию в тексте на начало 1813 г. и прибытие Александра I в армию в декабре 1812 г., а также при учете выясненных выше обстоятельств отклонения в исходе января первой редакции «Оправдания» эта вторая его редакция может быть датирована временем не ранее февраля 1813 г.

Рядом дополнений Барклай обогатил фактическую канву «Оправдания» — разъяснил связь между боевыми операциями, полнее обозначил их стратегическое значение (например, пребывание армии в Дрисском лагере, оборона Смоленска), уточнил некоторые даты и т.д.

Однако главный смысл правки Барклаем изначального текста «Оправдания» сводился к устранению из него откровенно самозащитной тенденции, всего того, что придавало ему остроту полемического документа со скрытыми инвективами в адрес его прямо не названных критиков. С этой целью Барклай исключил из изначального текста два ключевых в данном отношении абзаца и последовательно заменил первое лицо на третье. Всюду, где раньше употреблялись личные местоимения «я», «мы», «меня» и т.д., Барклай пишет теперь «Правительство», «Главнокомандующий 1-й армией» и т.д. В результате «Оправдание» утратило черты личной реабилитации Барклая, превратившись в повествование, своего рода военно-исторический очерк, написанный кем-то со стороны, но со стремлением, конечно, защитить полководческий авторитет главнокомандующего 1-й армией и Военного министра. Стремление это закреплено в одной из заключительных вставок второй редакции, где, отдавая, казалось бы, должное Кутузову, приведшему русскую армию к победе в 1812 г., Барклай снова утверждает приоритет осуществленного им в начальную пору кампании стратегического замысла: «Здесь оканчивается первая эпоха сей войны. Все, что произвела она далее, до начатия 1813 года, есть следствие распоряжения и действия главного полководца нашего, князя Кутузова-Смоленского, который очень благоразумно держался в точности первоначатого, с благотворительною за-

ботливостию Государем утвержденного плана кампании»[103]. Барклай тем самым подчеркивал преемственность в действиях русского командования в ходе Отечественной войны, и Кутузов представал как проводник его стратегической линии и продолжатель его дела.

Это, разумеется, не могло не задевать репутации старого фельдмаршала — ведь тогда он успешно предводительствовал русскими войсками и находился в расцвете своей славы и официальных почестей. Такой акцент, безусловно, придавал второй редакции «Оправдания» дополнительную остроту, но и известную тенденциозность, ибо полководческое искусство Кутузова в 1812 г., особенно после оставления Москвы, не сводилось только к следованию стратегии Барклая.

При подготовке этой внешне смягченной, но кое в чем, как видим, и заостренной редакции, Барклай — с согласия ли царя, на свой ли страх и риск,— вытравляя личностный характер своих оправданий, пытался именно в нее привнести черты искомого «резюме» и тем приспособить ее для публикации в качестве официального оправдательного документа. Но и этой второй редакции не было дано хода. Какие-либо данные о прохождении ее в 1813 г. в официальную печать не выявлены, и, кроме упомянутых выше ее текстов, а также белового списка, изготовленного по подлиннику уже в 30-х годах XIX в. для А.И. Михайловского-Данилевского[104], ничем более на сей счет мы до сих пор не располагали.

Зато сохранилась третья редакция «Оправдания», известная по писарскому списку из той же коллекции А.И. Михайловского-Данилевского[105].

Список по внешним своим признакам датируется предположительно 1810 — 1820-ми годами и имеет на обложке архивного дела название: «Оправдание М.Б.к. Б.д.Т.», т.е. «Михаила Богдановича князя Барклая де Толли», и чуть ниже — помету, относящуюся, видимо, к времени поступления списка к А.И. Михайловскому-Данилевскому: «Уверяют, что сия рукопись сочинена генерал-фельдмаршалом князем Барклаем де Толли»[106].

Сама же эта редакция датируется концом марта — первыми числами апреля 1813 г.: в конце текста сказано, что «власть» русских войск распространилась «до самой Эльбы». Северная же их группировка во главе с П.Х. Витгенштейном переправилась через Эльбу 27—29 марта 1813 г.[107]

Третья редакция представляет собой несколько переработанный и сокращенный вариант второй редакции с сохранением основополагающей ее установки относительно «спасительности» отступательного «концепта» кампании, но и с некоторыми конкретными добавлениями. Например, полнее оценен Тарутинский фланговый маневр как «искусный переход нашей армии с рязанской на калужскую дорогу», предопределивший «несчастное положение неприятеля». Автор опять возвращается к манере повествования от своего имени: «при вступлении моем в Министерство», «решил я обратить внимание», « я построил армию» и т.д., но без прежней полемической тенденции, в более спокойном, эпическом, если можно так сказать, тоне.

Но наиболее характерная особенность третьей редакции — это ее итоговый абзац, являющий собой образец неприкрытой апологии Александра I — главного творца успехов русских войск в борьбе с Наполеоном: «Вот плоды благотворительного, самим Государем начертанного плана войны сей. Только одному Александру I, сему народом своим обожаемому Монарху, можно было обнять его. Он надеялся на Бога, защищающего справедливость, на твердость духа, верность и преданность своего народа»[108].

Надо сказать, что ни в одной из предшествующих оправдательных записок Барклая ничего подобного не было. Лишь в конце текста второй редакции «Оправдания» Барклай отметил одобрение Александром I плана кампании и приезд его в декабре 1812 г. в армию[109]. В остальных же записках его имя вообще не упоминалось, и фигура царя конкретно никак не соотносилась с ходом и итогами войны. Главным действующим лицом, наиболее ответственным за ведение военных действий, выступал в них сам Барклай.

Четко различая свое отношение к Александру I — императору и политику от его военных претензий, цену которым он хорошо знал, Барклай и в своих оправдательных акциях не лицемерил, не терял достоинства, избегая велеречивой риторики монархических панегириков, столь свойственной официальной публицистике того времени на темы войны.

В данном же случае он изменил своему принципу, и сам этот факт достаточно красноречив на фоне известной нам теперь его многотрудной борьбы за гласное

оправдание. Вероятнее всего, это было со стороны Барклая уступкой царю, посредством которой (а также, конечно, и смягчением общего полемического тона) он надеялся получить высочайшую санкцию на обнародование этой последней редакции «Оправдания», видя в том, быть может, и последний свой шанс личного оправдания перед современниками.

Есть сведения, что третья редакция «Оправдания» была передана царю. А.И. Михайловский-Данилевский, собиравшийся посвятить ей специальный разбор, писал об этой редакции совокупно с «Изображением» как о записках, «представленных князем Барклаем де Толли императору Александру I»[110]. Однако о дальнейшей участи этого представления мы тоже ничего не знаем. Одно только ясно: до публикации и третьей редакции «Оправдания» дело тогда не дошло.

Очевидным отголоском неудачи этой последней попытки Барклая добиться своей реабилитации явилось неизвестное доселе его письмо от 9 апреля 1813 г. к неустановленному лицу, покинувшему армию и не участвовавшему в заграничном походе (оно сохранилось в виде писарского текста с перлюстрированного подлинника, расположенного сразу же вслед за авторской рукописью «Оправдания», которая была передана Барклаем царю в январе 1813 г.): «Я сам сожалею, что не устоял в своем намерении оставить военную кариеру, в которой я наместо благодарности и признательности за спасение Отечества и Армии, ни что другое не имел, как только смертельное огорчение и тьма неудовольствий. Пусть Светлейший наслаждается теперь... своею славою, собрав жатва в того*, что я посеял. Потомство справедливое нас обеих судить будет; оно поставит в настоящем виде замечание его, что потеря Москвы есть последствие потери Смоленска; я намерен был выдать в публику объяснение мое о прошедшей кампании, но я нахожу, что публика и не заслуживает сие уважение»[111].

«Объяснение о прошедшей кампании» — это, безусловно, «Оправдание» (вспомним, что так назывался и подлинник его второй редакции). Следовательно, эти последние строки письма являются единственно дошедшим

* Так в подлиннике.

до нас признанием Барклая, удостоверяющим его желание увидеть «Оправдание» напечатанным,— ранее мы могли судить об этом лишь из его текста и косвенных данных. Но не только в этом ценность письма. В известном смысле оно может быть расценено как подведение итогов всех предшествующих усилий Барклая по обнародованию от своего имени оправдательных записок. И итоги эти были, как мы видели, неутешительны. Несмотря на упорные настояния полководца, одержимого идеей нравственно и политически реабилитировать себя в глазах общественного мнения, царь последовательно отклонял все его притязания на сей счет.

Отчаявшись, Барклай не мог теперь не понять всю тщетность своих упований на Александра I. Крушение надежд на поддержку царя привело его в мрачное состояние духа, что так рельефно отобразилось в разбираемом письме. Он снова возвращается здесь к мысли об отставке, снова почти с маниакальной настойчивостью обращается к сильно уязвившему его упреку Кутузова, что «потеря Москвы есть последствие потери Смоленска», упреку, который он так и не мог пережить, сетует, наконец, на непризнание своих заслуг.

Но не все еще было потеряно.

«НЕ ОТ ИМЕНИ СВОЕГО»

С осени 1812 г. имя Барклая исчезает со страниц русской печати. Оно не возникает ни в правительственной прессе, ни в армейских известиях о военных действиях, ни в публицистических откликах на войну в журналах и брошюрах. С января 1813 г. появляются первые ее обзоры и исторические описания, выходившие в свет и в последующие годы[112]. Однако начальный и самый тяжелый период войны освещался в них весьма скудно, иногда буквально в нескольких фразах, смысл отступательной стратегии почти не разъяснялся, а когда речь шла об отходе войска в глубь страны, то вне всякой связи с полководческой деятельностью Барклая, имя которого и здесь не называлось.

Примечательная черта русской военной публицистики эпохи 1812 г.— обилие биографий крупных военачальников, как погибших, так и благополучно

здравствовавших. Книжный рынок стал наполняться ими с того же 1813 г. И это не только биографические очерки в журналах, но и довольно объемистые, хорошо документированные по тому времени, многотомные жизнеописания. Кутузову, например, посвящено шесть таких жизнеописаний[113], М.А. Милорадовичу и Я.П. Кульневу — по три[114], Витгенштейну и М.И. Платову — по два[115]. Печатаются биографические книги и статьи об А.И. Кутайсове, Коновницыне, Багратионе, И.С. Дорохове, Д.С. Дохтурове[116]. Издаются, наконец, пространные жизнеописания иностранных полководцев, участвовавших на стороне союзников в заграничных походах[117]. Но во всей этой многообразной биографической литературе первых послевоенных лет мы не найдем ни одного сочинения, которое так или иначе касалось бы Барклая; в широкой, общедоступной печати он не удостоился даже краткой биографической заметки журнального типа. (Исключение составляет небольшая биография Барклая в чрезвычайно редком и тогда, рассчитанном на узкий круг военно-дворянской элиты издании портретов героев 1812 г.[118])

Молчит о Барклае и массовая патриотическая поэзия, необыкновенно живо откликавшаяся на события войны. Русские поэты разных поколений и самых различных дарований — от престарелого Г.Р. Державина до только еще вступающего на поэтическое поприще К.Ф. Рылеева — во множестве од, гимнов, песен и стихотворений иных жанров (общее их число за 1812—1815 гг. насчитывает примерно 500—600 произведений) прославляли подвиги едва ли не всех известных в ту пору полководцев, генералов, партизан, но до середины 1813 г. не появилось ни одной строки, посвященной Барклаю. Положение начало несколько меняться, когда в июльской книжке «Русского вестника» С.Н. Глинки за тот же год были напечатаны «Стихи генералу Барклаю де Толли при известии о взятии крепости Торна и при известии о победе 7-го маия»,— они вновь вернули имя полководца на страницы русской печати, однако следует подчеркнуть, лишь в связи с его успехами в кампании 1813 г., но без всякого напоминания о его участии в Отечественной войне.

Пожалуй, показательнее всего в этом отношении умолчание о Барклае в «Певце во стане русских воинов» В.А. Жуковского — этом самом знаменитом, распевав-

шемся по всей стране поэтическом произведении эпохи на темы войны.

Оно было написано в конце сентября — начале октября 1812 г. в Тарутине, вскоре после отъезда Барклая из армии, и впервые напечатано (если не считать документально не подтвержденных сведений о выпуске его походной типографией русского штаба) в виде брошюры на исходе января 1813 г. в Петербурге. В марте 1813 г. текст «Певца» увидел свет в 23—24-м (декабрьском) номере «Вестника Европы» за 1812 год, запоздавшем с выходом в связи с французской оккупацией Москвы. В мае 1813 г. в Петербурге выходит второе, исправленное его отдельное издание. До завершения наполеоновских войн В.А. Жуковский продолжал перерабатывать стихотворение — окончательный его текст сложился к 1815 г.[119]

В «Певце» воспевался «сонм героев» русской армии, отличившихся в борьбе с нашествием, и каждый из них был наделен поэтически выразительной, одному ему присущей характеристикой. В первоначальном тексте вслед за Кутузовым провозглашалась хвала Ермолову, Раевскому, М.А. Милорадовичу, М.И. Платову, «Нестору-Бенигсену», Воронцову, Коновницыну, Тормасову, Витгенштейну — «Твердыне Петрограда», затем павшим в боях Кульневу, Кутайсову, Багратиону, но Барклай здесь назван не был, хотя бы в виде намека на присутствие его в войсках в качестве главнокомандующего 1-й армией. Это, конечно, не могло не броситься в глаза, и надо признать, что в момент создания «Певца» Жуковский точно уловил враждебное отношение к Барклаю в главной квартире, в кутузовском окружении, к которому он в Тарутине примыкал самым ближайшим образом.

В ходе дальнейшей переработки стихотворения Жуковский под влиянием военно-политической конъюнктуры дополнял его новыми строфами, меняя их местами, по-иному расставлял акценты. 28 июля 1813 г. Д.И. Ахшарумов, адъютант генерала П.П. Коновницына, писал ему из Рейхенбаха в Баден (где тот лечился от ран): «Г. Жуковский, автор стихов «Певец во стане русских», которые ваше превосходительство прежде читали, узнав короче о вас, переменил свои стихи и прибавил много на ваш щет»[120]. Вместе с тем Жуковский изымал одни имена, себя скомпрометировавшие (например, Чичагова из-за его неудачи на Березине), и,

главное, добавлял другие, более престижные. Так, в последующих редакциях «сонм героев» пополнился фигурами Н.П. Кудашева, П.С. Кайсарова, П.П. Палена, П.А. Строганова, А.И. Остермана-Толстого, К.Ф. Багговута, А.Г. Щербатова, Д.С. Дохтурова, А.И. Чернышева, В.В. Орлова-Денисова. В итоге в число персонажей «Певца» попали не только почти все корпусные, но даже дивизионные и более низкого ранга военачальники, но, поразительно, и тогда Барклаю не нашлось места в «Певце». Это имело тем более вызывающий характер, что среди них было немало генералов и офицеров, непосредственно подчиненных Барклаю и летом 1812 г. сражавшихся под его командованием.

«Не могу не огорчиться,— писал в 1836 г. А.С. Пушкин в своем «Объяснении» по поводу нападок на «Полководца»,— когда в смиренной хвале моей Вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру»[121]. Это мимоходом брошенное: «Вождю, забытому Жуковским» — звучало как горький упрек поэту, предавшему забвению память об опальном военачальнике, не сумевшему возвыситься над заблуждениями и предрассудками современников.

П.А. Чуйкевич

В контексте умолчаний русской печати о Барклае нас не может не заинтересовать изданная весной 1813 г. Сенатской типографией в Петербурге брошюра «Рассуждения о войне 1812 года». Помимо самих «Рассуждений», она заключала в себе «Посвящение Отечеству», развернутые военно-исторические примечания и таблицы численности наполеоновской армии и ее потерь в России.

Автором брошюры тут же, на обложке, был назван уже знакомый нам П.А. Чуйкевич как «служащий при Военном министерстве свиты его императорского величества по квартирмейстерской части полковник и кавалер». Он, как мы помним, вместе с Барклаем уехал из армии, сопровождал его до Новгорода, откуда в конце первой декады ноября 1812 г. отбыл в Петербург. Здесь Чуйкевич в январе 1813 г. был назначен управляющим Особенной канцелярией при Военном министре и прожил в столице до середины мая, когда был отряжен для производства

РАЗСУЖДЕНІЯ
О
ВОИНѢ
1812 года.

Съ таблицами: изчисленія непріятельскихъ силъ вошедшихъ въ предѣлы Россійской Имперіи, и потери непріятельской въ каждомъ сраженіи и дѣлѣ, съ начала кампаніи до 1 Генваря 1813 года.

Силы всея Европы не страшны народу любящему Вѣру, Отечество и преданному Государямъ своимъ.
Стран. 3.

Служащаго при Военномъ Министерствѣ Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по Квартирмейстерской части Полковника и Кавалера П. Чуикевича.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
Печатано при Сенатской Типографіи.
1813.

Титульный лист брошюры П.А. Чуйкевича

следствия по делу неповиновения крестьян Нижегородской губернии[122].

Брошюра была написана им еще в начале 1813 г.— 29 марта датировано разрешение цензуры на ее выпуск в свет. Но в книжных лавках она появилась только к началу мая и сразу же вызвала живой отклик прессы. 3 мая сообщение о ее выходе в свет печатает «Русский инвалид» с похвальным отзывом: «Суждения и примечания сочинителевы везде превосходны и показывают в нем офицера опытного, наблюдательного и имеющего о

предмете своем наилучшие сведения». То же отмечалось через несколько дней и в рецензии «Сына отечества»: «Сочинитель показывает необыкновенные познания в военном искусстве, и хотя в сей книге много сказано, однако же все еще остается жалеть, что можно прочесть ее так скоро. Ежели сие сочинение переведено будет на иностранные языки и распространится вне России, то приверженцы Наполеона, для сбережения здоровья, конечно, должны предохраняться от чтения оного». В конце мая отрывки из «Рассуждений» перепечатывает «Вестник Европы»[123].

Одновременно с русским изданием брошюра действительно выходит на французском, немецком и английском языках, т.е. в расчете на читающую публику многих европейских стран[124]. В русской военной публицистике тех лет подобного рода переиздания на иностранных языках были довольно редки и имели место лишь в тех случаях, когда дело касалось особо значимых в историко-политическом отношении произведений.

Такое широкое общественное внимание брошюра П. Чуйкевича привлекла к себе далеко не случайно.

По жанру это было сочинение военно-теоретического характера с политико-стратегическим анализом войны 1812 г. на всем ее протяжении. В части, касавшейся начального ее этапа, брошюра всецело опиралась на трактат П. Чуйкевича «Патриотические мысли», который, как мы отмечали выше, был подан им Барклаю в апреле 1812 г. в качестве обоснования предпочтительности «скифского» плана с тем, чтобы, заманив неприятеля в глубь страны, затем «оборонительную войну переменить в наступательную». Исходные посылки апрельского трактата, в значительной мере предвосхитившего развитие кампании летом и осенью 1812 г., Чуйкевич вновь изложил здесь, но теперь уже ретроспективно переосмысленными в свете ее итогов и обогащенными ее совершившимся опытом.

Центральная идея этой части брошюры — благодетельность для России в 1812 г. отступательного образа действий и «твердое следование» тому принципу, что «спасение и целость государства состоит в целости его армии». Характерно, что наиболее уязвимую ошибку Наполеона автор брошюры видит в том, что «он забыл историю храбрых скифов, гибель Кира, постыдное бегство Дария, отступление Александра Македонского». «Уклонение на некоторое время от генеральных сражений,

решительность в продолжении войны, истребление неприятельского продовольствия, недопущение до фуражировки и партизанская война летучими отрядами были для врага нашего мерами новыми, утомительными и гибельными»,— развивает свою мысль Чуйкевич, подводя к ее завершающему аккорду: «Полководцы наши стяжали незабвенную славу исполнением сего плана».

И хотя ни здесь, ни далее имя Барклая не называлось, ясно было, что речь шла прежде всего о нем, ибо из всех русских военачальников, фигурировавших на театре боевых действий летом 1812 г., именно с ним связывалась и выработка отступательного плана, и его осуществление в ходе кампании. А чтобы не оставалось на сей счет каких-либо недомолвок, Чуйкевич, упомянув в данном контексте «поступки Веллингтона», которые «должны были служить сильными примерами для Российских полководцев», раскрыл в одном из своих примечаний смысл этой многозначительной аналогии: «Оборонительная война, предпринятая генералом Веллингтоном в 1810 г. против Массены, лучшего из полководцев Наполеона, представляет разительные сравнения с Войной 1812 г.»

Дело касалось знаменитого отступательного маневра на Пиренеях осенью 1810 г., когда командовавший английской армией А. Веллингтон после кровопролитных боев под Бузако, во избежание обхода французским маршалом Массеном, хорошо подготовленным маршем отвел свои войска к Лиссабону и, укрепившись в Торрес-Ведрасской позиции, начал затем успешное преследование французов. «Твердый в своих правилах, Веллингтон знал,— заключает Чуйкевич,— что нет ничего труднее для Полководца, как вести войну оборонительную, которая... подвергает его до самого успеха клевете и злословию. Не взирая на сии неудобства, он пребыл неколебим в своем намерении»[125]. Независимо от того, как реально отразились события 1810 г. на репутации самого Веллингтона, пассаж этот в атмосфере еще не затихших споров вокруг летнего отступления, в тот момент, когда имя Барклая еще избегали упоминать в печати, воспринимался, конечно, легко разгадываемой аллюзией относительно русского полководца, с мужественным самоотвержением презревшего «клевету и злословие» своих соотечественников.

Знаменательно, что «веллингтоновская» тема «Рассуждений» Чуйкевича была подхвачена и углублена в упомянутой рецензии на нее «Сына отечества» (1813, № 19. С. 335—337), где самое имя английского военачальника и ссылка на его оборонительную тактику явились лишь прикрытием для популяризации полководческого искусства и величия характера опального Барклая. Нельзя прежде всего не заметить, что в этой рецензии к Веллингтону применяется высокопохвальная формула «великий муж», которая, как мы видели выше, уже летом 1812 г., например, в письме Ю. Кюхельбекер к сыну Вильгельму (и много позднее) употреблялась на счет Барклая: «истинно великой муж иногда может пренебрегать общим мнением», «о великих мужах не должно судить наравне с обыкновенными людьми» и т.д. Самое же важное — это то, что ситуации, в которых пришлось действовать «великому полководцу» Веллингтону, и трудно заслуженная им слава почти открыто соотносятся здесь с судьбой русского военачальника: «Веллингтон не мог предсказать, сколько именно провинций разорены будут неприятелем, но в том мог свято ручаться, что не погибнут Испанское и Португальское государства, что отступление его обратится ему в торжество, а поход хищников — им в гибель.

Веллингтон по всем отношениям муж великой, но который истинный Российский Генерал в его положении не столь же охотно подверг бы собственную свою славу опасности, клевете и злословию, когда б дело шло о спасении Отечества и не доказали ли победы наши, после коих французские толпы исчезли с лица земли, что Российская феория войны мудро приведенная в действо великим полководцем (тут уже прямо подразумевался Барклай.— *А.Т.*) была способна к истреблению французов?»

Полемическую заданность своей брошюры с не допускающей никаких сомнений ясностью отметил сам Чуйкевич, когда 31 марта 1814 г. обратился с письмом к Аракчееву, представляя ему и Александру I ее экземпляры: «Вашему сиятельству совершенно известен дух Российского народа, приобыкший более к наступательной, нежели оборонительной войне. После толиких побед, увенчавших наше оружие и оправдавших совершенно государев выбор плана войны 1812 года, много есть умов, основывающих по сие время противное мнение на приме-

рах протекших веков. Изданием сего сочинения я желал ослабить по возможности мнение против оборонительной войны»[126].

В том, как Чуйкевич отстаивал в брошюре отступательную стратегию Барклая, находим много созвучного с его собственными оценками хода войны, с которыми мы уже достаточно знакомы по предшествующему изложению. Это и понятно, если вспомнить, что автор брошюры был одним из ближайших сподвижников полководца, разделивших его стратегические воззрения и причастных к подготовке под его руководством плана кампании. Но в брошюре отчетливо видны и следы прямого влияния оправдательных записок Барклая, а точнее — его «Объяснения... о действиях первой и второй западных армий в продолжении кампании сего 1812 года».

Так, в брошюре воспроизведен один из ключевых мотивов обоснования Барклаем в этой записке необходимости придерживаться отступательных действий (впоследствии он будет повторен во всех трех редакциях «Оправдания»): «оборонительная война была бы для нас бесполезна и даже пагубна, ежели бы цель ее клонилась к одной только упорной защите границ наших... да и самое счастливое отражение неприятеля вообще от границ наших продлило бы только войну с новыми для нас опасностями».

А вот, как это звучит в брошюре: «Война оборонительная, состоящая единственно в упорном защищении своих границ и при самом щастии продлила бы только войну, но не могла иметь решительных следствий»[127].

Совпадение, как видим, почти дословное, из чего несомненно следует, что Чуйкевич не просто был знаком с «Объяснением», но и располагал его списком, получив его в свои руки или еще до отъезда в начале ноября из Новгорода, или в конце декабря 1812 — начале января 1813 г. в Петербурге, где в то время находился и Барклай, но в любом случае — с его ведома. Трудно также предположить, что, задумав «Рассуждения» с их прицелом на реабилитацию полководца, Чуйкевич не посвятил его в этот свой замысел и не заручился его согласием. Не менее важен, однако, сам факт использования текста «Объяснения», не разрешенного властями к обнародованию, для защиты полководческого авторитета Барклая в изданном

для широкой публики историко-публицистическом сочинении.

А.И. Барклай де Толли

В конце 1813 г. в Петербурге, в той же типографии была отпечатана небольшая книжка «Краткое обозрение знаменитого похода российских войск против французов 1812 года». Цензурное разрешение датировано 28 ноября 1813 г., однако в предпосланном основному тексту «Посвящении Отечеству» значилась куда более ранняя дата, указывающая на время написания книжки: «С.Петербург, марта 10 дня 1813 года». (Судя по этой дате, «Краткое обозрение» было составлено, видимо, в первые два месяца 1813 г.) И тут же подпись: «Издатель А.Б.»

Относительно того, кто скрывался за этим криптонимом, в литературе долгое время высказывались разные точки зрения. Современники считали, что им был камер-юнкер А. Безобразов[128], очевидно, по сходству названия данной книжки с принадлежавшей ему брошюрой «Краткое обозрение подвигов российского дворянства» (СПб., 1813), и эта атрибуция перешла в авторитетные библиографические справочники и словари анонимов XIX—XX вв.[129]

В свое время Е.В. Тарле идентифицировал анонимного автора книжки с самим М.Б. Барклаем де Толли[130], на это же было указано и в «Каталоге рукописных материалов о войне 1812 года» Отдела рукописей Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (Л., 1961. С. 90). Но в одной из вышедших совсем недавно статей об Отечественной войне автором снова показан А. Безобразов[131].

Между тем сохранился беловой автограф «Краткого обозрения», датированный тем же 10 марта 1813 г. и подписанный: «Барклай де Толли, коллежский асессор»[132], а это был не раз уже помянутый нами выше племянник полководца и сотрудник его штаба А.И. Барклай де Толли. Как и Чуйкевич, он сопровождал Барклая осенью 1812 г. в его поездке из армии в Новгород. По ходатайству полководца А.И. Барклай де Толли 10 декабря 1813 г. был снова зачислен в Коллегию иностранных дел и некоторое время спустя оставил армию и поселился в Петербурге[133].

КРАТКОЕ

ОБОЗРѢНІЕ

знаменитаго похода Россійскихъ войскъ противъ Французовъ 1812 года.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЕЧЕСТВУ.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

въ Типографіи Правительствующаго Сената

1813 года.

Титульный лист брошюры А.И. Барклая де Толли

Представляя еще 30 мая 1813 г. рукопись своей книги Аракчееву, он писал: «Имев щастие быть очевидным свидетелем сего достопамятного похода, я в состоянии был отношениями своими по службе судить о целом с некоторою достоверностию»[134].

И действительно, «Краткое обозрение» написано в виде военно-стратегического очерка кампании 1812 г., взятой «в целом». Книжка состоит из двух частей — «Военно-политического обозрения войны, показывающего необходимость принятого предначертания» и «Краткого обозрения военных происшествий принятого общего предначертания». Первая часть, как видно из ее названия, аргументирует тезис о неизбежности для России вести в 1812 г. оборонительную, затяжную войну. Во вто-

рой же части сжато рассматривается ход военных действий, в том числе и после назначения Кутузова, преимущественно под углом зрения того, как осуществлялся этот единственно возможный в тех условиях план, утвержденный с самого начала кампании.

Книжка проникнута, таким образом, тенденцией оправдания отступательной стратегии Барклая, хотя на всех ее почти 80 страницах имя полководца также не было ни разу названо.

Существенно, что в наиболее важных, узловых положениях «Краткое обозрение» в первой его части восходит к «Объяснению» Барклая, воспроизводя не только дух и смысл его концепции, но и сами его тексты.

Еще В. Пугачев обратил внимание на связь «Краткого обозрения» с оправдательными записками полководца. Но, во-первых, сама брошюра не попала в поле зрения историка и, видимо, факт издания «Краткого обозрения» остался ему неизвестен — он оперировал указанным выше беловым автографом, опубликованным уже в начале нашего столетия в известной документальной серии ВУА. Во-вторых, В. Пугачев ошибочно полагал, что «Краткое обозрение» имеет соответствие с различными текстами «Оправдания»[135], на самом же деле брошюра А.И. Барклая де Толли текстуально связана исключительно с «Объяснением». Чтобы убедиться в этом, приведем некоторые сопоставления:

«Объяснение»	«Краткое обозрение»
«...Но и оборонительная война была бы для нас бесполезна и даже пагубна, ежели бы цель ее клонилась к одной только упорной защите границ наших. Пространство их и неожиданное превосходство сил неприятельских, от всех почти европейских на твердой земле держав двинутых, делали сие также невозможным».	«Но и самое защищение соделалось бы для нас бесполезным и даже пагубным, есть ли бы цель оного токмо простиралась на упорную защиту одних наших пределов. Пространство сих пределов и превосходство неприятеля, который вел на брань против нас почти все европейские нации, соделали сию цель также невозможною».

«Удачное сопротивление на одном пункте никак не могло бы обеспечить другого, да и самое счастливое отражение неприятеля вообще от границ наших, продлило бы только войну с новыми для нас опасностями, ибо он, имея за собою союзные державы, имел бы все удобнейшие средства подкрепляться и возобновлять свои нападения».	«Щастливое сопротивление на одном пункте ни мало не могло обеспечить другой. Даже и самое отражение не-приятеля от пространства наших границ токмо продлило бы войну, ввергая нас в новые опасности. Ибо Наполеон тогда имел бы в тылу соединенные с ним Державы, доставляющие ему все нужные к возобновлению брани средства».
«Намерение наше имело желательный успех: неприятель с каждым движением более и более оскудевал в способах к продовольствию и нужды его дошли, наконец, до такой крайности, что солдаты уже питались лошадиным мясом и пареною рожью»[136].	«Намерение наше имело желательный успех. Неприятель при каждом шаге, удалявшем его от пособий своих, уже постоянно начал претерпевать недостаток в самых нужных потребностях к своему содержанию и продовольствию. Уже солдаты французские питались лошадиным мясом и недозрелою пареною рожью»[137].

Подобные сопоставления можно было бы продолжить, но и без того очевидна тесная зависимость «Краткого обозрения» от «Объяснения». Автор лишь усилил оправдательное звучание этой записки Барклая своими похвальными оценками «мудрого предначертания» избранного им способа военных действий, который столь «глубоко долженствовал быть обдуман». Указание же на то, что «во время общих пожертвований, конечно, надобно было добровольно принести жертву к общему мнению»[138], намекало на трагическую участь полководца, принявшего на себя неблагодарное бремя ответственности в сложных условиях 1812 г.

То обстоятельство, что «Объяснение» оказалось в распоряжении А.И. Барклая де Толли, не должно нас удивлять — ведь, как было установлено выше, именно

его рукой перебелен текст этого документа, представленный Александру I. Возможно, что А.И. Барклай де Толли был причастен и к подготовке самого его текста.

Если учесть близкие родственные и доверительные деловые отношения полководца с автором «Краткого обозрения» и вообще его стремление предать свои оправдательные записки гласности, то станет очевидным, что составление «Краткого обозрения» было в какой-то мере инспирировано им самим, а появление его в печати стало одним из моментов в борьбе Барклая за восстановление своего попранного авторитета.

Предположение это тем более правдоподобно, что в конце января 1813 г.— как раз в то самое время, когда шла работа над «Кратким обозрением»,— его автор находился непосредственно при Барклае. Выше мы цитировали собственноручное письмо последнего от 27 января 1813 г., написанное в Плоцке в связи с попытками добиться публикации оправдательного документа и в тот же день переданное Александру I. Сохранился между тем и писарский черновик этого письма на французском языке с поправками и вставками Барклая, но писарская первооснова его текста принадлежит, как теперь выясняется, руке А.И. Барклая де Толли[139]. Из этого-то и следует непреложно, что в те дни он тоже был в Плоцке, состоя в тесном контакте с полководцем, который имел, таким образом, реальную возможность влиять на составление «Краткого обозрения».

Д.И. Ахшарумов

«Рассуждения» Чуйкевича и «Краткое обозрение» защищали репутацию Барклая еще в завуалированной форме, имя его прямо не называлось, и представление о целесообразности его отступательной линии доводилось до читателя посредством аллюзий, намеков, исторических экскурсов и т.д. Но в том же 1813 г. увидело свет еще одно произведение, в котором авторитет полководца утверждался уже совершенно открыто и недвусмысленно.

Мы имеем в виду «Историческое описание войны 1812 года» Д.И. Ахшарумова, разрешенное цензурой к выпуску 13 августа 1813 г. и отпечатанное в императорской типографии, как было обозначено на титуле,— отметим это особо — «по Высочайшему повелению». Хотя оно было издано анонимно, но принадлежность его Д.И. Ахша-

ИСТОРИЧЕСКОЕ

ОПИСАНІЕ

Войны 1812го года.

Печатано по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію

Въ Санктпетербургѣ,
Въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Типографіи,
1813 года.

Титульный лист брошюры Д.И. Ахшарумова

румову раскрылась перед современниками несколько лет спустя, когда вышло уже под его именем «Описание войны 1812 года» — первая в России основательная по концепции и источникам история Отечественной войны, в журналах появились рецензии, указавшие на тот еще ранний военно-историографический опыт Д.И. Ахшарумова, а сам он заявил о своем авторстве в печати[140].

Яркая личность этого человека, впоследствии изрядно забытого, заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Обычно он заслоняется именами его сыновей, трое из которых — Николай, Владимир, Иван — люди передовых общественных воззрений, убежденные сторонники буржуазных реформ, получили во второй половине XIX в. широкую известность как литераторы,

поэты, критики, а четвертый сын — Дмитрий прославился как виднейший участник кружка петрашевцев и автор интереснейших воспоминаний об идейной жизни конца 1840-х годов[141].

Выходец из Грузии,— дед его, переводчик при дворе царя Вахтанга VI, в 1720-х годах переселился в Россию, а отец всю жизнь служил в русской армии,— Ахшарумов в 1803 г. окончил 1-й Кадетский корпус, поступил в Черниговский Мушкетерский полк, в 1806—1807 гг. сражался в Пруссии, в 1810 г. участвовал в войне с Турцией, в 1811 г. произведен в штабс-капитаны и переведен в лейб-гвардии Егерский полк. В 1812-м — адъютант и сподвижник П.П. Коновницына, Ахшарумов в составе 1-й Западной армии прошел всю кампанию, особо отличившись при Бородине и Малоярославце. Сохранился отзыв Барклая об участии Ахшарумова в Смоленском сражении, где «личная неустрашимость... служила ему лучшим пособием к уничтожению неприятельских покушений». За Отечественную войну и заграничные походы он был удостоен многих боевых наград, в октябре 1812 г. получил чин капитана, в июле 1813 г. за Люценское сражение — полковника.

Видимо, еще в Тарутинском лагере Ахшарумов сблизился с прогрессивно настроенными военными и литераторами, группировавшимися вокруг А.С. Кайсарова — директора походной типографии русского штаба, которая в своих агитационных изданиях истолковывала события войны в духе вольнолюбивого патриотизма. Среди лиц, прикосновенных к этому кругу, были поэты-ополченцы В.А. Жуковский и А.Ф. Воейков, сотрудник кутузовской канцелярии А.И. Михайловский-Данилевский, гвардейские и квартирмейстерские офицеры М.Ф. Орлов (в будущем известный декабрист), Александр Щербинин, Михаил Андреевич Габбе, директор канцелярии штаба 2-й армии Николай Александрович Старынкевич — человек недюжинного ума, обширных познаний, позднее тесно связанный с декабристским кругом и деятелями послевоенного революционного движения в Европе, по отзыву Н.И. Греча, «отъявленный либерал». Вхождение Ахшарумова в кайсаровский кружок при походной типографии и в число авторов летучих армейских изданий устанавливается по разысканным недавно воспоминаниям Старынкевича, состоявшего с ним и в родстве.

По завершении наполеоновских войн он занимает должность дежурного штаб-офицера русского Оккупационного корпуса М.С. Воронцова во Франции, где им и было составлено упомянутое выше «Описание войны 1812 года». Вернувшись в Россию, Ахшарумов в 1820 г. производится в генерал-майоры и назначается командиром 2-й бригады 17-й пехотной дивизии, но через несколько месяцев, в том же году, когда обозначился поворот правительственной политики к реакции, неожиданно увольняется из армии «для определения по статским делам» и вновь появляется на служебном, но теперь уже гражданском поприще во второй половине 1820-х годов, занявшись под эгидой М.М. Сперанского кодификацией военного законодательства,— подготовленный им «Свод военных постановлений» был издан в 1838 г., уже после его смерти[142].

Возвращаясь к «Историческому описанию», надо прежде всего сказать, что хронологически в нем обозревался начальный период войны — от перехода неприятелем русской границы до приезда Кутузова в Царево-Займище — с преимущественным вниманием к действиям 1-й армии. Правда, затем следовал «Отрывок, заключающий в себе происшествия от переправы чрез Березину до окончания года», но сам автор считал его самостоятельным очерком, не связанным с основным текстом[143].

Свое повествование Ахшарумов предваряет масштабно написанным историко-политическим введением о предпосылках противоборства двух держав и его месте в современной европейской истории. Автор подчеркивает агрессивные устремления Наполеона и освободительный характер войны со стороны России, который он обозначает едва ли не впервые в русской политической лексике эпохи словом «отечественная». Понимание войны как истинно народной, отечественной тесно связано с общей, далеко не официозной трактовкой в «Историческом описании» ее движущих сил и итогов. Автор явно чужд распространенного в реакционной публицистике тех лет взгляда на Наполеона как на «исчадие» французской революции, «Аттилу» XIX в. Он не опускается до клерикально-монархического его поношения с этих охранительных позиций, а в просветительско-тираноборческом духе обличает Наполеона-узурпатора, его «ненасытное властолюбие», попрание им «прав народных», и

задачу борьбы с ним видит в том, чтобы сокрушить «оковы рабства» и воскресить «общую свободу».

Замечательна в «Историческом описании» открытая и демократическая по своей направленности обращенность к читателям, к публике. В своем сочинении автор видит лишь одно из первых описаний 1812 г.— оно «сделано в походе, среди военного шума, в минуты малых досугов от занятий службы и есть весьма неполное описание блистательной эпохи». Ахшарумов адресуется к соотечественникам с надеждой, что кто-либо из них, «измерясь в великих качествах и знаниях, для истории нужных», возьмется «предать потомству подробную историю всей нынешней войны, какую бы чувствительную заслугу оказал он Отечеству и какую бы честь стяжал себе».

Взволнованная авторская интонация, пронизывающая собой весь текст «Исторического описания», сильнее всего ощущается на завершающих его страницах. Они воспринимаются как прямое агитационное воззвание к еще не воспрявшему от французского господства населению европейских стран (ведь книга писалась, судя по ее выходным данным, задолго до Лейпцигского сражения, которым и было окончательно предопределено поражение Наполеона в борьбе с союзниками): «Народы Европы!.. И так, соединяйтесь с нами, будьте убеждены, что доколь не падет Наполеон, кровь человеческая не перестанет литься. Примите участие в подвиге, нами за вас подъемлемом, и мечами мщения разрубите окови ваши. Тогда, может быть, борьба сия будет последнею в Европе».

Вот это злободневное публицистическое звучание книги Ахшарумова позволяет нам лучше понять и то, в каком регистре велась им защита стратегии и личного авторитета Барклая — лейтмотив всего повествования.

Ставя вопрос о том, почему «Россия не имела гораздо более войска при самом начале войны», дабы «не допустить неприятеля вторгнуться в Российские пределы», автор показывает, что это проистекало из-за громадного превосходства вооруженных сил Наполеона, собранных со всей Европы, а, следовательно, отступательная война была неотвратима. Ахшарумов высоко оценивает руководимый Барклаем отход 1-й армии к Смоленску — он «останется навсегда славным и важным примером для во-

енного искусства», и в этой связи в торжественных тонах обращается к полководцам: «Хвала вам, вожди войск, Барклай и Багратион! подвиг ваш пребудет славным и незабвенным в позднейшем потомстве, вы предуготовили для России то величие, в каковом она ныне зрима». И далее Барклай не раз упоминается наравне с тем же Багратионом, Кутузовым, Милорадовичем, Платовым, Ермоловым и другими «великими людьми», которыми «благодарная Россия... гордится». Здесь уместно сказать, что именно в книге Ахшарумова Барклай впервые в русской военно-исторической публицистике был поставлен в один ряд с уже тогда легендарными в народном сознании героями 1812 г.

Последовательно оправдывая действия Барклая в ходе отступления, Ахшарумов подчеркивает, что, «не дав под Витебском генерального дела», он «поступил как вождь отличного благоразумия и глубокой опытности», соединение же армий у Смоленска было «как бы некоторою эпохою сей кампании» — именно тут сохранившие боеспособность войска явили собой «единственный оплот государства, единственную преграду честолюбию Наполеона». «Но есть ли войско являло столь высокое зрелище, то с каким достопочтением должно было взирать на мужа, повелителя сих героев,— переключает автор внимание читателя на Барклая.— Какая устрашающая, безмерная ответственность на главе его?»

Ахшарумов полностью и безоговорочно оправдывает и самый непопулярный в общественном мнении того времени эпизод в деятельности Барклая — сдачу Смоленска. «Некоторые полагали, что Смоленск выгодно было бы защищать далее, но главнокомандующий, сообразив, что сие соединено с великою потерею людей... и что Наполеон, пользуясь превосходством числа, не видя притом особой важности в овладении Смоленском без жителей и запасов... положил оставить город». Это «некоторые полагали» и сами доводы в пользу принятого полководцем решения имели полемический оттенок и объективно — сознавал это автор или нет — заключали в себе выпад против мнения Александра I, считавшего, как мы помним, оставление Смоленска грубым и непоправимым просчетом Барклая.

В заключение Ахшарумов вступает уже в прямой спор с его хулителями, отвергая не без иронии расхожие в обществе, но весьма далекие от понимания реальных условий войны с Наполеоном и принципов военного искусства взгляды. «Потомству одному предлежит определить конечное суждение о деяниях вождей, коим судьба государства поручается. Скажем, однако же, презря толки и опираясь на чистую истину, что есть ли генерал Барклай не мог отвратить отступления армии, то едва ли кто с теми же способностями и в тех же обстоятельствах мог бы сделать иначе. Одной воли остановить врагов мало; должно иметь к тому все возможности и, конечно, человек, посвятивший всю жизнь свою на службу отечеству... напрягая к тому все способности, все усилия истощать все средства, и есть ли со всем тем принужден был уступить, то можно ли чему другому приписать сие, как неизбежной необходимости. Многие досужные в мирных кабинетах своих могли думать иначе; но должно было находиться в поле ратном и близким образом быть введену в ход тогдашних военных дел, чтобы удивляться всей их трудности, а вместе осторожности и благоразумию»[144].

Вчитываясь в «Историческое описание», мы и в нем находим уже знакомые оправдательные тексты Барклая. Это относится прежде всего к политико-стратегическому обоснованию Ахшарумовым необходимости в 1812 г. отступления — наиважнейшего тезиса его книги. Не затрудняя читателя текстуальными сопоставлениями, отметим только, что наиболее существенные, опорные пункты оправдательной аргументации Барклая перенесены в «Историческое описание» с сохранением ее логики и последовательности. Заимствованы же они были из «Оправдания» в первой его редакции[145]. Хотя воспроизведенные в «Историческом описании» барклаевские тексты отчасти совпадают и с более ранним «Объяснением», что вполне понятно, поскольку, как мы уже указывали, добрая его половина почти дословно была включена в «Оправдание», в данном случае речь идет все-таки о нем. Дело в том, что среди прочих заимствований в «Историческом описании» имеются такие тексты, которые отсутствуют в «Объяснении» и специфичны только для «Оправдания».

«Оправдание»	«Историческое описание»
«Успели мы в продолжении 1810 и 1811 годов усилить почти вдвое армию».	«В течение 1810 и 1811 годов по мере усиления им (Наполеоном.— *А.Т.*) своих войск и наша армия почти удвоена».
«Видя, что намерение мое оттянуть от князя Багратиона часть неприятельских войск совершилась в полной мере,— в тот же час должен был спешить на встречу ему к Смоленску».	«Уверясь, что тайные намерения его (Барклая.— *А.Т.*) оттянуть на себя от 2-й армии теснившую его значительную часть сил неприятельских исполнилась в полной мере, решился поспешить на соединение с оною армиею к Смоленску»[146].

Установление факта использования в «Историческом описании» именно этой записки Барклая принципиально важно как в плане понимания его оправдательной тактики в 1813—1814 гг., так и в связи с созданием самой этой книги Ахшарумова и с его вышедшим уже в 1819 г. «Описанием войны 1812 года», о котором мы уже упоминали выше.

Всецело основанный на материалах «Исторического описания» 1813 г., этот труд Ахшарумова был проникнут высоким уважением к личности Барклая и давал яркое и достоверное изображение его полководческой деятельности в 1812 г. Причем, что для нас особенно существенно, подготовка России к войне, планы командования, расположение русских войск на границе, отступательные маневры 1-й армии, бои под Витебском и Смоленском — все это освещалось сквозь призму ключевых положений первой редакции «Оправдания» с приведением их в виде скрытых цитат в защиту стратегического курса Барклая[147]. Таким образом, благодаря Ахшарумову, эта его записка как бы вторично вошла в русскую историографию Отечественной войны.

В декабре 1812 г. в Вильне Александр I, недовольный маневрами Багратиона в начале войны по отводу 2-й армии в глубь страны, распорядился составить «историческое объяснение» его действий (далее мы еще вернемся

к этому сюжету). Дело было давнее, повлиять на нынешнюю военную обстановку оно, разумеется, никак не могло, тем не менее царь непременно хотел получить угодное ему «объяснение». И хотя формально оно было возложено на бывшего начальника штаба 2-й армии генерала Э.Ф. Сен-При, фактически им занимался по поручению последнего, но «с соизволения князя Кутузова» Н.А. Старынкевич, переведенный после слияния 1-й и 2-й армий в его штаб.



П.П. Коновницын. Гравюра Ф. Вендрамини по оригиналу Л. Сент-Обена. 1813. ГИМ

«Таким же делом,— пишет он в своих позднейших показаниях,— насчет действий 1-й армии занят был по воле князя Кутузова состоявший при генерале Коновницыне адъютантом гвардии капитан Ахшарумов, почему впоследствии высочайше дозволено было напечатать свое сочинение»[148]. А.И. Михайловский-Данилевский со своей стороны свидетельствовал, что, находясь «в продолжении большей части похода... в центре военных действий», Ахшарумов «в 1813 году начал описывать оные по воле князя Кутузова, на каковой предмет и пользовался он многими документами, которые не для всех известны»[149].

Есть достаточно оснований полагать, что Александр I к военно-историческим занятиям Ахшарумова не имел тогда касательства и в конце 1812 — начале 1813 г. ничего о них не знал,— данное ему поручение исходило действительно от Кутузова. Вряд ли также оно было связано, как в случае с «объяснением» о действиях 2-й армии Багратиона, с недовольством высшего командования Барклаем и стремлением его каким-то образом скомпрометировать. Более вероятно считать, что при этом следовали обычному, давно принятому в русской армии порядку составления по завершении кампании отчета о боевых операциях крупных воинских соединений. Об

отсутствии здесь какой-либо предвзятости к Барклаю лучше всего свидетельствует уже одно то, что подготовка описания действий 1-й армии была доверена не кому другому, как Ахшарумову, известному своей близостью к П.П. Коновницыну — единственному из русских военачальников, кто даже в самые худшие для ее главнокомандующего времена сохранял к нему благорасположение и поддерживал с ним добрые отношения. В.И. Левенштерн вспоминал, что в конце сентября 1812 г. «из всех приближенных Кутузова только один Коновницын искренне сожалел об отъезде Барклая»[150].

При официальной заданности «Исторического описания» многое в него было привнесено личностью автора, его взглядами, оценками, симпатиями и, видимо, с самого начала оно было задумано с целью военно-политической реабилитации Барклая.

А что и сам Ахшарумов испытывал к нему глубокое уважение, признавал его заслуги, не разделял и в 1812 г. общепринятых на его счет предубеждений,— об этом мы можем судить по весьма многозначительному, явно ассоциировавшемуся с обстоятельствами прошлогодней кампании его письму к А.И. Михайловскому-Данилевскому от 17 мая 1813 г. (как раз в этот день Барклай был назначен главнокомандующим всех действующих русско-прусских армий): «Говорят, что Барклай появится на сцену. Хотя Россия удивится, но признать должно, что мы все-таки имеем в нем одного из лучших наших генералов»[151].

Думается, однако, что в «пробарклаевской» концепции «Исторического описания» отразились не только личные воззрения Ахшарумова, но и наметившаяся еще к концу 1812 г. общая переоценка роли полководца в Отечественной войне передовыми офицерскими кругами русской армии.

В первые месяцы кампании 1813 г., наполненные упорными боями и изнурительными маршами, он не имел времени заняться этим трудом и приступил к нему лишь с конца апреля, когда получил досуг, сопровождая тяжело раненного в Люценском сражении Коновницына в австрийский курорт Баден. Ход работы над «Историческим описанием» вырисовывается из неопубликованной переписки Ахшарумова с Михайловским-Данилевским, а затем, по отъезде из Бадена в главную квартиру,— и с Коновницыным.

Его помыслы направлены в то время на собирание нужных для «описания» документов. Все майские письма к Михайловскому-Данилевскому, помогавшему ему в этой работе, пестрят просьбами о спешной присылке «материалов» и жалобами на перебои в их доставке: «иначе я не могу ничего сделать и сочинение остановится». Ахшарумов стремится получить важные документы из Военного министерства в Петербурге, оперативную переписку из Главного штаба, журналы военных действий, обращается к генерал-квартирмейстерам 1-й армии в 1812 г. С.А. Мухину и К.Ф. Толю, начальнику ее штаба А.П. Ермолову — «я писал пред сим к Ермолову и просил его также доставить ко мне все особые материалы, кои у него быть могут, то есть замечания на войну, для себя писанные»[152].

Но наибольший интерес проявляет Ахшарумов к бумагам Барклая. «Я бы мог теперь всякой день продолжать историю мою,— сообщает он 20 мая Михайловскому-Данилевскому,— но не знаю, получу ли когда барклаевские материалы и, следственно: будет ли что целое. Из всего дела не могу ни на что решиться и особливо писать конец, не уверен будучи, напишу ли начало». В соответствии с замыслом «Исторического описания» «барклаевские материалы» имели для Ахшарумова, как ясно из сказанного, первостепенное значение, без них он не представлял себе возможности изобразить не только «начало», т.е. первый, отступательный период войны, но и завершить свой труд в целом.

В том же письме Ахшарумов еще раз с упреком напоминает Михайловскому-Данилевскому, что «без материалов писать не можно и что об упущении сего во времени будут после многие жалеть», и далее, имея в виду крупных военачальников 1812 г., в том числе, конечно, и главного героя будущей книги, излагает свое понимание гражданской ответственности историка перед будущим: «Нужно и должно покровительствовать все, что раздает славу и предает потомству деяния тех, кои посвящают свою жизнь снискать уважение потомства»[153].

Из этих же писем видно, как кристаллизуется мысль Ахшарумова об общественном назначении его труда, не ограниченного узкими рамками военно-профессиональной аудитории и активно воздействующего на умы современников. Как ни важны были для него документальные «материалы», но свое преимущество «де-

еписателя» он усматривал и в живом, непредвзятом ощущении событий в качестве их непосредственного участника. 14 мая он пишет Михайловскому-Данилевскому: «Никто, кроме меня, оного не напишет, потому что по одним бумагам писать нельзя, не служивши все время в войсках и не будучи от начала до конца близким всему очевидцем». А в письме от 28 мая излагает свой взгляд и на то, каким вообще видится ему этот исторический труд: история «не есть военное сочинение, то есть книга для военного искусства только, а направление мнения публики — нашу историю хотя не можно писать pour et contre, но все можно избежать сухости и сделать занимательною для всякого»[154].

В Бадене, однако, работа над «Историческим описанием» шла туго и сильно продвинулась лишь после того, как Ахшарумов в середине июня вернулся в главную квартиру, которая с конца мая, по заключении Плесвицкого перемирия, на два с лишним месяца расположилась в силезском городе Рейхенбахе — тут находился штаб Барклая, верхушка союзного командования, неподалеку, в замке Петерсвальде, поселился Александр I со свитой, а в близлежащих селениях разместились гвардия и артиллерия. Здесь Ахшарумов получил, наконец, все нужные ему документы (в том числе и барклаевские). 23 июля он сообщил Коновницыну, что для окончательной шлифовки «Исторического описания» имеет «у себя теперь все нужные к тому материалы»[155].

Здесь же Ахшарумов попал в орбиту дружеского сообщества молодых военных историков — большей частью гвардейских и квартирмейстерских офицеров, озабоченных сохранением памяти о 1812 годе и вынашивавших планы запечатления ее в исторических трудах. Ядро его составляли люди, идейно и лично близкие Ахшарумову,— тот же Михайловский-Данилевский, Старынкевич, братья Александр и Михаил Щербинины, Михаил и Петр Габбе[156].

Особенно тесные отношения еще со времен Кадетского корпуса связывали Ахшарумова с лидером кружка военных историков Ф.Н. Глинкой — публицистом и поэтом, виднейшим в будущем деятелем раннего декабризма. «Он мне друг с детства во всей силе слова», «любя и уважая его с самого младенчества» — так отзывался о Глинке весной 1813 г. Ахшарумов. Тот же, со

своей стороны, писал об Ахшарумове в «Письмах русского офицера»: «общий совоспитанник и друг наш». Оказавшись в начале перемирия в Рейхенбахе, Глинка отметит в записи за 25 мая 1813 г.: «С нетерпением ожидаю сюда прибытия Д.И. Ахшарумова, его дружба еще более украсит мое уединение»[157].

В Рейхенбахе Глинка был занят писанием трактата «Рассуждение о необходимости иметь Историю Отечественной войны», впервые увидевшего свет только в 1816 г. Сгусток историко-патриотических умонастроений участников кружка, его своеобразный манифест, трактат этот освещал события войны и принципы построения ее истории в духе народной героики, высокой гражданственности и просветительских традиций. Обращаясь к соотечественникам с призывом создать историческое повествование о 1812 годе, Глинка считал, что его следует писать «не для одних ученых, не для одних военных людей, но и для людей всякого состояния, ибо все состояния участвовали в славе войны и свободе Отечества», автором его должен быть не просто историк, но в первую очередь «воин» и «самовидец»[158].

В Рейхенбахе же в недрах кружка возникла целая серия историографически-мемуарных сочинений на темы 1812 г. или их замыслов, не вполне тогда осуществленных. Среди них, например, следует назвать военно-исторический труд Н.А. Старынкевича — сперва это было упомянутое выше «историческое объяснение действий» 2-й армии — относительно его он вспоминал, что «занимался порученною мне работою... по окончании Рейхенбахского перемирия», но знаменательно, что именно здесь, в Рейхенбахе, это «объяснение» трансформировалось в общую «Историю войны 1812 года», над которой Н.А. Старынкевич трудился с тех пор уже до конца жизни[159].

В Рейхенбахе Глинка начал составлять посвященную Отечественной войне IV часть «Писем русского офицера». Назовем также среди сочинений «рейхенбахского» периода его «Выписки, служащие объяснением прежних описаний 1812 года» — историко-публицистический обзор кампании, по поводу которого автор писал, что работал над ним «в поте лица почти все время перемирия». Михайловский-Данилевский со своей стороны помнил, что «Выписки» — это «некоторые отрывки об Отечественной войне, тщательно отделанные во время перемирия

в Рейхенбахе»[160]. Здесь же Глинка составил книжку «Подвиги графа М.А. Милорадовича в Отечественную войну 1812 года» (М., 1814) — один из первых образчиков биографий ее прославленных военачальников. «Подвиги» писались при заинтересованном участии других членов кружка. Так, Михайловский-Данилевский постоянно «пересматривает» работу Глинки, подготовленную вчерне рукопись тот посылает Ахшарумову, который в ответных письмах высказывает критические суждения о трактовке Глинкой отдельных событий войны, призывает его к более строгому отбору документов, предостерегает от сухости изложения, ибо «ныне ничего скучного не читают», размышляет о том, как выход книги Глинки скажется на создании жизнеописаний героев 1812 г.[161]



Ф.Н. Глинка. Гравюра А. Афанасьева. 1825. ГИМ

Деятельность рейхенбахского кружка, преемственно связанного с группой прогрессивных публицистов походной типографии и с конспиративно-политическими объединениями дворянской молодежи 1810-х годов, явилась первой серьезной попыткой осмысления декабристским поколением исторического опыта 1812 г.

Тем существеннее для нас констатировать, что оживленная умственная атмосфера, царившая здесь, в немалой мере способствовала успешному завершению «Исторического описания». В письме к П.М. Волконскому от 25 января 1816 г. Ахшарумов вспоминал, что оно вышло «из Рейхенбаха во время перемирия 1813 года»[162].

«Историческое описание» несет на себе следы влияния умонастроений, политических пристрастий, исторических интересов участников кружка. Особо ощутимо воздействие на эту книгу «Рассуждения» Глинки. Его программно-просветительские установки оказываются созвучными трактовке Ахшарумовым характера и

движущих сил войны, его пониманию общественного предназначения истории 1812 г., свойств, которыми должен обладать ее автор, наконец, самой обращенности Ахшарумова с призывом создать такую историю к читателю, к публике, к соотечественникам. Во всем этом явственно различимы отголоски общих бесед, обсуждений, мнений.

Несомненно, сближались с установками на реабилитацию в «Историческом описании» Барклая и сочувственное отношение к нему членов кружка, что заметно выделяло их на общем фоне недоброжелательства к полководцу, которое весной и летом 1813 г. было еще достаточно стойким в высших штабных сферах.

После смерти Кутузова 16 апреля 1813 г. на его место был назначен П.Х. Витгенштейн, но на сей раз он оказался незадачливым главнокомандующим, что не замедлило обнаружиться в сражениях под Люценом и Бауценом. Тогда стали поговаривать о замене его Барклаем, но это сразу же вызвало нежелательные толки — инерция прошлогодней неприязни. Она отчетливо выразилась, например, в дневниковой записи за 27 апреля 1813 г. квартирмейстерского офицера Н.Д. Дурново, с осени 1812 г. близкого к Л.Л. Беннигсену и другим враждебным полководцу лицам из главной квартиры: Кутузову «принадлежит честь изгнания неприятеля из России, тогда как Барклай его туда впустил». Два дня спустя А.А. Закревский сообщал А.Я. Булгакову по поводу разговоров о Барклае в армии: «Не знаю, что теперь с ним сделают: будет ли он главнокомандующим или нет? Сего крайне не желают люди в главной квартире, а служащие в линии душевно сего желают, да и польза службы того требует»[163]. Уже после назначения Барклая 17 мая 1813 г. главнокомандующим русско-прусскими армиями с возражениями против этого и несправедливыми нападками на Барклая выступил гвардейский офицер Т. Бок, в особой записке упрекавший его в излишней «умеренности» в «начале кампании 1812 года», когда он «восстановил против себя всех», потому что «действовал несамостоятельно». Явно выражая мнение высокопоставленных кругов столичного общества, И.П. Оденталь писал 30 мая А.Я. Булгакову: «Барклай сделан опять главнокомандующим. Прогневали мы, видно, Бога снова. Опять напущено ослепление»[164].

Не говоря о рейхенбахском кружке в целом, отметим, что некоторые его участники, бесспорно, были лично

привержены к Барклаю. Так, о своей близости к нему именно в период перемирия вспоминал позднее Старынкевич, перешедший после смерти Кутузова в его штаб и исполнявший «некоторые личные его поручения». Барклай же в это время и позднее не раз оказывал Н.А. Старынкевичу свое покровительство[165].

Почитателем Барклая был тогда и Глинка. Известен его восторженный отзыв о полководце в записи за 16 августа 1812 г. «Писем русского офицера»: «Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на сего необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ль села, города и округа в руки неприятеля... его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю волнуем невольными сомнениями: куда идут войска? Для чего уступают области? И чем, наконец, все это решится? Но лишь только взглядываю на лицо сего вождя сил российских, и вижу его спокойным, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений... Он действует как провидение, не внемлющее простым воплям смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу». Указав затем на «обдуманный план» Барклая, Глинка уподобляет его Колумбу: невзирая на малодушное отчаяние спутников, он «видел ясно пред собою определенную цель и вел к ней вверенный ему провидением корабль. Так и главнокомандующий армиями Барклай де Толли, проведший с такою осторожностию войска наши от Немана и доселе... Сей благоразумный вождь, конечно, увенчает предначатия свои желанным успехом». В завершение Глинка обращается к античной традиции и соотносит своего героя с образом Катона — «сего великого мужа... превозмогающего зной, жажду и великую скорбь душевную»[166].

Отвлекаясь от поэтической тональности записи, в самой оценке отступательных действий Барклая нетрудно увидеть много общего с военно-стратегическими выкладками в его защиту в «Историческом описании» Ахшарумова. Надо признать, что в русской литературе вплоть до «Полководца» Пушкина не было столь сильной, лирически-проникновенной апологии Барклая.

Некоторые историки, склонные трактовать любой датированный текст «Писем» как синхронное отражение событий, приурочивают и данную запись к середине ав-

густа 1812 г. При этом, однако, не принимается во внимание, что «Письма русского офицера» — не походный дневник в его первозданном виде, а литературно-публицистическое произведение, созданное уже по окончании кампании и значительно переосмыслившее реалии военного времени. Вряд ли поэтому можно допустить, что эта возвышенная запись была сделана 16 августа 1812 г.— в разгар нападок на Барклая в войсках. Но полагать, что в ней выразилось изменившееся к середине 1813 г. отношение к нему Глинки и офицеров его круга, было бы вполне правомерно[167].

Не позднее начала июля 1813 г. завершенная в основном рукопись «Исторического описания» была рекомендована Коновницыным Александру I. Об этом мы узнаем из благодарственного письма Ахшарумова к своему генералу-покровителю от 16 числа того же месяца: «Мое историческое описание также получило ход. Государь был очень доволен и утвердил мою записку, сказав только о переводе книги на другие языки и о портретах: «Ето ты сделал по времени». По сей беспредельной милости государя я буду получать ежегодно 2555 рублей из Кабинета. Копию с именного о том указа при сем доставляю, равно как и копию с отношения к Гурьеву* о издании книги на казенный счет»[168].

Из этих строк мы еще раз убеждаемся в том, что до получения ее рукописи в июле 1813 г. Александр I ни о замысле «Исторического описания», ни о работе над ним Ахшарумова ничего не знал. Но это не помешало ему оказать автору «беспредельную милость», назначив за его труд ежегодное денежное вознаграждение в 2,5 тыс. руб.— сумму по тем временам и для таких случаев далеко не ординарную. Об этом, видимо, было известно в рейхенбахском окружении Ахшарумова. Старынкевич много лет спустя вспоминал, что за свое сочинение он сверх того был удостоен особой монаршей награды[169]. «Сверх того»,— имея в виду, что царь брал на себя все заботы по выпуску книги в свет.

28 июля рукопись «Исторического описания» с повелением о напечатании ее «на щет Кабинета его величества» была направлена в Петербург. 7 августа ее

* Министр финансов.

препроводили из Кабинета в столичный цензурный комитет с предписанием не подвергать обычному цензурному рассмотрению, а выполнить лишь редакторские функции — «употребить... старание об исправлении погрешностей в оной противу правил языка, которое нужно как по важности предмета сего сочинения, так наиболее по вниманию на оное его императорского величества». К 13 августа рукопись была подготовлена к набору (этим днем датировано и разрешение на ее выпуск). Прошло, однако, два месяца, прежде чем — 17 октября — первые экземпляры «Исторического описания» были разосланы из Кабинета в Министерство народного просвещения, Императорскую Публичную библиотеку и Академию наук. Но понадобилось еще полтора месяца, чтобы отпечатанный тираж книги появился, наконец, в начале декабря в книжных лавках столицы[170].

Вникая в обстоятельства ее издательского прохождения, трудно отделаться от ощущения известной двойственности в позиции Александра I. Несомненно, летом 1813 г. инициатива Ахшарумова пришлась как нельзя более кстати, и царь недаром в разговоре с ним признал ее своевременность: «Ето ты сделал по времени». Высочайшее одобрение этой книги с ее отчетливой ориентацией в пользу Барклая, когда он был поставлен во главе двух союзных армий, а после перемирия ожидалось умножение с его деятельным участием сил антинаполеоновской коалиции, обретало для Александра I особое значение. Теперь он уже не мог не посчитаться с неукротимыми притязаниями полководца на публичное оправдание. Тем более что в интересах упрочения престижа русского командования следовало, действительно, каким-то образом дезавуировать прошлогодние на него гонения.

В этом смысле покровительство Александра I «Историческому описанию» явилось весьма удобным способом удовлетворить эти притязания и как бы реализовать дважды данное Барклаю обещание о публичном оправдании его от имени правительства. (Ведь обозначение на титуле книги «Печатано по Высочайшему повелению» впервые возводило защиту полководческого авторитета Барклая в 1812 г. в ранг «легитимной», санкционированной высшей властью акции; не случайно поэтому она и издана была анонимно.) Главное же, чем был хорош этот

способ, так это тем, что позволял избежать столь пугавшего царя открытого выступления Барклая в печати с оправданиями от собственного имени. Тем самым Александр I надеялся, видимо, исчерпать давний и мучительный конфликт с полководцем, сочтя этот вопрос окончательно решенным как для себя, так и для него самого.

Притом царю очень важно было, чтобы в высших командных и офицерских кругах знали об активной поддержке книги Ахшарумова, и он постарался придать ее одобрению по возможности демонстративный характер, дав, в частности, обещания, которые и не собирался исполнять. Ахшарумов же, обвороженный личным благорасположением к нему императора (отсюда и приподнятый тон его письма от 16 июля 1813 г.), всерьез этому поверил.

Так, Александр I в беседе с ним пожелал снабдить книгу портретами. По ее содержанию речь должна была бы идти в этом отношении прежде всего о Барклае. Но следует учесть, что в выходивших тогда в России публицистических сочинениях о 1812 годе и жизнеописаниях военачальников если и появлялись их портреты, то только тех, кто пользовался в то время массовой и непререкаемой популярностью. При таких предпосылках помещение в «Историческом описании» портрета опального в 1812 г. Барклая — на фоне многомесячного умолчания его имени — летом 1813 г. вряд ли еще могло представиться сколько-нибудь уместным. Включение же в книгу портретов других отличившихся в 1812 г. русских военачальников при отсутствии изображения главного ее персонажа выглядело бы просто политической бестактностью, на что Александр I тоже пойти не мог. Так или иначе, книга была издана без всяких портретов — ясно, что его пожелание на сей счет ничего реального за собой не имело.

Подобным же образом обстояло дело и с высказанным Ахшарумову намерением издать его книгу в переводах «на других языках» — это означало бы официальную реабилитацию Барклая перед общественным мнением европейских стран, в чем не было особой надобности, так как вопрос о его реабилитации вовсе не стоял здесь столь остро, как в России, а потому и данное намерение царя было не актуально. Но если бы все-таки в планы Александра I и входило издание книги на иностранных язы-

ках, то оно, при его всемогущем авторитете, было бы непременно осуществлено. Известно, что в ту пору при поддержке правительства и командования армии некоторые особо значимые произведения русской военной публицистики переводились на европейские языки и печатались (в Петербурге или в походной типографии главной квартиры, где имелась надлежащая техника) со специальной целью их распространения за рубежом, как то было, скажем, с разобранной выше брошюрой П.А. Чуйкевича. Но в отношении книги Ахшарумова этого, по-видимому, сделано не было. Во всяком случае в достаточно полной библиографии литературы той эпохи об Отечественной войне на иностранных языках обещанные царем европейские переиздания «Исторического описания» не значатся[171].

Во всем этом проглядывает лукавое стремление царя представить свои усилия по его одобрению гораздо большими, нежели они были на самом деле.

Об истинном отношении Александра I к участи этой книги, прославлявшей Барклая в духе его оправдательных записок, куда вернее свидетельствует, например, непонятная, на первый взгляд, задержка с ее выпуском. Мы уже видели, что в Петербурге печатание и рассылка тиража были почему-то дважды застопорены, и в результате русское издание «Исторического описания», невзирая на «важность предмета сего сочинения» и особое внимание к нему «императорского величества», затянулось на пять месяцев, тогда как при столь благоприятных условиях оно могло быть выпущено за месяц. Александр I определенно тормозил выход его в свет.

Равным образом он не желал, чтобы книга Ахшарумова была доведена до сколько-нибудь значительной читательской аудитории, и, очевидно, распорядился ограничить тираж. В 1820 г. всезнающий Михайловский-Данилевский в разборе русских сочинений об Отечественной войне глухо напомнил, что эта книга, увидевшая свет «в походе 1813 года», «была тогда напечатана в небольшом числе экземпляров, коих теперь в продаже не находится». Однако библиографической редкостью она стала, ввиду мизерного тиража, не несколько лет спустя, а сразу же, как только появилась из печати. В декабре 1813 г. «Сын отечества» сетовал на то, что «сие сочинение у нас весьма мало известно». Сам же Ахшарумов считал, что тираж «Исторического описания» вообще не обращал-

ся в публике. В январе 1816 г. он писал П.М. Волконскому, что экземпляры книги «вероятно остались без выпуска из типографии»[172].

И напоследок несколько слов о взаимоотношениях Барклая с Ахшарумовым в связи с его книгой. Скорее всего столь необходимые «барклаевские материалы» поступили к нему по приезде в Рейхенбах в середине июня 1813 г. от самого полководца — на это указывает хотя бы совпадение времени их получения с совместным пребыванием здесь того и другого.

В Рейхенбахе для Ахшарумова впервые после Тарутина открылась возможность личного общения с Барклаем — беседовать с ним, слушать его припоминания и стратегические соображения и т.д.

В Рейхенбахе же, где собрался тогда цвет армейского командования, в обстановке живых и повседневных контактов с офицерской молодежью, привлеченной к военно-историческим занятиям в русском штабе, Барклай не мог не узнать о подготовке Ахшарумовым еще по заданию Кутузова описания действий 1-й армии, которой он в 1812 г. предводительствовал.

Поэтому передал он ему запрещенное царем к публикации «Оправдание» не просто для ознакомления, а с ясным пониманием того, что в той или иной форме оно будет использовано в «Историческом описании», послужив делу защиты его отступательной стратегии.

Вопреки, однако, намерению Александра I с изданием этой книги «закрыть» вопрос об оправдательных устремлениях Барклая, очень скоро они вновь получили публичное выражение.

Н.И. Греч и «Сын отечества»

С начала октября 1812 г. молодой литератор и переводчик Н.И. Греч, внук выходца из Германии, секретаря Э. Бирона и профессора истории и нравоучения Сухопутного Кадетского корпуса Иоганна Греча, в недавнем прошлом преподаватель русской словесности в Петербургской гимназии, снискавший уже известность как издатель либеральной газеты «Гений времен» и «Журнала новейших путешествий», приступил к выпуску еженедельника «Сын отечества». Он был основан при поддержке видных столичных сановников С.С. Уварова, А.Н. Оленина и И.О. Тимковского и предназначался

исключительно для освещения текущих событий войны — «для помещения реляций и частных известий из армии, для опровержения вредных толков насчет хода происшествий, для сосредоточения патриотических мыслей»[173].

Само возникновение «Сына отечества» с этой целью в пору острейшего государственного кризиса, когда Наполеон занимал древнюю русскую столицу и над страной нависла угроза утраты независимости, явилось ответом на жгучую общественную потребность и современниками расценивалось как акт национального самосознания. «Назначение сего журнала,— писал в том же октябре 1812 г. А.И. Тургенев,— было помещать все, что может ободрить дух народа и познакомить его с самим собою»[174].

И хотя «Сын отечества» пользовался поначалу правительственной поддержкой (Александр I пожаловал даже на его издание крупную денежную сумму) и не вполне размежевался с охранительно-монархической журналистикой, вскоре он превратился в самостоятельное частное издание «либералистского» толка, став уже в эпоху 1812 г. лучшим и наиболее популярным русским журналом, а в 1816—1825 гг., при значительно расширившейся тематике,— и органом декабристской прессы, в котором печатались члены тайных обществ и литераторы близкого к ним круга. Такое направление «Сына отечества» всецело определялось политической ориентацией Н.И. Греча до его резкого поправения после декабря 1825 г., когда он еще пользовался репутацией вольнодумца и, как один их тех, кто, по его собственным словам, «тянул песню конституционную», не отделял себя от прогрессивной дворянской интеллигенции.

Передовой характер общественной позиции журнала отчетливо проявился уже в период войны. «Как отражение и вместе с тем руководитель народных мыслей и вестник исторических событий, «Сын отечества»,— отмечали позднее его историки,— в первые свои годы представляет прекрасное указание духовного состояния современного русского общества»[175]. Журнал в тираноборческом духе обличал деспотизм Наполеона, популяризировал народную войну и партизанскую самодеятельность крестьян, отстаивал конституционную идею и возросшую силу «общего мнения», в гражданственных тонах истолковывал патриотизм, а в самой войне

видел провозвестие социального обновления и начало нового этапа в политическом существовании России. Недаром настроенный более чем консервативно Ф.Ф. Вигель с раздражением вспоминал, как в конце 1812 г. жадно читали «жиденькие книжки» «Сына отечества», «исполненные выразительных, даже бешеных статей».

Журнал наполнял живой и злободневный материал: известия о боевых действиях, «анекдоты» о героизме офицеров, рядовых чинов, простых крестьян и горожан, письма из провинции, историко-публицистические обзоры и чисто исторические статьи с остросовременным подтекстом, стихи, басни, солдатские песни, патриотические воззвания, «речи», «разговоры», «выписки» из иностранных ведомостей, переводы антинаполеоновских сочинений зарубежных авторов, отклики на выходившие в России и других странах книги о войне и политическом состоянии Европы и т.д. Не удивительно, что «Сын отечества» пользовался стойкой популярностью в действующей армии, где каждую его книжку встречали с живейшим интересом. Гвардейский прапорщик штаба Польской армии Л.Л. Беннигсена Никита Муравьев писал 26 декабря 1813 г. Е.Ф. Муравьевой из Бередорфа: «Когда вы мне будете писать, то описывайте нам, что у вас в Петербурге делается. Нас все это в здешней глуши занимает, а если б можно было прислать несколько номеров Сына отечества, хоть сентября месяца, то вы не только меня, но и всю Польскую армию обрадуете». А 20 марта 1814 г. в ответ на доставление журнала он сообщал ей: «Здесь все благодарны вам, любезнейшая маминька, за Сына отечества, его читала вся наша главная квартира»[176].

Особую свежесть и новизну военным материалам «Сына отечества» придавало то, что они непосредственно восходили к армейской среде. Опытный и предприимчивый издатель, Н.И. Греч сумел наладить тесные и разветвленные связи с действующей армией, ее главной квартирой, с просвещенным слоем русских офицеров, и без их деятельного участия «Сын отечества» не приобрел бы того облика, который был свойствен ему в эпоху наполеоновских войн.

Разумеется, как и другие периодические издания того времени, «Сын отечества» не имел в армии «специальных» корреспондентов, но он располагал широкой сетью «нештатных», добровольных сотрудников, которые регу-

лярно присылали в журнал свои статьи, заметки, сообщения. Не случайно во многих его книжках за 1812—1814 гг. при публикации тех или иных материалов нередко указывалось на получение их из «действующей армии», из «главной квартиры», от «одного русского офицера» и т.д. Преимущественно этим, а не только правительственной поддержкой, как принято было считать в старой историографии[177], объясняется весьма оперативное (сравнительно даже с официальной прессой) проникновение на страницы «Сына отечества» военных новостей. «С изумительной быстротою и точностию,— писали историки журнала,— помещались в нем все официальные и неофициальные сведения, полученные с театра военных событий, чрез военные канцелярии, бывшие в Петербурге, или чрез непосредственных корреспондентов редактора»[178].

Разысканиями последнего времени было показано, что наиболее прочные связи сложились у него с идейно близким «Сыну отечества» кружком офицеров и литераторов при походной типографии русского штаба, снабжавшей журнал своими агитационно-публицистическими изданиями. В 1812—1813 гг. в «Сыне отечества» увидело свет не менее девяти армейских летучих изданий, и среди них были произведения наиважнейшего для походной типографии значения, как, скажем, брошюра «Отступление французов», подводившая первые итоги Отечественной войны. И, что характерно, появлялись они здесь чрезвычайно быстро, иногда буквально через несколько дней после выпуска их походной типографией, тогда как в другие журналы и газеты они попадали спустя месяц, два и более того. Причем в «Сыне отечества» эти летучие издания печатались по типографским экземплярам, присылавшимся прямо из главной квартиры.

Н.И. Греч был весьма активен и в продвижении некоторых из этих изданий в столичную печать, например, той же брошюры «Отступление французов». Так, в конце декабря 1812 г., еще за неделю до публикации брошюры в «Сыне отечества», он представил в цензуру только что полученный из армии экземпляр, добившись разрешения на ее скорейшее напечатание в Петербурге отдельной книжкой. Из окружения походной типографии выходили корреспонденции и специально написанные для «Сына отечества», а также стихотворные произведения на военные темы. Заметное внимание проявлял журнал к

личности директора походной типографии А.С. Кайсарова, поместив после его трагической гибели в мае 1813 г. посвященный ему некролог и его «Речь о любви к отечеству», проникнутую гражданственно-просветительскими мотивами[179].

Но, как теперь выясняется, несколько позднее такие же тесные связи установились у «Сына отечества» и с сообществом военных историков в Рейхенбахе — другим очагом передовой офицерской мысли. В июле 1813 г. в журнале было анонимно напечатано «Известие о службе и подвигах генерала Коновницына» — биографический очерк об «одном из главных виновников» русской победы, обозревавший его деятельность на военном поприще, участие в кампании 1812 г. и заграничных походах, вплоть до ранения в Люценском сражении. В редакционном примечании указывалось, что очерк доставлен «из главной квартиры Российской армии»[180]. Переписка участников рейхенбахского кружка позволяет установить, что он был написан не кем иным, как Ахшарумовым, видимо, еще в апреле 1813 г. «Вот военная биография нашего Петра Петровича. Кажется, она ни в чем не утрирована»,— сообщал он 30 апреля Михайловскому-Данилевскому, пересылая текст биографии с просьбой содействовать продвижению ее в печать[181]. 18 мая Михайловский-Данилевский писал Н.И. Тургеневу в Петербург: «Я вам пришлю на днях биографию Коновницына. Прошу подать сию биографию для напечатания в «Сын отечества». Это, без сомнения, интереснейшая пьеса, которая будет украшением сего журнала»[182]. Примечательно, что передаточным звеном явился здесь виднейший в будущем декабрист Н.И. Тургенев — добрый знакомец Михайловского-Данилевского и других офицеров и литераторов, входивших в типографский кружок А.С. Кайсарова и рейхенбахское сообщество военных историков. Возможно, что он и в иных случаях выступал в 1812—1813 гг. посредником между ними и «Сыном отечества».

В октябре 1813 г. там был напечатан «Отрывок из письма Русского офицера к издателям, из гл. армии» — еще одно сообщение о Коновницыне, его возвращении в войска и вступлении в командование Гренадерским корпусом. Автором и этого «Отрывка» был Ахшарумов. 3 ноября 1813 г. Ф.Н. Глинка писал из своего смоленского имения Михайловскому-Данилевскому в армию: «Любез-

нейшему другу Дмитрию Ивановичу прошу засвидетельствовать мою душевную преданность. По напечатанному его письму узнал я о приезде почтенного генерала Коновницына»[183].

Еще одному участнику рейхенбахского кружка — упомянутому выше А.А. Щербинину принадлежала корреспонденция о движении союзных армий в районе Теплица, появившаяся в следующем номере «Сына отечества» под названием: «Перечень письма Русского офицера из Теплица, от 17 сентября». «Если не ошибаюсь, кажется, письмо о Теплицком деле, помещенное в «Сыне отечества», было писано любезнейшим Александром Андреевичем»,— сообщал Глинка Михайловскому-Данилевскому 3 ноября 1813 г.[184]

Не забудем при том, что именно в «Сыне отечества» некоторое время спустя был напечатан программный трактат сообщества военных историков в Рейхенбахе — «Рассуждение о необходимости иметь Историю Отечественной войны» самого Глинки.

Но еще важнее, что «Сын отечества» пропагандировал те же представления об общественно-просветительском назначении исторического труда о 1812 годе и качествах его будущего составителя, которые развивали в рейхенбахском кружке Глинка и Ахшарумов. Призывая соотечественников описывать отдельные эпизоды войны и вообще «умножать число материалов» о ней, журнал отмечал, что саму «историю сего знаменитого года» «может и должен написать природный Россиянин... Надлежит питать в сердце истинное народное чувство, надлежит быть соплеменником с героями чудесной брани, чтоб понимать и изображать все их подвиги, которые иноземцу покажутся романическими или преувеличенными»[185].

Отличительная черта позиции «Сына отечества» — это его линия на реабилитацию полководческого авторитета Барклая, которую он проводил раньше и последовательнее других русских периодических изданий той эпохи.

В январе—феврале 1813 г. здесь печаталось «Обозрение кампании 1812 года с 12 июня по 31 декабря». Хотя оно было основано на официальной документации, почти не заключало в себе анализа событий и не не называло имени Барклая (как бы растворенного в общем понятии

145

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРІЯ и ПОЛИТИКА.

III.

Народная война 1812, 1813 и 1814 годовъ.

Знамена Россійскія развѣваются на Тюльерійской площади. Съ сего мѣста обратимъ взглядъ на начало сей войны, въ слѣдующихъ отрывкахъ начертаное, и увидимъ въ первыхъ дѣйствіяхъ Россіянъ, ту же мудрость, которая приготовляетъ нынѣшнія ихъ побѣды; ту же храбрость, коею нынѣ оживляются ряды ихъ, и тѣхъ же Полководцевъ подъ Высочайшимъ предводительствомъ Государя Своего, помрачившихъ славу надменнаго Корсиканца. Великодушный Монархъ Россіи простираетъ благодѣющую Свою десницу надъ народами Европы, — и оковы рабства спадаютъ съ нихъ. Онъ безсмертною твердостію своею спасъ Россію и на спасеніи Отечества нашего основываетъ благоденствіе вселенной!

Отрывокъ первой.

*О первой эпохѣ войны 1812 года *)*

Уже въ началѣ 1810 года можно было проникнуть алчные противъ Россіи замыслы властителя Французовъ. Сдѣлалось извѣстнымъ, что онъ готовитъ намъ войну — и войну ужаснѣйшую по намѣреніямъ, единственную по роду своему и важнѣйшую по слѣдствіямъ, гото-

* Сія эпоха тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманіе наше, что нынѣ Бонапарте нашелся принужденнымъ вести войну оборонительную и доказалъ, что урокъ, преподанный ему въ Россіи, ни мало не послужилъ ему въ пользу. Сіи отрывки сочинены очевиднымъ наблюдателемъ. *Изд.*

Начальная страница публикации второй редакции "Оправдания" М.Б. Барклая де Толли в "Сыне отечества". 1814. №16

«Полководцы Российские»), тем не менее неизвестный нам автор коснулся и «оборонительного плана», который, по его словам, был «рассчитан, предвиден и исполнен с таким благоразумием, твердостию и успехом!». Но в силу самого хода вещей нельзя было «определить той точки, до которой производимо будет сие отступление», и даже отход русской армии от Смоленска имел свое оправдание в численном превосходстве неприятельских войск.

Мало-мальски вдумчивый читатель не мог не увидеть в этом весьма прозрачного намерения взять под защиту отступательную стратегию Барклая, и попытку

парировать наиболее расхожие в 1812 г. упреки в его адрес, и сделано это было едва ли не впервые в русской военной публицистике того времени.

В конце сентября 1813 г. в «Сыне отечества» появляется одно из ранних упоминаний самого его имени в русской печати после прошлогодней опалы — «Приношение его высокопревосходительству Михайлу Богдановичу Барклаю де Толли, 19 августа 1813 года в Теплице», которое, как указывалось здесь, было «напечатано в гл. квартире большой армии того же числа». В этом стихотворном послании по поводу награждения Барклая за победу под Кульмом наивысшим знаком воинского отличия — орденом св. Георгия 1-й степени — содержалось не только прославление его участия в кампании 1813 г., но и признание несправедливости нападок на него, явно ассоциировавшееся с враждебной полководцу атмосферой в верхах армии летом 1812 г.:

Сподвижники вокруг тебя все в восхищеньи,
Враги твои молчат в раскаяньи, смущеньи.

Симптомом сочувственного внимания «Сына отечества» к Барклаю явилась и оперативная, заинтересованная реакция на историко-публицистические сочинения, изданные в 1813 г. в его защиту. В мае в журнале была напечатана разобранная выше пространная рецензия на «Рассуждения» П. Чуйкевича, а в декабре появился отклик на «Историческое описание» Ахшарумова — сообщение о его выходе в свет с перепечаткой историко-политического вступления к книге[186].

На самое значительное выступление «Сына отечества» в защиту Барклая было еще впереди. Просматривая его подшивку за следующий, 1814 год, в двух апрельских книжках мы натолкнулись на статью, озаглавленную «Отрывок первой. О первой эпохе войны 1812 года» и помещенную под общей шапкой «Народная война 1812, 1813 и 1814 годов». В конце подпись, обозначенная буквой «Р»[187]. Лишь знакомство с текстами оправдательных записок Барклая позволило распознать в затерянном на страницах старинного журнала, в течение 180 лет так и не привлекшем к себе внимания историков материале одну из этих записок — вторую редакцию «Оправдания». Напомним, что она была создана Барклаем не ранее февраля 1813 г. (после того, как Александр I отказался обна-

родовать предшествующую, резкую по тону, первую его редакцию) в надежде на ее публикацию при устранении чересчур личностного звучания, но царь, как и прежде, не дал и на это своей санкции.

Если не считать зачина и заключения, заново написанных Н.И. Гречем, во всем остальном эта статья воспроизводит текст второй редакции «Оправдания» почти дословно — точно таким, каким он сложился в черновой рукописи из коллекции А.И. Михайловского-Данилевского в ходе переработки Барклаем первой редакции во вторую.

Вместо двух ее начальных абзацев с указаниями на «нынешнюю войну», на происшествия кампании 1812 года», в журнальной статье 1814 г., напечатанной через месяц после взятия Парижа, дано новое вступление, «осовремененное» сквозь призму этого завершающего акта наполеоновских войн («вставной» характер вступления подчеркнут, между прочим, тем, что оно расположено сразу после шапки «Народная война 1812, 1813 и 1814 годов» и перед собственным заглавием статьи «Отрывок первой. О первой эпохе войны 1812 года», т.е. как бы отделено от ее текста): «Знамена Российские развеваются на Тюльерийской площади. С сего места обратим взгляд на начало сей войны, в следующих отрывках начертанное, и увидим в первых действиях Россиян ту же мудрость, которая приготовляет нынешние их победы; ту же храбрость, коею ныне оживляются ряды их, и тех же Полководцев, под высочайшим предводительством Государя своего помрачивших славу надменного корсиканца...» Ясно, что это был завуалированный панегирик «мудрости» Барклая, ибо с кем же еще, как не с ним, связывались в общественном сознании и «первые действия Россиян» в «начале сей войны», и «нынешние их победы»,— все знали, что именно под его предводительством русские войска вошли в поверженный Париж.

Той же цели анонимного прославления Барклая служила и заключительная часть статьи, заменившая последние абзацы барклаевской записки. Отметив, что «первая эпоха сей вечнодостопамятной войны» ознаменована всеобщими пожертвованиями, стойкостью государя, мужеством неустрашимого народа, автор обращает свой взор на «Полководцев, отказывающихся с редким великодушием от преходящей славы, которую легко

могли купить небрежением целого, и возлагающих на себя бессмертный, но трудный подвиг истинного спасения России».

К заглавию статьи «О первой эпохе войны 1812 года» дано под строкой редакционное примечание: «Сия эпоха тем более заслуживает внимание наше, что ныне Бонапарте нашелся принужденным вести войну оборонительную и доказал, что урок, преподанный ему в России, ни мало не послужил ему в пользу»[188].

Указание на «оборонительную войну» Наполеона, «привязанное» к напечатанной в «Сыне отечества» статье, проливает свет на время доставления в Петербург ее «протографа». Это могло быть уже после выхода союзных армий в ноябре 1813 г. на Рейн, когда под их натиском началось отступление французских войск. Скорее всего, поэтому, текст второй редакции «Оправдания» был получен Н.И. Гречем из армии еще в конце 1813 или начале 1814 г., задержавшись по тем или иным причинам с публикацией до завершения кампании.

На этом, однако, ее издательская история не кончилась.

Среди всякого рода патриотических брошюр, антинаполеоновских памфлетов, военных обзоров и т.д., которыми так богата русская публицистика эпохи 1812 г., выделяется по сходству с заглавием разбираемой нами статьи маленькая книжка «Исторический отрывок. О первой эпохе войны 1812 года», выпущенная без титула, без обозначения места, года издания и типографии, ее отпечатавшей. Даже беглое ознакомление с ней не оставляет сомнения в том, что перед нами как раз эта самая статья из «Сына отечества» с теми только отличиями, что здесь снята общая шапка «Народная война...», «Отрывок первой» в заглавии заменен на «Исторический отрывок» и вступление помещено без разделения его с основным текстом.

Предположение о том, что «Исторический отрывок...» — оттиск из журнала, должно отпасть, так как размер книжки заметно меньше формата «Сына отечества», хотя ее шрифт идентичен журнальному, из чего можно заключить, что это типичное для того времени летучее издание было выпущено в Петербурге, очевидно, в том же 1814 г. при прямом участии Н.И. Греча. Ныне оно представляет собой чрезвычайную редкость, сох-

ранившись в наших центральных библиотеках всего в нескольких экземплярах.

Два года спустя Н.И. Греч выпустил антологию лучших материалов своего журнала на темы Отечественной войны и заграничных походов — «Сын отечества. Собрание сочинений и переводов, изданных в продолжении войн 1812, 1813 и 1814 годов» (СПб., 1816), и в разделе «Современная история» (с. 67—82) еще раз перепечатал статью «О первой эпохе войны 1812 года», сняв начальный элемент заголовка: «Отрывок первой» и написанные им для публикаций 1814 г. вступление и редакционное примечание, приуроченные к реалиям того времени и потерявшие свою актуальность в новых, послевоенных условиях.

Благодаря трехкратной публикации усилиями Н.И. Греча в первые послевоенные годы текст второй редакции «Оправдания» получил широкую известность в читающей публике — в тех условиях, когда в России интерес к событиям 1812 г. неуклонно нарастал.

В свете того, что мы знаем ныне о тесных связях «Сына отечества» с главной квартирой действующей армии в 1812—1813 гг., где он имел своих надежных корреспондентов и информаторов, со штабной офицерской интеллигенцией, благожелательно настроенной к Барклаю и соприкасавшейся с его окружением, вполне проясняется, какими путями мог быть доставлен Н.И. Гречу текст оправдательной записки полководца.

Есть достаточно оснований считать, что, печатая ее в своем журнале, Греч был осведомлен и о том, кто автор записки, и о царском запрете на ее обнародование. Только этим можно объяснить продуманно закамуфлированный характер ее публикации в «Сыне отечества». Греч, в сущности, мистифицировал читателя, сделав все, чтобы отвести подозрение в фактической принадлежности статьи «О первой эпохе войны 1812 года» перу Барклая. Именно этой цели служило помещение ее в журнале под названием «Народная война 1812, 1813 и 1814 годов», не имеющим ничего общего с темой статьи. Тот же смысл имело ее представление трижды — во вступлении, в редакционном примечании, в собственном ее заглавии — как некоего «отрывка» из более обширного военно-исторического повествования, продолжение которого будто бы последует в будущих книжках журнала, хотя на самом деле ничего подобного в них затем не появилось.

Ради отвлечения внимания читателей от действительного автора в конце редакционного примечания было сказано, что «сии отрывки сочинены очевидным наблюдателем»,— кем-кем, но «наблюдателем» описанных в статье событий счесть Барклая никто тогда бы не догадался.

Наконец, на ложный след наводила и стоявшая в конце статьи подпись «Р». Это был часто употребляемый в начале XIX в. криптоним, которым в столичной прессе подписывались, например, Н.М. Карамзин, Н.А. Радищев (сын А.Н. Радищева), сам Н.И. Греч, А.Ф. Воейков,— все они, кроме Карамзина, выступали под этим криптонимом в журналах и газетах 1812—1813 гг., а Воейков печатался под ним в те годы и в самом «Сыне отечества»[189]. Следовательно, подпись «Р» не просто уводила в сторону от истинного автора статьи, а как бы еще сигнализировала об ее происхождении не из военно-армейской, а журнально-литературной, столичной среды.

Было бы наивно думать, что вторая редакция «Оправдания» могла оказаться в распоряжении Греча, минуя, так сказать, Барклая. Ведь предшествующие его записки попадали на страницы историко-публицистических произведений о 1812 годе только потому, что их авторы располагали ими как наиболее доверенные сотрудники полководца, посвященные в его оправдательные усилия (А.И. Барклай де Толли, П.А. Чуйкевич), или получили эти тексты непосредственно от него самого (Д.И. Ахшарумов).

Вторая редакция «Оправдания», после того как не была разрешена Александром I к напечатанию, как сугубо секретный документ хранилась лично у Барклая и не могла стать кому-либо известной, не пожелай он того, ибо в тех обстоятельствах ее неконтролируемое распространение затронуло бы самые болезненные стороны взаимоотношений полководца с царем. Поэтому с большой долей вероятия можно считать, что она попала в руки издателя «Сына отечества» также с ведома Барклая, которому должна была импонировать последовательная защита журналом в 1813 г. его репутации.

К тому же к концу 1813 г. ни одна из его оправдательных записок в полном своем виде так и не увидела света. Поэтому, передавая вторую редакцию «Оправдания» в «Сын отечества», Барклай тем более должен был быть заинтересован в ее публикации, но, естественно,

при условии, что его авторство никоим образом не будет разглашено.

Итак, натолкнувшись на сопротивление царя в своем стремлении лично обратиться к соотечественникам со своими оправданиями, Барклай встал на путь продвижения их в печать уже «не от имени своего», а скрытно от верховной власти. Первые его шаги в этом направлении были предприняты еще в начале 1813 г., когда он дает согласие на популяризацию в брошюрах П.А. Чуйкевича и А.И. Барклая де Толли текста «Объяснения». Летом 1813 г. Барклай предоставляет Д.И. Ахшарумову для включения в «Историческое описание войны 1812 года» наиболее острый и развернутый свой защитительный документ — «Оправдание» в первой редакции. Наконец, в конце 1813 или начале 1814 г. из оставшихся после того записок — второй и третьей редакций «Оправдания» — он выбирает для публикации в «Сыне отечества» не третью, умеренную редакцию с апологией Александра I, а вторую, при ее внешне безличностной форме достаточно откровенную, особенно в том, что касалось утверждения приоритета отступательной стратегии в общем ходе войны. Таким образом, в обход царя, анонимно Барклаю удалось довести до читателя содержание главных своих оправдательных записок.

Но знал ли, догадывался ли Александр I об этих его скрытых усилиях? Прямыми и точными данными по столь деликатному сюжету мы не располагаем, да и вряд ли вообще можно надеяться на их обнаружение. Тем не менее сам вопрос существует и ответить на него каким-то образом надо.

Как ни старался Барклай остаться в тени, его активность в печатном (как увидим далее, и рукописном) распространении своих оправдательных записок не могла остаться во время заграничных походов совсем уж незамеченной в верхах армии, а следовательно, и самим царем.

Можно предполагать, что, получив там известность, они отчасти достигали цели всем пафосом, прямотой и убедительностью доводов Барклая в отстаивании своего полководческого авторитета. На это, видимо, намекал генерал С.И. Маевский — в 1812 г. директор штабной канцелярии Кутузова, а в 1813 г.— старший адъютант начальника Главного штаба П.М. Волконского и правитель военно-походной канцелярии императора. В

1830-х годах он писал в своих воспоминаниях: «Несчастная ретирада наша до Смоленска делает честь твердости и уму бессмертного Барклая. *Собственное его оправдание есть лучшая улика жестоко действовавшим против его особы*» (курсив мой. — *А.Т.*)[190].

Трудно также допустить, чтобы Александр I, читавший еще в рукописи «Историческое описание» Ахшарумова, не распознал инкорпорированные в него тексты (правда, без ссылки на автора) первой редакции «Оправдания», которую еще за несколько месяцев до того не разрешил к обнародованию. Мы не знаем, попалась ли ему на глаза после ноября 1813 г. брошюра А.И. Барклая де Толли, построенная на материале «Объяснения», но что мимо него не прошло изданное еще весной 1813 г. «Рассуждение о войне 1812 года» П. Чуйкевича с популяризацией в духе того же «Объяснения» стратегического курса Барклая — это представляется вполне вероятным. Тем более что «Рассуждение» утверждало точку зрения русского командования на итоги войны перед русским и зарубежным общественным мнением, а сам Чуйкевич был слишком видной фигурой в высших военных сферах, чтобы его важнейшее военно-политическое сочинение оказалось за пределами царского внимания.

За всеми этими случаями анонимного проникновения в печать фактически запретных оправдательных записок Александр I имел все основания усмотреть целеустремленную активность самого Барклая, его скрытое противодействие монаршей воле. Но это опять же болезненно затрагивало самолюбие царя, а при его и без того не в меру развитой подозрительности внушало к полководцу сильное недоверие. На один небольшой эпизод из истории их взаимоотношений в 1813 г. мы хотели бы в этой связи здесь сослаться.

На склоне лет А.А. Закревский делился рассказами о прошлом со своим зятем Д.В. Друцким-Соколинским, который надеялся, что из записей устных мемуарных диктовок вырастет со временем книга воспоминаний. Замыслу этому не суждено было осуществиться, но кое-какие записи все же сохранились и после смерти старого генерала вошли в его развернутую биографию. Повествуя в ней о том, как в 1813 г. Закревский, уже сильно приближенный тогда Александром I, возвышался по службе и, в частности, за Кульмское сражение был

произведен в генерал-майоры, за Лейпцигское — пожалован в генерал-адъютанты, Друцкой-Соколинский пишет: «Тотчас после своего нового назначения (т.е. во второй половине октября, если не в начале ноября 1813 г.— *А.Т.*) Закревский лично получил следующее поручение от самого государя. Я столько раз слышал от покойного об этой эпохе его жизни и всегда одинаково, что приводимые мною ниже слова государя безусловно верны, или, точнее сказать, безусловно те, которые слышал от А.А. Закревского. Главнокомандующим тогда русской армии в Германии был Барклай де Толли. «Я не хочу,— сказал Государь Закревскому,— затруднять главнокомандующего письменными занятиями и личными объяснениями, посему назначаю вас состоять при нем и мне ежедневно, а то и чаще, если необходимо, сообщать все, что главнокомандующий сочтет нужным доводить до моего сведения. В походе не всегда можно писать, как следует,— пишите мне хоть на клочке бумаги, карандашом. Если же и писать вам будет некогда,— присылайте мне словесные сообщения. Для сего назначаю состоять при вас двух моих флигель-адъютантов»[191].

Не входя сейчас в разбор всех деталей и нюансов этого более чем красноречивого свидетельства, отметим главное. Если называть вещи своими именами, то Александр I под благовидно-дипломатическим предлогом, дабы не покоробить чувство воинской и чисто человеческой чести своего генерал-адъютанта, предложил ему состоять при Барклае в роли негласного наблюдателя, соглядатая, желая, чтобы он любыми средствами, постоянно, пренебрегая даже принятой формой всеподданнейших донесений, осведомлял его буквально о каждом шаге главнокомандующего. (Способен ли был сам Закревский на уготованную ему царем роль — это уже другой вопрос, но в данном случае нас интересует лишь намерение Александра I.)

Надо сказать, что в критическую пору 1812 г. в своих отношениях с Кутузовым, Багратионом и самим Барклаем Александр I не без успеха насаждал в штабах негласных информаторов, сносившихся с ним через голову главнокомандующих, и вообще поддерживал вокруг них противоположные, а то и враждовавшие между собой группировки. В 1813 г., по возвращении в армию такой способ осведомления о военных делах практиковался Александром I, видимо, реже, возможно, и потому, что

он находился тогда в относительной близости к командующим войсками.

Барклай, поставленный в феврале 1813 г. во главе 3-й армии, а в мае — русско-прусских войск, действовал часто в значительном отдалении от императорской главной квартиры, но на протяжении большей части кампании мы не увидим в его окружении какой-либо заметной военной фигуры, которая могла бы быть заподозрена в выполнении столь щекотливых поручений царя. Что же до Закревского, то при отъезде Барклая в феврале из главной квартиры он не был отпущен с ним,— Александр I, ценя его деловые качества и штабной опыт, удостоил чести состоять при своей особе. И хотя Закревский тяготился пребыванием при императоре, рвался в действующую армию к своему бывшему начальнику, невзирая на его просьбы и ходатайства самого Барклая, Александр I упорно стоял на своем. 16 марта 1813 г. Закревский пишет из Калиша А.Я. Булгакову: «Государь оставил меня при себе: то есть не при чем. И на несколько просьб Михайла Богдановича обо мне никакого решения по сие время не сделал. Но я не смотря ни на что... буду проситься опять, и каков будет успех, Бог знает». Полтора месяца спустя уже из Бауцена он жалуется М.С. Воронцову: «Я живу при главной, беспутной квартире, и по сие время, не смотря на просьбы Михайла Богдановича об мне, государь отказал. Не знаю, что теперь будет»[192].

И вот только теперь, поздней осенью 1813 г., намерение Александра I в отношении Закревского неожиданно меняется.

Не связано ли возложение на него осведомительных функций при Барклае с тем, что как раз к этому времени выявились скрытые усилия последнего по преданию гласности официально запрещенных оправдательных записок, и, опасаясь дальнейших разглашений, царь решил не выпускать его из поля своего зрения?

В борьбе за свою реабилитацию Барклай выказал не только недюжинную настойчивость. Во всех ее перипетиях мы видим не просто оскорбленное самолюбие неудачно проведшего кампанию военачальника, а более всего высоко развитые понятия о чести и достоинстве убежденной в своей правоте личности, ущемление которых задевало сами устои ее духовного существования. И надо признать, что подобного рода позиция частного лица редко выражалась в ту эпоху, особенно в придворных,

военно-аристократических кругах, а тем паче перед самим императором, с такой внутренней силой и непреклонностью. Но этот барклаевский прецедент предстанет перед нами в подлинном своем значении, если посмотреть на него в более широкой культурно-психологической перспективе — как на один из симптомов становления в русском обществе нового склада личности с ее сильно возросшим нравственным и гражданским самосознанием.

Единственное, чего Барклаю не удалось, так это — еще раз повторим — выступить с оправданиями в печати перед общественным мнением страны *от своего собственного имени* — тот предел, который по историческим условиям эпохи ему не дано было переступить. Именно в этом и заключается, на наш взгляд, истинный смысл загадочных слов Пушкина по поводу «Полководца» из его «Объяснения» 1836 г. о том, Барклай не успел «оправдать себя перед глазами России».

Глава IV
Потаённая судьба

ПОД ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ ЗАПРЕТОМ

Как же складывалась в последующем участь оправдательных записок Барклая?

На протяжении почти всего дореформенного периода они находились в орбите бдительного внимания властей,— не только те, что предназначались Барклаем к обнародованию, но еще в большей мере «секретное» в 1812 г. «Изображение».

Так было при Александре I, исключавшем, как мы видели, их свободное обращение в публике — и по обстоятельствам военного времени, и по затаенным личным мотивам, сохранившим для него и в послевоенное время немалую долю остроты. А.И. Михайловский-Данилевский писал об «Изображении»: «Записка его (Барклая.— *А.Т.*) была предана забвению. Об ней не упоминалось и потом, когда Барклай де Толли... находился на своем настоящем месте среди других союзных полководцев»[1].

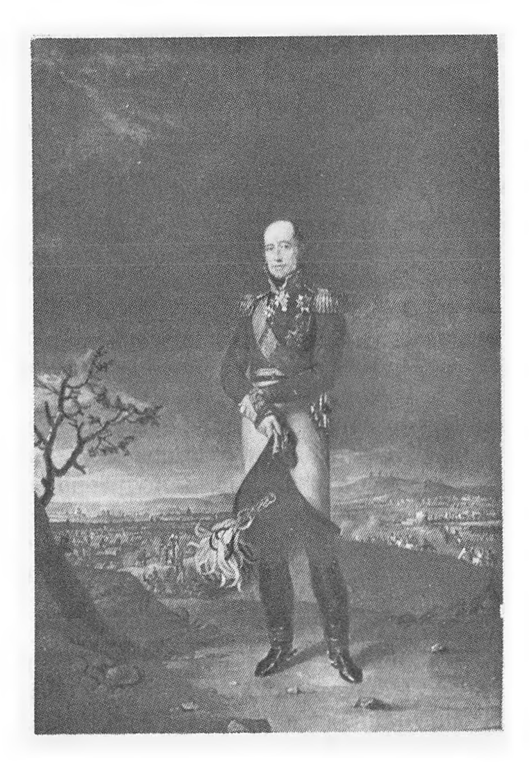
Но так было и в царствование Николая I, когда, казалось бы, эпоха 1812 г. отошла уже в прошлое и ее политические коллизии должны были утратить свою злободневность. Тем не менее и в 20-х, и в 30—40-х годах XIX в. оправдательные записки Барклая окружала атмосфера строгой секретности, сведения о них попадали в печать редко, а сами они держались под спудом в государственных архивохранилищах.

Правительство пресекало любую возможность выхода их за пределы своей досягаемости. Когда в 1843 г. по требованию Николая I был вызван из-за границы и арестован потомок знатнейшего княжеского рода, ярый обличитель династии Романовых П.В. Долгоруков, то подверглись конфискации и его бумаги, опись которых

была представлена царю. Любопытно, что среди нескольких секретнейших долгоруковских документов по политической истории России XVIII — начала XIX в. Николай I особо отметил, с указанием прислать ему лично, рукопись «Изображения», а затем переслал ее Военному министру А.И. Чернышеву, о чем сохранились пометы на конверте, куда она была вложена: «Хранить при секретных делах 1-го Отделения... Бумаги эти переданы министру его величеством»,— и с тех пор эта рукопись на много десятилетий была погребена в архивах военного ведомства[2]. То же произошло и со списком «Изображения» другого знатока «новой» русской истории и собирателя ее рукописных раритетов — А.И. Тургенева, по кончине которого в декабре 1845 г. его богатейший архив в Москве был опечатан, а опись тоже затребована Николаем I, и на сей раз самолично распорядившимся изъять вместе с некоторыми ценнейшими историческими манускриптами и рукопись «Изображения», после чего она была препровождена в III Отделение, откуда уже поступила на длительное хранение в архив Военного министерства[3].

Препятствовали власти и попыткам обнародования оправдательных записок Барклая. Наряду с обычной цензурой здесь вступали в силу жесткие установления военного ведомства. Так, когда еще в 20-х годах Ф.В. Булгарин вознамерился в своем «Северном архиве» поместить третью, самую смягченную редакцию «Оправдания», цензор отметил, что «рукопись сия может быть пропущена к напечатанию в журнале, есть ли военное начальство не найдет к тому препятствия, поелику она содержит в себе разные военные известия, кои печатаются по разрешению Дежурного генерала Главного штаба Е.И.В.»[4].

Умалчивала об оправдательных записках Барклая и официальная историография. Ни слова о них не найдем мы в биографиях полководца, вышедших в свет в первой половине XIX в.,— и в известной книге С. Ушакова «Деяния российских полководцев и генералов...» (1822), и в «Биографиях российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов» Д.Н. Бантыш-Каменского (1840), и в ряде энциклопедических изданий 30—50-х годов. В некотором отношении составляет исключение не раз упомянутое выше жизнеописание Барклая, составленное в конце 40-х годов А.В. Висковатовым для парадного



М.Б. Барклай де Толли. Гравюра Г. Доу по оригиналу Дж. Доу. 1829—1830. ГИМ

издания «Военная галерея Зимнего дворца». В описании деятельности Барклая в 1812 г. он опирался на «Изображение» как на важнейший источник, излагал те или иные его тексты почти дословно и даже цитировал их, но нигде прямо на него не сослался, и в итоге само существование «Изображения» и принадлежность его перу Барклая оказались скрытыми от читателя[5].

Своеобразие этой «запретительной» ситуации состояло, однако, в том, что сама фигура Барклая в послевоенную пору была окружена официальным признанием,— во всяком случае с внешней, показной стороны.

Уже в кампаниях 1813—1814 гг. он был снова вознесен на вершину военного управления, удостоен высших отечественных и иностранных наград, после Лейпцигского сражения возведен в графское достоинство, в августе



М.И Кутузов. Гравюра Г. Доу по оригиналу Дж. Доу. 1829—1830. ГИМ

1815 г.— в княжеское, за взятие Парижа произведен в генерал-фельдмаршалы. Узнав о смерти Барклая в мае 1818 г., Александр I писал вдове полководца: «Государство потеряло в его лице одного из своих самых ревностных слуг, армия — командира, который постоянно показывал пример высочайшей доблести, а я — товарища по оружию, чья верность и преданность всегда были мне дороги». Барклаю были отданы подобающие государственные почести, по повелению Александра I в русской армии была отслужена панихида, и «в воздание знаменитых заслуг, оказанных на пользу и славу отечества покойным генерал-фельдмаршалом» его вдове была назначена ежегодная пенсия в размере 86 тыс. руб.— такой же примерно суммой была удостоена и вдова скончав-

шегося за пять лет до того М.И. Кутузова. Царь даже настаивал, чтобы Барклай был торжественно похоронен в Петербурге в Казанском соборе, где покоились останки Кутузова, но вдова полководца решительно воспротивилась, предпочтя похоронить его в фамильной усыпальнице в Бекгофе[6].

В том же 1818 г. Александр I издал рескрипт столичному генерал-губернатору о сооружении в Петербурге перед Казанским собором памятников Кутузову и Барклаю как крупнейшим русским военачальникам эпохи наполеоновских войн, что означало признание «равновеликости» их вклада в победу над врагом.

Вскоре по восшествии на престол Николай I отдал приказ о присвоении имени Барклая, наряду с именами самых прославленных полководцев России — П.А. Румянцева, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, одному из полков русской армии, и отныне 2-му Карабинерному полку предписывалось впредь именоваться «Карабинерным фельдмаршала князя Барклая де Толли полком»[7].

Участие Барклая в войнах с Наполеоном подробно отражалось в исторических трудах и публицистике, в откликах на его кончину, в посмертно изданных жизнеописаниях, он награждался самыми похвальными эпитетами: «знаменитый вождь наш», «первый из... героев и заступников» империи и т.д.

Но если внимательнее вглядеться в то, как именно освещалась полководческая деятельность Барклая в русской печати, то бросится в глаза одна характерная тенденция: акцент делался больше на заграничных походах, нежели на 1812 г., и роль Барклая в Отечественной войне как бы отодвигалась в тень, затушевывалась. Например, в перечне сражений, в которых он особо отличился, назывались, скажем, Кульм, Лейпциг и Париж, но опускались знаменитые и неотъемлемые от его имени битвы 1812 г., иногда еще отмечалось Бородино, но Смоленск чаще всего не упоминался. Даже в тех случаях, когда его полководческие усилия описывались в положительных тонах и их значение оценивалось в одном ряду с деятельностью Кутузова, о Барклае говорилось как о «достойном преемнике» последнего[8]. Из этой же емкой формулы вытекало, что с Кутузовым сопрягалось начало сокрушения наполеоновского могущества, а с Барклаем — лишь его завершение. Иными словами, исторические заслуги Барклая усматривались главным образом в его

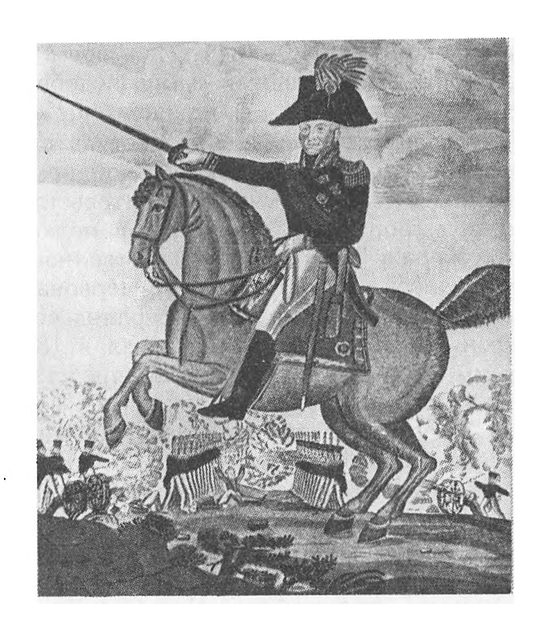
участии в кампаниях 1813—1814 гг., а вовсе не в Отечественной войне. Объективный смысл подобной расстановки акцентов заключался в идущем еще от 1812 г. отрицании исторического значения отступательных маневров Барклая, спасших костяк русской армии.

Такой подход лежал в основе правительственных установок и при сооружении памятников полководцам у Казанского собора в Петербурге, торжественное открытие которых состоялось в декабре 1837 г. Первоначально их проект был заказан Александром I курляндскому скульптору Э. фон дер Лауницу, и тот писал в 1827 г., что изваянная им «статуя князя Кутузова представляет начало союзной войны, а статуя Барклая де Толли окончание оной». Когда уже при Николае I их изготовление было поручено русскому скульптору Б.И. Орловскому, то дворцовым ведомством было предусмотрено, по словам исследователя, что и на сей раз «автор отразит господствовавшее в правительственных кругах мнение о том, что победой 1812 г. Россия была обязана Кутузову, а окончательным разгромом Наполеона — только Барклаю»[9].

Это «мнение» было символически закреплено и в устройстве Галереи двенадцатого года в Зимнем дворце — в самой композиции портретов каждого из полководцев работы английского живописца Дж. Доу. Если за величественной фигурой Кутузова легко просматривалось преследование французских войск на заснеженных равнинах России, то Барклай изображался на фоне скопления союзных армий у Монмартрских высот перед взятием Парижа.

Эта же официальная точка зрения отчетливо прозвучала и в полемике 1836 г. вокруг пушкинского «Полководца». Мы помним, что в своих возражениях Л.И. Голенищев-Кутузов во имя утверждения первенствующей роли Кутузова в Отечественной войне отвергал какой-либо положительный смысл участия в ней Барклая, но при этом вполне готов был признать его заслуги в заграничных походах. Лучшей надписью на памятнике Барклаю, полагал старый адмирал, могло бы стать напоминание о предводительстве им русской армией при вступлении в марте 1814 г. в Париж — в ней запечатлелось бы «самое событие, предающее потомству великий приснопамятный подвиг знаменитого полководца»[10].

Не лишне будет заметить, что и В.А. Жуковский, включивший, наконец, Барклая в сферу своего поэтиче-



М.Б. Барклай де Толли. Лубок. Гравюра.
1839. ГИМ

ского внимания, в официозно-патриотическом стихотворении «Бородинская годовщина», написанном 1 августа 1839 г., в разгар юбилейных празднеств по поводу победы над Наполеоном, следовал тому же «распределению» посмертных лавров между двумя полководцами. Кутузов и здесь выступал единственным спасителем России от нашествия наполеоновской армии, а Барклай — лишь «завершителем» ее разгрома. Обращаясь к череде ушедших из жизни военачальников 1812 г., поэт с элегической грустью вопрошал:

Где Смоленский, вождь спасенья?
Где герой, пример смиренья,
Ведший рать в Париж Барклай?[11]

Но если сами отступательные действия Барклая в 1812 г. воспринимались столь непрестижным образом официальными кругами, то еще более сомнительным оказывался вопрос о его положении в бурных обстоятельствах того времени, о критике в его адрес в армии и обществе, о нападках, шедших из среды простонародья, и т.д. Это была если не вовсе «закрытая» тема, то уж

во всяком случае одна из самых сокровенных, неразглашаемых сторон истории 1812 г., ее неохотно вспоминали и о ней не принято было публично высказываться,— подобно тому как не принято было, например, открыто обсуждать на страницах журналов и исторических трудов причины пожара Москвы, злоупотребления Ростопчина на посту столичного губернатора, нелояльное поведение поляков из западных земель или случаи измены и сотрудничества с французской администрацией самих русских в оккупированных губерниях.

Нельзя сказать, чтобы на эту тему в русскую печать послевоенного времени вовсе не проникало никаких сведений. Но они были немногочисленны, разрозненны и по смыслу весьма уклончивы. Глухие намеки на ходившие в 1812 г. среди современников «превратные суждения» о Барклае мы находим еще в стихотворных посвящениях ему 1813—1814 гг.[12], в том числе, как помним, и в «Сыне отечества», где по случаю Кульмской победы указывалось на «раскаянье» его «врагов». Тогда же в биографической заметке о полководце в «Галерее гравированных портретов» участников войны сообщалось без каких-либо пояснений, что в 1812 г. ему пришлось «пожертвовать на время добрым своим именем»[13]. В 1818 г. в речи тамбовского иеромонаха Николая на панихиде по Барклаю столь же глухо упоминалось о каких-то «невыгодных и несправедливых мнениях» его «недоброжелателей». В том же году в «Прибавлениях к Русской истории» С.Н. Глинка уже несколько определеннее писал о «ропоте» и «унынии воинов и народа» в связи с отступлением Барклая в глубь страны[14]. Обо всем этом, но лишь в общей форме упоминалось, как мы говорили выше, в разборе К. Полевым книги Вальтера Скотта, в военно-исторических статьях С.А. Маркевича середины 30-х годов и т.д. Отголоски враждебных Барклаю толков 1812 г. нашли отражение и в исторической беллетристике Ф.В. Булгарина[15]. Но чем ближе шло дело к 30-м годам, тем такого рода реминисценции реже появлялись в печати.

В этом отношении показательна издательская история некоторых текстов о Барклае в «Походных записках» И.Т. Радожицкого, выпущенных в 4 томах в 1835 г., но до этого печатавшихся отрывками в журнале П.П. Свиньина «Отечественные записки». В одном из таких отрывков, в рассказе о том, как Барклай наблюдал за оставлявшими Москву русскими войсками, мы читаем

среди прочего: «Вид его напоминал всем беспрерывную, продолжительную ретираду и последствия оной в потере Смоленска и Москвы. При тогдашних обстоятельствах Русские не могли смотреть равнодушно на сего почтенного генерала, и всякой в сердце своем более или менее приписывал ему бедствия погибающего отечества». При публикации этого рассказа в составе издания 1835 г. приведенный выше текст был, однако, опущен,— как нам представляется, именно потому, что, раскрывая глубочайшее недовольство армейской массы отступательной стратегией Барклая, касался явно нежелательной, с точки зрения верхов, темы[16].

Они вообще чутко реагировали на любые в данном смысле «отклонения» и «превышения» во всякого рода сочинениях об эпохе 1812 г. Не случайно эта тема никак не была освещена в истории Отечественной войны Д.П. Бутурлина, увидевшей свет еще в первой половине 20-х годов. В четырехтомном же труде о 1812 годе Михайловского-Данилевского, основанном на богатейшем документальном материале, о том, что происходило тогда в армии вокруг Барклая, было сказано всего несколько строк со скупым и мало что значащим упоминанием о «недоверии» к нему и его «разномыслии» с Багратионом[17].

Военный писатель, переводчик, публицист Н.Б. Голицын, состоявший в Отечественную войну ординарцем Багратиона, представил в 1835 г. в цензуру свои обширные «Воспоминания и впечатления во время кампаний 1812, 1813 и 1814 годов», имея в виду частично напечатать их в «Библиотеке для чтения». В числе других интереснейших сведений здесь содержался полный живых подробностей рассказ о нарастании в пору Смоленского сражения среди офицеров и солдат антибарклаевских настроений, охвативших не только 2-ю, но 1-ю армию и даже ближайшее окружение главнокомандующего. Военно-цензурный комитет (а во главе его стоял тот же Михайловский-Данилевский), обратив внимание на «неуместные политические суждения и выходки автора», как раз эти-то места и изъял из публикации, поскольку в них «упоминается о каком-то духе армии в 1812 году при отступлении ее до Смоленска, о всеобщем недовольстве против главнокомандующего гр. Барклая де Толли». Их изъятие было сочтено «тем более необходимым», что они предназначались «к напечатанию в журнале и, следова-

тельно, для легкого и всеобщего чтения». Тут мы сталкиваемся не со случайным эпизодом из истории цензурных гонений николаевского царствования, а со вполне последовательной линией — еще в 1828 г. Военный министр А.И. Чернышев потребовал заменить в стихотворении Н.Ф. Грамматина некие «неприличные выражения относительно к генерал-фельдмаршалу князю Барклаю де Толли»[18].

Нечто подобное произошло и с самим «Полководцем» Пушкина при прохождении его через цензуру. В конечном счете он был разрешен к печати. Глава цензурного ведомства С.С. Уваров не стал чинить к тому препятствия — дело касалось все-таки не исторической или публицистической статьи, а произведения поэтического, да к тому же цензурные отношения с властью Пушкина, имевшего верховного цензора в лице Николая I, были несколько особыми. Но поначалу обстоятельства приняли совсем не такой благоприятный оборот. Председатель С.-Петербургского цензурного комитета М.А. Дондуков-Корсаков писал 24 августа 1836 г. в Главное управление цензуры, что стихотворение «заключает в себе некоторые мысли о главнокомандующем российскими войсками в 1812 году Барклае де Толли, выраженные в таком виде, что Комитет почел себя не в праве допустить его к напечатанию без разрешения высшего начальства»[19]. Что за «мысли» и в каком именно «виде» выразил их поэт,— это было тогда для цензурного ведомства само собой разумеющимся, но нам теперь понятно: речь шла о том же «духе армии», который навлек подозрение и на «Воспоминания и впечатления» Н.Б. Голицына.

Вряд ли было бы правильно эти цензурные строгости сводить к одному только стремлению властей оберегать официальную репутацию давно сошедшего в могилу Барклая, как это иногда трактуется в литературе[20]. И дело было даже не в том, что неудачи начального периода войны со всеми их тяжкими последствиями уже не воспринимались в николаевскую эпоху определенной частью общества в ореоле национально-героического самопожертвования, каким они были овеяны в близкое к 1812 г. время. В свете охранительно-монархических устремлений и ассоциаций с победами царизма в 1814—1815 гг., приведшими к торжеству феодально-легитимных принципов в Европе, трагически-отступательное начало Отечественной войны как бы понижалось в своем историческом значении, отодвигалось на задний план,

бросая тень на военно-государственный престиж Российской империи. Но еще существеннее, что любые напоминания о вспыхнувшем в критическую пору 1812 г., независимо от самодержавной власти, общественном брожении, раздорах и противостоянии в верхах армии, народном недовольстве облеченным царским доверием главнокомандующим — все это затрагивало краеугольное положение официальной идеологической доктрины о неколебимо единодушном сплочении в 1812 г. всех сословий до последнего лица в государстве вокруг правящей династии.

И это, как нам представляется, проясняет глубинные истоки запретительной политики правительства в отношении оправдательных записок Барклая, ибо они, как ничто другое, сквозь призму самого первоисточника обнажали всю остроту этого военно-общественного конфликта 1812 г. в его политических и нравственных основаниях.

«МЩЕНИЕ ГНУСНОЕ»

Было, однако, еще одно обстоятельство, способствовавшее утаиванию барклаевских записок в послевоенные десятилетия. Связано оно с местонахождением оригиналов барклаевских записок. Мы уже отмечали выше, что их подлинники, поступавшие к Александру I, передавались им Аракчееву, как и вообще все важнейшие военно-политические бумаги царя эпохи 1812 г. С тех пор они хранились в архиве царского временщика в его пожалованной еще Павлом I новгородской усадьбе Грузино. Надо сказать, что Аракчеев передачей ему этих ценнейших исторических документов необыкновенно дорожил, видел в этом проявление наивысшей монаршей



А.А. Аракчеев. Гравюра Н. Уткина по оригиналу И.Ф. Вагнера. 1818. ГИМ

милости, знак особого к себе доверия и лучшую награду, какой только мог быть удостоен. 4 сентября 1831 г. в письме к Николаю I он вспоминал об этом: «Покойный государь император благодетельной Александр Павлович в течение тяжкого 1812 года изволил отдавать мне все такие бумаги, о которых угодно ему было, дабы оне нигде не находилися, ни в каких делах, окроме как в одном моем собственном ведении, ибо оне известны были только государю императору и мне. По окончании сей отечественной войны, разбирая в своем кабинете дела, изволил отдать еще некоторые мемориалы того же времени для подобного же содержания в собственном моем ведении». Далее Аракчеев приводит в кавычках слова Александра I, для него особо памятные: «Дела сии такого роду, что по прошествии времени ныне нет в них надобности, а при том я желаю, дабы многие из оных не были никому известны, окроме нас с тобою. Личная же твоя собственная служба моему лицу в оное тяжкое время ничем не награждена (по нежеланию твоему оного*), то и дает мне право всеми оными переплетенными бумагами наградить тебя за твою ко мне привязанность, для хранения оных в Грузине, дабы потомство видело мою к тебе доверенность, а твое ко мне личное усердие»[21].

Секретные бумаги 1812 г. были, как видим, завещаны Александром I лично Аракчееву, и тем самым государственного значения вопрос о судьбе исторических реликвий великой национальной войны был низведен до уровня почти домашних отношений самодержца со своим холопски преданным фаворитом. Естественно, что Аракчеев полагал себя монопольным их обладателем не только при жизни царя, но и впоследствии.

В 1826 г. при деятельном участии Николая I началось обследование бумаг Александра I, найденных после его смерти. Часть рукописей эпохи наполеоновских войн была передана в III Отделение, а потом в Главный штаб. Аракчеев, хотя и бывший тогда уже в опале, не мог не знать или, во всяком случае, не мог не догадываться о разыскании в архиве покойного Александра I секретных документов 1812 г. Тем не менее имевшийся у него

* Аракчеев не раз отказывался от наград и пожалований, например, от производства его Александром I в марте 1814 г. в генерал-фельдмаршалы.

наиболее ценный их комплекс, включая и оправдательные записки Барклая, он не только не передал на государственное хранение, но даже не сообщил о них верховной власти.

Вообще факт передачи в свое время Александром I Аракчееву этих секретных материалов, действительно известный лишь им обоим, да еще двум-трем особо доверенным лицам, был для правительства тайной за семью печатями. Правда, в 1815 г. генерал К.Ф. Толь, составлявший военно-исторический труд о кампании 1812 г., обратился в Коллегию иностранных дел с просьбой предоставить во временное пользование документы наполеоновского командования, захваченные у отступавших французов, но тут-то и выяснилось, что они находятся у Аракчеева, однако все дело опять замкнулось на Александре I, распорядившемся водворить эти документы в Коллегию, и какой-либо огласки оно тогда не получило.

О том, что у Аракчеева хранятся секретные бумаги 1812 г., сам Николай I узнал, очевидно, много позднее — лишь в начале 1830-х годов. Его внимание к этому было привлечено, с одной стороны, общим оживлением как раз в то время в России историко-политических ассоциаций с войной 1812 г. в связи с обострением на гребне европейских революций отношений с Францией, чреватым угрозой нового нашествия. С другой стороны, в начале 1830-х годов были в разгаре предпринятые по инициативе Николая I масштабные работы по пересмотру состояния столичных архивов и создания на базе крупнейших документальных комплексов по истории императорской фамилии и внутренней политики XVIII — первой четверти XIX в. особого правительственного хранилища, получившего в 1834 г. название Государственного архива Российской империи[22].

Сведения на этот счет Николай I получил летом 1831 г. от придворного чиновника А.С. Танеева, который занимался тогда делами Собственной его канцелярии, а чуть позже, в ноябре 1831 г., был назначен статс-секретарем и управляющим I ее Отделения. В молодости же А.С. Танеев был доверенным сотрудником Аракчеева — в бытность его в 1808—1809 гг. военным министром, в 1812 г. перешел в учрежденную еще тогда Собственную Его императорского величества канцелярию, где Аракчеев как ее управляющий вплоть до 1825 г. был непосред-

ственным начальником А.С. Танеева. На их близость указывают и сохранившиеся письма последнего к Аракчееву за 1812—1813, 1818 и 1825 гг.[23] После войны он привлекался к разбору и описанию громадного собрания рукописей, скопившихся в Грузине, и потому был каким-то образом ориентирован в составе аракчеевского архива.

Отвечая на устный, по-видимому, запрос Николая I о том, что же находится здесь из бумаг 1812 г., Танеев в докладной записке от 12 августа 1831 г. сообщал: «В числе дел, кои собственно хранились у графа Аракчеева, были секретные бумаги относительно Отечественной войны 1812-го года. Опись бумагам сим, по его ко мне доверию, я делал, так сказать, перед его глазами, и потому бумаги все с описью переплетены были в зеленый сафьян с широкою серебряною скобою, которая запиралась ключиком, хранившимся особо у графа Аракчеева». Далее Танеев в виде перечня указал по памяти на важнейшие из этих бумаг, и среди них наряду, например, с такими историческими раритетами, как постановление Чрезвычайного комитета о «перемене главнокомандующего», план кампании, доставленный из Петербурга в сентябре 1812 г. Кутузову, его рапорт на высочайшее имя о свидании с Лористоном и т.д., значились и «оправдательные письма генерала Барклая де Толли». В заключение Танеев писал: «Не зная, передал ли граф Аракчеев вам, всемилостивейший государь, упомянутую книгу секретных дел 1812-го года, я всеподданнейшим долгом поставляю о существовании ее довести до сведения вашего императорского величества»[24].

Николай I никаких секретных бумаг от Аракчеева, как мы видели, не получал, да и само сообщение Танеева явилось для него в тот момент — в августе 1831 г.— вероятнее всего, новостью, которая не могла не настораживать. У Николая I уже давно должны были закрасться подозрения относительно того, как Аракчеев вообще обращается с императорскими бумагами своего архива, и опасения насчет их дальнейшей участи. Дело в том, что устраненный со своих постов и отъехавший весной 1826 г. на лечение в Карлсбад, Аракчеев на свой страх и риск, не поставив о том в известность высшие власти, издал за границей отдельной книгой адресованные к нему письма Александра I почти за весь период его царствования[25].

Издание это имело свою не менее таинственную предысторию. Оно было основано на отпечатанном Аракчеевым еще в начале 20-х годов в типографии управления военными поселениями «осторожным порядком», т.е. бесцензурно, в обход правительства, сборнике записок и рескриптов на свое имя Павла I и Александра I. Тираж сборника составлял всего 30 экземпляров, по преданию, 24 из них Аракчеев распорядился замуровать в колонны Грузинского собора, и были приняты строжайшие и увенчавшиеся успехом меры по сокрытию всех следов их изготовления — впервые об этой издательской акции Аракчеева стало известно лишь в 70-е годы XIX в.[26]

Зарубежное же издание 1826 г. уже тогда получило огласку — сведения о нем начали просачиваться в Россию через частные и дипломатические каналы, вскоре в Петербурге стали попадаться и экземпляры самой книги. Все это произвело на правящие круги совершенно шокирующее впечатление. Издание Аракчеевым за границей, ко всеобщему сведению писем недавно скончавшегося монарха, касавшихся самых сокровенных правительственных дел, было воспринято как вопиющее нарушение всех принятых при дворе норм и беспрецедентное в истории царствующей династии разглашение государственной тайны. По свидетельству служившего в ведомстве военных поселений Е.Ф. фон дер Брадке, «все наши посольства получили повеление препятствовать их появлению в свет и перекупать все уже изданные экземпляры, так что, сколько мне известно, действительно, из них ничего не сохранилось в обращении». Библиограф и историк литературно-общественного движения XIX в. М.Н. Лонгинов тоже указывал, со слов П.А. Клейнмихеля, на то, что «издание это было почти все истреблено». Что же до того, как сказалась история с зарубежным изданием на Аракчееве, то, по замечанию Брадке, это «составляет тайну между ним и императором Николаем и могло быть известным лишь весьма немногим»[27].

Тайна, однако, отчасти проясняется.

Чтобы выйти с достоинством из столь щекотливого и грозящего громким скандалом положения, Николай I предпочел не раздувать дело преследованием Аракчеева и предложил ему отмежеваться от заграничного издания или прибегнуть к способу еще более действенному и не раз себя оправдывавшему с точки зрения самодержавной

власти: публично объявить письма Александра I подложными. Этот рискованный и не лишенный иезуитства царский замысел был изложен в весьма дипломатично составленном письме И.И. Дибича к Аракчееву от 30 января 1827 г.: «До сведения государя императора дошло, что здесь, в Санкт-Петербурге появились печатные книги, в коих содержатся письма и записки, будто бы писанные покойным государем императором к вашему сиятельству. Его величество полагает, что таковые письма и записки напечатаны без ведома вашего сиятельства кем-либо недоброжелательствующим вам, будучи уверен в собственном вашем убеждении, сколь неприлично бы было напечатать то, что покойный государь император по особенной к вам доверенности мог писать к вам партикулярно и по секрету. А потому его величество желает знать: неизвестно ли вашему сиятельству, из какого источника могли быть почерпнуты сии напечатанные письма и записки и кем выданы в печать? Буде же сие вам неизвестно, то для предупреждения всяких толков в публике его величество полагал бы лучшим средством напечатать вашему сиятельству от себя объявление, что все таковые изданные в печать письма и записки выдуманы и не заслуживают вероятия».

В ответ Аракчеев представил «осьмнадцать печатных переплетенных книг» зарубежного издания писем Александра I, о получении которых для передачи Николаю I сохранилась расписка Военного министра А.И. Чернышева[28].

Тем тогда это дело и кончилось.

Теперь же, спустя четыре с половиной года, когда на столе у царя лежала докладная записка Танеева с перечнем утаенных Аракчеевым секретных бумаг 1812 г., тоже непосредственно связанных с покойным императором, вокруг грузинского архива снова стала сгущаться атмосфера, и потому реакция со стороны взбешенного, видимо, всем этим Николая I не замедлила последовать.

24 августа А.И. Чернышев направил в Грузино письменный запрос, приложив к нему копию перечня Танеева, с требованием доставить поименованные в нем документы: «Государь император, имея сведения, что у вашего сиятельства хранились секретные бумаги...», высочайше соизволил «прислать бумаги сии ко мне для представления его величеству»[29].

Аракчеев тут же отозвался и 4 сентября обратился с цитированным выше письмом уже к самому Николаю I, где, сообщив о передаче ему Александром I секретных бумаг 1812 г., собранных ныне в особой книге, писал: «Подношу всю оную книгу вашему императорскому величеству как драгоценность мою, заслуженную во время Отечественной войны»[30].

Пересланные Аракчеевым Николаю I секретные бумаги 1812 г. дошли до нас в полном своем составе — ныне этот объемистый фолиант на 347 листах хранится в РГВИА в коллекции Военно-ученого архива под № 1078. Еще раз подчеркнем, что это и есть та переплетенная в зеленый сафьян книга, о которой впервые Николай I узнал от Танеева. Здесь же и составленная им «Опись донесениям и бумагам, до происшествий войны 1812-го года и последующей кампании относящимся». Бумага «Описи» имеет водяные знаки «1820»[31].

В письме к Николаю I от 4 сентября 1831 г. Аракчеев кратко коснулся и обстоятельств, при которых эта книга сложилась. По истечении нескольких лет после передачи ему царем бумаг 1812 г., пишет Аракчеев, он доложил о них Александру I и тот «изволил приказать переплесть все оные к одну книгу у меня в комнатах в моем присутствии и представить оную его величеству», что и было исполнено по ее изготовлении[32].

Эпизод этот произошел, скорее всего, в одно из посещений Александром I Грузина, а судя по водяным знакам бумаги описи, это было в 1820-м же году — известно, что в тот год Александр I дважды побывал в Грузине: 4 марта и 26 июня[33].

Итак, эта роскошно переплетенная книга была оформлена по желанию самого Александра I и, согласно его замыслу, должна была вобрать в себя *все* секретные бумаги 1812 г., переданные им Аракчееву (в том числе, конечно, и все барклаевские записки). В письме к Николаю I от 4 сентября 1831 г. он специально отметил данный момент: речь шла о том, чтобы переплести в «одну книгу» «все оные» бумаги. Причем неразглашению ее содержимого придавалось исключительное значение. По распоряжению Александра I она оформлялась под недрёманным оком Аракчеева — это подтверждал и Танеев, составлявший опись ее документов «перед глазами» Аракчеева, который держал в особом месте, в тайне от всех и ключ от закреплявшей переплет скобы, хотя

и без таких предосторожностей к его грузинскому архиву никто не имел доступа.

Но что самое удивительное, из оправдательных записок Барклая в этой книге оказалось только одна — представленное им лично царю в январе 1813 г. «Оправдание» в первой, основной редакции, о которой подробно мы уже говорили выше[34].

Следовательно, Аракчеев не только нарушил волю Александра I в 1820 г., но и ввел в заблуждение Николая I в 1831 г.

Что же стало с подлинниками остальных оправдательных записок полководца?

Аракчеев скрыл от обоих императоров, что за несколько лет до 1820 г. он произвел с секретными бумагами 1812 г. еще одну операцию. По причинам, в полной мере для нас сейчас неясным, он выделил из этих бумаг большую группу документов в особую подборку и хранил ее, так сказать, в «двойном секрете». Сюда-то и попали тогда — заметим, еще при жизни Барклая — остальные его оправдательные записки: «Примечание» на рапорт Кутузова, «Объяснение» и «Изображение», пересланные им в Петербург в октябре — ноябре 1812 г.

Ныне эта подборка образует одно из дел обширнейшего архива Аракчеева в РГВИА — ф. 154, оп. 1, д. 80 (ранее мы на него уже ссылались). Оно состоит из самих отобранных сюда документов и описи: «Опись бумагам, касающимся до войны 1812-го года и до некоторых обстоятельств, происходивших во время оной»[35].

О более раннем происхождении этой подборки сравнительно с переплетенной в 1820 г. в зеленый сафьян книгой свидетельствуют водяные знаки бумаги «Описи» — «1815». Органически связано с подборкой еще одно собрание документов из аракчеевского архива — д. 81, содержащее переводы на русский язык французских оригиналов из д. 80. Аракчеев плохо владел французским языком, писал только по-русски, и переводы были заказаны им лично для себя. В их числе и русский перевод «Изображения» на бумаге с водяным знаком того же 1815 г. Короче, не боясь сильно ошибиться, можно приурочить сложение указанной выше подборки совокупно с д. 81 к времени, близкому к этой дате.

Чем же было вызвано разделение внутри грузинского архива единого комплекса оправдательных записок Барклая?

Переформирование Аракчеевым секретных бумаг 1812 г. имело отчетливо целенаправленный характер. В том, что касается находившихся там документов Барклая и в первую очередь его оправдательных записок, надо вообще принять во внимание незаинтересованность Аракчеева в каком-либо их распространении — в публике, в военной среде и даже при дворе. В свете этого возможный ответ на поставленный выше вопрос заключается в следующем.

Из сказанного прежде об «Оправдании» мы можем заключить, что это была единственная из всех конфиденциальных записок Барклая, которая еще в начале 1813г. получила все же некоторую известность в высших военно-придворных сферах. Ведь именно на ее основе предполагалось сперва создать некий реабилитирующий Барклая официальный документ для публикации в правительственной прессе, и к выполнению этого замысла, впоследствии отброшенного, был привлечен сам Аракчеев, а может быть, кто-то еще из приближенных к Александру I лиц. Так или иначе, но слухи об «Оправдании» уже тогда и после войны могли выйти за пределы этого узкого военно-придворного круга, просочиться вовне (далее мы увидим, что так оно в действительности и произошло, и Аракчееву об этом стало известно). Следовательно, прилагать специальные усилия по сокрытию этой записки Барклая не имело для него никакого смысла.

Но совсем иначе обстояло дело с тремя остальными записками — «Примечанием», «Объяснением» и, тем паче, с «Изображением», адресованным персонально царю. Их подлинники после поступления к Александру I и сразу вслед за тем — к Аракчееву из его рук никогда не выходили и никакой огласки получить не могли, о чем он знал лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому-то эти записки Барклая Аракчеев еще в середине 1810-х годов и отделил от «Оправдания», поместив их в подборку таких же, с его точки зрения, самых нежелательных для разглашения секретных документов 1812 г.

Стало быть, эти три оправдательные записки, ускользнувшие от внимания Александра I при формировании книги в зеленом сафьяновом переплете, Николаю I были вовсе неизвестны. Получилось же так не только оттого, что Аракчеев скрыл от него в 1831 г. их существование, но и вследствие недостаточной осведомленности главного информатора царя об аракчеевском архиве — Танеева.

Он-то ведь знал лишь о секретных бумагах 1812 г., к описанию которых был допущен, о всех же остальных, столь тщательно скрывавшихся, никакого понятия, видимо, не имел. А Николай I мог затребовать у Аракчеева только те секретные бумаги 1812 г., на которые его «навел» Танеев. И если об «Оправдании» царь узнал еще в 1831 г., то относительно трех указанных выше записок Барклая пребывал в полном неведении вплоть до смерти Аракчеева, когда они, как и остальная часть секретных бумаг 1812 г., в составе его архива попали в распоряжение правительства и были переданы на хранение в Военное министерство.

Аракчеев скончался 21 апреля 1834 г. в Грузине, где, давно отошедший от дел, желчный, в своих порицаниях всех и вся не щадивший даже членов царской фамилии, он доживал последние свои дни. Сразу же туда был отряжен дежурный генерал Главного штаба П.А. Клейнмихель, когда-то адъютант и правая рука всесильного временщика. Какую-то часть бумаг он взял с собой в Петербург, все же остальное было опечатано и оставлено временно в Грузине[36]. Затем с аракчеевским архивом ознакомился крупный чиновник Министерства народного просвещения и цензор К.С. Сербинович, в свое время помогавший Н.М. Карамзину в его занятиях «Историей государства Российского», близкий к литераторам пушкинского круга и добрый знакомец самого поэта. В 30—40-х годах, когда умирала какая-либо важная государственная персона, ему не раз давались подобного рода деликатные поручения по разбору их посмертных бумаг. (Так, Сербиновичу были доверены после кончины Д.П. Трощинского и А.Н. Голицына разбор и составление описи их архивов, именно он пересматривал богатейшее собрание рукописей А.И. Тургенева после его смерти.) Сербинович составил предварительное описание аракчеевского архива, распределив его материалы на несколько отделов, в одном из которых — «Исторические, статистические и политические достопамятности» — особо выделил: «Многие бумаги, относящиеся к кампании 1812 года»[37]. Возможно, он подробно информировал о них лиц из окружения Николая I.

В июне 1834 г. П.А. Клейнмихель от царского имени предписал специально назначенной комиссии для разбора архива и библиотеки Аракчеева «показанные в приложенной при сем ведомости книгам и бумагам, нахо-

дящимся в грузинской библиотеке покойного графа в запечатанных шкафах», под соответствующими номерами, «доставить в Петербург с фельдъегерем» (документы о хозяйственной и бытовой жизни Аракчеева были оставлены в Грузине, а затем отданы в Новгородский архив). «Ведомость» же эта, основанная, вероятно, на информации Сербиновича, включала в себя наименование 29 групп ценнейших рукописей не только по политической и военной истории александровского царствования, но и времен Петра I, Екатерины II, Павла I и т.д., не говоря уже о бумагах самого Аракчеева. Крайне любопытно, однако, что для первоочередного доставления в Петербург Николай I отметил всего несколько номеров, и в их числе «Бумаги, писанные в 1812-м году на счет Отечественной войны и разных внутренних обстоятельств того же года»[38],— т.е. ту самую скрытую Аракчеевым в середине 1810-х гг. подборку секретных документов 1812 г., которая заключала в себе и подлинники трех обозначенных выше записок Барклая*.

Можно было бы, конечно, думать, что Аракчееву так трудно было расстаться с секретными бумагами 1812 г., поскольку он видел в них, как сам признавался, «драгоценное» свидетельство своей причастности к Отечественной войне и свою, в сущности, неотъемлемую собственность, щедро завещанную его «благодетелем». Но если ограничиться в данном случае оправдательными записками Барклая, то побудительные мотивы их сокрытия предстанут перед нами в куда менее возвышенном виде.

С усилением влияния Сперанского и подготовкой его преобразовательных планов Аракчеев постепенно оказал-

* В свете нашего рассказа о секретных аракчеевских бумагах 1812 г. трудно согласиться с необоснованным утверждением С.В. Мироненко, что «архив Аракчеева практически не сохранился» и до нас дошли лишь его «разрозненные остатки»[39]. После смерти владельца он был рассеян, но затем отчасти воссоединен в составе нескольких крупных фондов и коллекций наших архивохранилищ. В настоящее время в их составе находится более 1350 единиц хранения из бывшего архива Аракчеева со множеством систематически отложившихся за конец XVIII — первую треть XIX в. государственных и служебных, хозяйственно-имущественных, биографических и эпистолярных материалов. Помимо значительнейшей их части в составе ф. 154 РГВИА большое число аракчеевских бумаг осело в ОР РГБ, ОР РНБ, ОПИ ГИМ, Архиве СПб. ИРИ[40].

ся отодвинутым и от государственных дел, и от придворной верхушки. Переживая это с озлобленной завистью, он был еще более уязвлен, когда в январе 1810 г. его сменил на посту Военного министра Барклай, теснейшим образом связанный, как мы уже отмечали, со Сперанским и в этом новом своем качестве, и еще со времен генерал-губернаторства в Финляндии. Правда, определенный на должность председателя Военного департамента Государственного совета, Аракчеев попытался было сохранить свое влияние в военном ведомстве, оспорить кое-какие права нового министра, но натолкнулся на его упорнейшее сопротивление — Барклай, по свидетельству весьма осведомленного Н.М. Лонгинова, «ни на шаг не уступил ему, когда вступил в Министерство» и «показал... характер, коего Аракчеев не ожидал, и с самого начала взял всю власть и могущество, которые Аракчеев думал себе одному навсегда присвоить»[41]. Суровые меры Барклая по наведению порядка в военных делах и разоблачение злоупотреблений прежнего министерского управления еще более восстановили против него Аракчеева.

Понятно, что свою опалу он более всего связывал с Барклаем и уже до конца жизни ничего, кроме лютой ненависти к нему не испытывал. В.Р. Марченко, состоявший с конца 1812 г. при Аракчееве и хорошо знавший ему цену, вспоминал: «Барклая возненавидел он с той поры, как сверх ожидания своего увидел его утвердившимся на посте министра и пользующимся доверенностию царя и всею помпою, изобретенною гр. Аракчеевым лично для себя»[42].

Между тем с удалением Сперанского акции Аракчеева снова поползли вверх, но произошло это далеко не сразу. 3 апреля 1812 г. он еще жалуется брату П.А. Аракчееву на продолжающееся оттеснение от двора: хотя Сперанский и его сподвижники «заслужили свою нынешнюю участь, но вместо оных теперь партия знатных господ зделалась уже сильна, состоящая из графов Салтыковых, Гурьевых, Толстых и Голицыных, следовательно, я не был с первыми в связи, был оставлен без дела, а сими новыми патриотами равномерно нелюбим, также буду без дела и без доверенности. Сие все меня не обеспокоило, ибо я же ничего не хочу, кроме уединения и спокойствия, и предоставляю всем вышеописанным вертеть и делать все то, что к их пользам».

И тут Аракчеев делает поразительное по саморазоблачению признание в том, что в преддверии неизбежной и «самой жестокой» войны боится ехать в войска, уверенный, что оттуда он живым уже не вернется: «Беспокоит меня то, что при всем оном положении велят мне ехать и быть в армии без пользы, а как кажется только пугалом мирьским; и я уверен, что приятели мои употребят меня в первом возможном случае там, где иметь я буду верной способ потерять жизнь, к чему я и должен быть готов». И только с началом войны, два с лишним месяца спустя, Аракчеев воспрял духом — его положение действительно начало меняться. 17 июня в Свенцянах, как сказано в его «Автобиографических заметках», «призвал меня государь к себе и просил, чтобы я опять вступил в управление военных дел, и с оного числа вся французская война шла через мои руки, все тайные донесения и собственноручные повеления государя императора». Аракчееву было даже доверено объявлять от своего имени высочайшие царские повеления[43]. Именно тогда он стал обретать необъятную власть и все возрастающее влияние на Александра I.

По возвращении с ним в июле 1812 г. в Петербург распростер свою длань и над Военным министерством. Как писал в феврале 1813 г. Н.М. Лонгинов, его управляющий А.И. Горчаков «ничего не значил, все шло через него (Аракчеева.— *А.Т.*), он был воплощением воинской полиции и не допускал никого к государю». 1 ноября 1812 г. И.П. Оденталь сообщал А.Я. Булгакову: «Гр. Аракчеев по военной части в великой силе», а две недели спустя то же отметил и только что приехавший в столицу А.А. Закревский: «Аракчеев в Петербурге сила всемогущая»[44].

Нечего и говорить, что все перипетии военной карьеры Барклая в эпоху наполеоновских войн были предметом напряженного внимания царского фаворита. По словам наблюдавшего их взаимоотношения в ходе Отечественной войны А.П. Ермолова, Барклай «вызвал злобу своего предместника, который малейшую из его погрешностей выставлял в невыгодном для него свете»[45]. Смещение же полководца с его постов привело Аракчеева в состояние трудно сдерживаемого злорадства, сопровождавшегося почти публичными его поношениями. «Удаление Барклая из армии после Бородинского сражения,—

вспоминал В.Р. Марченко,— успокоило дух ненависти к нему гр. Аракчеева, и он бесстыдно рассказывал мне... при гостях, за обедом или чаем о неспособности Барклая, гордости... жадности к деньгам... Но неожиданное восстание Барклая,— добавляет мемуарист,— опять раскрыло характер графа Аракчеева». И далее Марченко с колоритными подробностями живописует, в чем же проявился этот «характер».

Призванный царем в главную квартиру, Барклай, будучи в Плоцке, в один из февральских дней 1813 г. «побрел» пешком к жившему вдали от города Аракчееву с тем, чтобы тот распорядился о положенном ему довольствии (заметим, что это происходило вскоре после представления Александру I «Оправдания» и согласия Барклая принять командование 3-й армией).

Но Аракчеев выказал к нему крайнее пренебрежение. Сперва он вообще не принял Барклая, затем, вынудив его еще раз тащиться вечером по размытой дороге, сказался больным и только наутро следующего дня удостоил его аудиенции. «Вот уж потешался гр. Аракчеев: заставил ждать в комнате, где один лакей чистил сапоги, а другой разливал чай; потом вышел в шлафроке, извиняясь, что, отвыкнув от визитов, особенно таких ранних, он не одет... не попросил садиться, а, выслушав просьбу, отозвался, что это не по его части, ибо он секретарь государя, не больше, и может только то, что ему прикажут».

Так ничего и не добившись, Барклай отправился к месту нового своего назначения и с дороги, как сообщает Марченко, написал Аракчееву письмо, «чтоб доложил государю о столовых» деньгах. Подлинник этого письма, ныне нами разысканный, датирован 10 февраля 1813 г. Оно выявляет всю меру унижения, которому царский фаворит подверг с прямо-таки изощренным издевательством уже старого по тем временам, заслуженного военачальника. «Не могу вашему сиятельству довольно изъяснять, сколь прискорбно мне, что нахожусь в необходимости утруждать вас сею прозбою,— писал вконец обескураженный, но полный достоинства Барклай.— Я во всей продолжения службы моей никогда не просил о вспомоществовании и никогда не вообразил себе, чтобы я после столь долговременной моей службы, еще к тому принужден был»[46].

Когда же, наконец, был подготовлен рескрипт о назначении Барклаю 12 тыс. серебром, «как и следовало за границей» главнокомандующему русской армией, слово «серебром» Аракчеев самолично вычеркнул перед подписанием рескрипта Александром I. «Мщение гнусное!» — такой гневной репликой завершает Марченко свой рассказ.

Из его же воспоминаний можно заключить,что Аракчеев еще до этого противился тому, чтобы Барклай вернулся в армию и был оправдан в глазах царя. Марченко пишет, что повеление Александра I в конце ноября или начале декабря 1812 г. о посылке за Барклаем в его лифляндское имение «надежного фельдъегеря» было отдано в отсутствие в Петербурге Аракчеева, уехавшего на несколько дней в Грузино. По его же возвращении Александр I чувствовал себя неловко, был явно смущен предстоящим разговором на эту тему со своим временщиком. Аракчеев сам рассказывал Марченко, что «государь сконфузился», когда сообщил ему «о скором прибытии сюда Барклая»[47].

К этому следует добавить, что в 1817 г. Барклай отважился выступить с критикой насаждавшихся Аракчеевым военных поселений с их жесточайшей регламентацией хозяйственного быта и повседневной жизни крестьян и солдат. Причем велась эта критика со ссылкой на крестьянские реформы в Прибалтике в 1804 и 1816 гг. и с позиций осуждения крепостнической барщины, признания свободы экономической деятельности крестьянства и неприкосновенности его личных и имущественных прав[48]. Любопытно, что и эта записка Барклая, переданная им Александру I, поступила от него к Аракчееву и до кануна падения крепостного права в России хранилась недвижимой в его архиве.

Воздавая позднее Барклаю должное, Н.И. Тургенев писал: «Все русские, знающие, какие ужасные бедствия причинило их стране устройство военных поселений, должны быть благодарны человеку, который осмелился открыто порицать... это столь же нелепое, как и жестокое учреждение...» — «в стране... где ни у кого не хватало самоотверженности и смелости открыто высказать свое мнение императору»[49].

У Аракчеева были, как видим, свои достаточно веские причины так настойчиво укрывать после войны оправдательные записки Барклая, противодействуя доведению

их до читателя. Аракчеев прекрасно понимал, что, будучи опубликованными или разойдясь только в списках, они наиболее убедительным образом реабилитировали бы Барклая в глазах соотечественников, сняли бы тянувшийся еще с 1812 г. шлейф клеветнических слухов и обвинений, наконец, высветили бы с новой силой высокие свойства его личности. А этого Аракчееву с его угрюмой злопамятностью, смутным ощущением военного и чисто человеческого превосходства Барклая ни в коем случае не хотелось. Наверное, он тешил себя надеждой, что погруженным в тайниках грузинского и императорских архивов оправдательным запискам Барклая не суждено уже будет увидеть свет. Поэтому сокрытие их Аракчеевым нельзя расценить иначе, как актом низкой и слепой мести, и нам остается лишь повторить вслед за современником-мемуаристом: «Мщение гнусное!»

ИСТОРИКИ И ПУБЛИКАЦИИ

Первый в русской историографии труд об Отечественной войне — выпущенная в 1819 г. книга Ахшарумова — явился в ту эпоху и последним, где полководческая деятельность Барклая освещалась в благожелательных и объективных тонах. О крупных исторических сочинениях на данную тему последующих десятилетий — работах Д.П. Бутурлина и прежде всего Михайловского-Данилевского — сказать этого уже никак нельзя.

Друзья и единомышленники в годы наполеоновских войн, люди одного — декабристского, в широком смысле слова,— поколения, как историографы Ахшарумов и Михайловский-Данилевский принадлежали к разным идейно-политическим течениям и даже к разным эпохам в жизни русского общества.

Глубоко различны были и их личные судьбы. Об Ахшарумове, хотя и достигшем генерал-майорского чина, в 20—30-е годы мало уже кто помнил, а его исторические труды об Отечественной войне были настолько прочно забыты, что когда в январе 1837 г., всего на 45-м году жизни, он скоропостижно скончался (по странному стечению обстоятельств — в разгар полемики о Барклае в связи с пушкинским «Полководцем»), то в появившемся в «Северной пчеле» некрологе было сказано на сей счет

вообще нечто невразумительное: «Ахшарумов был хороший офицер в деле военном и занимался литературою. В 1819 г. он издал книгу: Известия о военных действиях Российской армии против французов в 1812, 1813 и 1814»[50]. Приписав, таким образом, Ахшарумову это издание (на самом деле оно вышло не в 1819 г., а за несколько лет до того), к которому он не имел никакого отношения, автор некролога о действительно принадлежавших ему исторических сочинениях не упомянул вовсе.

Михайловский-Данилевский же, отошедший от вольнолюбивых идеалов молодости и совершивший блестящую военно-придворную карьеру, был в николаевское царствование процветающим, весьма чтимым в правительственных сферах историографом — автором созданных по высочайшей воле «описаний» войн начала века. Генерал-лейтенант, сенатор, член Военного совета, председатель Военно-цензурного комитета, он приобрел тогда безграничное влияние на все, что печаталось в России об эпохе 1812 г.

Михайловский-Данилевский был, пожалуй, единственным из бывших участников рейхенбахского кружка военных историков 1813 г., кто испытывал к полководцу откровенную неприязнь, уходившую своими корнями еще в антибарклаевские настроения 1812 г., особенно сильные в кутузовском окружении, и в послевоенную пору она проявлялась им постоянно, а иногда и сверх всякой меры.



А.И. Михайловский-Данилевский. Литография. 1840-е годы. ГЛМ

Перерабатывая в конце 20-х годов свои дневниковые журналы в связное мемуарное повествование, Михайловский-Данилевский, едва только заходила речь о Барклае, не упускал случая отозваться о нем уничижительно. «Князь Барклай де Толли не имел качеств,

потребных для высокого звания, в которое он был облечен»,— читаем, например, в «журнале» за 1818 г.[51] Много лет после войны он продолжает считать, в унисон с официозной точкой зрения 1812 г., что сдача французам Москвы лежит на совести Барклая: «каждый разоренный житель должен был служить ему упреком»[52].

В январе 1838 г. он представил Николаю I начальный вариант «Описания» Отечественной войны, заказанного ему за два года до того в связи с ее 25-летием. Но даже царя, не склонного возвышать роль Барклая в событиях 1812 г., покоробила антипатия к нему автора и принижение его заслуг в юбилейном историографическом официозе, претендовавшем хотя бы на видимость объективности. В дневнике Михайловского-Данилевского отмечены слова А.И. Чернышева об отзыве Николая I: «Он говорит, что вы нападаете на Барклая»[53]. Историк учел, конечно, царскую критику, внес в окончательный текст «Описания» поправки и дополнения, но все равно фигура Барклая не получила в нем достаточного освещения.

Николай I затребовал, видимо, более обоснованных суждений по этому поводу, и, стремясь парировать царский упрек, Михайловский-Данилевский еще до выхода в свет «Описания» составил конфиденциальное «Мнение», где, отстаивая отрицательную в целом оценку деятельности Барклая в 1812 г., подкрепил ее критическим разбором его записки «Изображение военных действий 1-й армии»: «Поставленный ныне в необходимость изложить об ней мое мнение не для публики, я почитаю обязанностью сказать его смело и прямо, уверенный, что тем более подтверждается мое беспристрастие как историка». При всей своей верноподданности и царедворческом угодничестве, в данном случае он, как видим, неожиданно показал себя человеком, дорожившим собственными убеждениями,— слишком велико и застарело было его недоброжелательство к опальному в 1812 г. полководцу.

Михайловский-Данилевский решительно утверждает: «Барклай де Толли не был полководцем великим. Хладнокровие, личная храбрость были его достоинствами. Но к ним присоединялись ограниченность соображений, медленность, нерешительность исполнения, опасение взять что-либо на свою ответственность, весьма понятная в

полководце в такое время, когда он должен был состязаться с Наполеоном». Барклай — заурядный, малоспособный военачальник, направляемый «точною волею императора Александра», «послушный исполнитель его приказов», а потому и назначение его главнокомандующим крупнейшей русской армией следует считать «ошибкой выбора» Александра I, однако, многозначительно добавляет он, «цари не ошибаются, по крайней мере не могут сознаваться в своих ошибках», и «император Александр... не должен был сознаться в том».

Отзываясь о представлении Барклаем царю «Изображения» с его личностно-оправдательным пафосом и резкими выпадами в адрес Кутузова как о «поступке недостойном», полагая, что это «непозволительно и постыдно для памяти Барклая де Толли», Михайловский-Данилевский заявляет себя принципиальным противником предания его огласке, как, впрочем, и оправдательных записок полководца вообще. «Изображение» суть «начальное доказательство того, что страсти человеческие не умолкают даже при одушевлении самым святым делом и омрачают блеск самых доблестных подвигов». И затем развивает эту мысль в пассаже, не допускающем для барклаевской записки никаких шансов получить известность в обозримом будущем: «Излишне было бы доказывать, что подобные отголоски страстей не могут быть допущены в публичную историю, коей многие современники и участники еще живы, и тем менее в историю, издаваемую от правительства. Подобные горестные тайны должны быть предоставляемы только позднейшим потомкам». А отсюда уже сам собой напрашивался вывод, что «Изображение» надолго еще «может оставаться в тайне архива».

Понятно, что оправдательные записки Барклая были полностью обойдены в «Описании Отечественной войны». В том же «Мнении» Михайловский-Данилевский сам признался в этом. Перечислив те «темные пятна» истории войны, которые вынужден был опустить по политическим мотивам, он указал, в частности, и на «Изображение»: «Так и сущность записки Барклая де Толли умолчана мной в Истории 1812 года»[54]. Этой же установкой объясняется и то, что «Изображение» не было, как мы уже отмечали, ни разу упомянуто в биографии Барклая, написанной А.В. Висковатовым для «Военной галереи

Зимнего дворца» — издания, подготовкой которого Михайловский-Данилевский непосредственно руководил, выступая и здесь не только редактором, но и придирчивым цензором.

А надо при этом заметить, что из всех историков своего и последующего времени Михайловский-Данилевский был наилучшим образом осведомлен о составе и местонахождении рукописей оправдательных записок Барклая.

Так, к цитированному выше «Мнению» приложены два бывших в его распоряжении русских списка «Изображения», на одном из которых, носящем название «Секретное донесение князя Барклая де Толли, им самим писанное, о военных действиях 1812 года государю императору», сохранились карандашные пометы Михайловского-Данилевского[55]. Ему был известен и один из ранних списков «Изображения», полученный из архивов Военного министерства в апреле 1836 г.,— сразу же, как он приступил к собиранию рукописных материалов для «Описания Отечественной войны»[56].

Еще важнее, что Михайловский-Данилевский располагал французским черновиком «Изображения», писанным, как помним, рукой А.И. Барклая де Толли с поправками самого полководца.

С ноября 1812 г. и вплоть до кончины Барклая этот черновик хранился в его личном архиве, который был при нем и в Могилеве, где располагался штаб 1-й армии. Барклай умер внезапно для окружающих 14 мая 1818 г. в г. Инстербурге, в Восточной Пруссии по дороге на заграничное лечение. Александр I находился в то время в поездке по югу России. Сопровождавший его в качестве флигель-адъютанта А.И. Михайловский-Данилевский вспоминал, что известие об этом, полученное 26 мая 1818 г., «сильно поразило императора, его величество несколько раз перечитывал донесение, присланное к нему по сему поводу начальником главного штаба первой армии Дибичем»[57]. 7 июня И.И. Дибич доносил начальнику Главного штаба Е. И. В. П.М. Волконскому: «Покойный господин Генерал-фельдмаршал князь Барклай де Толли перед отъездом своим в последний раз из Могилева оставил сундук под замком и за печатями с разными документами и важными бумагами». Чуть позднее он сообщил П.М. Волконскому, что в этом сундуке, «по моему мнению, должны содержаться бумаги, оставшиеся от кампании 1812 г.».

Сундук с «запечатанными бумагами» полководца был тут же доставлен Александру I. Сперва они были разобраны П.М. Волконским. Затем их пересматривал сам император, который, по свидетельству Михайловского-Данилевского, «фамильные бумаги возвратил супруге... а прочие, коих содержание неизвестно, оставил у себя». В конце концов все рукописи, относящиеся «до службы», поступили в квартирмейстерскую часть Главного штаба, откуда уже в 1829 г. были переданы при подробной описи на хранение в архив Военно-топографического депо, на базе которого сформировалась позднее коллекция Военно-ученого архива[58]. Опись состояла из XI пунктов, охватывавших собой множество военно-политических документов, главным образом по эпохе 1812 г. Под VII пунктом отмечено «Черновое письмо г-на Барклая де Толли к государю императору от 9 ноября, при коем препровождена была просьба об отставке и описание военных действий 1-й армии»,— последнее и представляло собой французский черновик «Изображения». Тут же, кроме указанного чернового письма Барклая Александру I от 9 ноября, находился и черновик его письма к царю от 27 января 1813 г., чрезвычайно важного, как мы уже отмечали, для понимания оправдательной тактики Барклая. В архиве Военно-топографического депо эти документы, подшитые в книгу в картонном переплете, были записаны под № 29780[59].

Документальным подтверждением знакомства с ними Михайловского-Данилевского служит перечень «секретных бумаг» 1812 г., по тем или иным причинам затребованных в 30-е годы из Военного министерства. Среди полутора десятка их наименований значилось: «Черновые два письма на французском языке князя Барклая де Толли к императору Александру и описание военных действий 1-й армии в 1812-м году на французском языке. Книга в переплете за № 29780-м Военно-топографического депо», а на полях — делопроизводственная помета: «Передано в подлиннике ген.-лейт. Михайловскому-Данилевскому при отношении от 14 апреля за № 48-м 1836»[60].

Но, более того, как теперь выясняется, он был знаком и с беловым французским подлинником «Изображения», представленным Барклаем Александру I.

Михайловскому-Данилевскому для его занятий эпохой 1812 г. были открыты государственные архивы в таком объеме, в каком они оставались недоступными для исследователей и десятилетия спустя[61]. Первым среди историков он был допущен и в святая святых императорских хранилищ — к секретным бумагам аракчеевского архива. Причем произошло это вскоре после смерти Аракчеева и передачи его архива в Военное министерство. 16 декабря 1834 г. А.И. Чернышев сообщал историку: «Его величество, имея в виду, что после смерти генерал от артиллерии графа Аракчеева поступили для хранения в канцелярию военного министерства бывшие у него секретные бумаги, из коих многие заключают в себе важные сведения о действиях войск наших в минувшую войну, изволит предоставлять вашему превосходительству заимствовать из них все, что признается нужным... с тем, чтобы извлечения ваши, из сих бумаг сделанные, были предварительно сообщены мне»[62].

Никак невозможно предположить, чтобы, при фактически неограниченном доступе к аракчеевскому архиву, вне поля зрения Михайловского-Данилевского остались эти самые «секретные бумаги» 1812 г. и среди них выделенная еще в середине 1810-х годов в особую подборку группа документов с беловым французским подлинником «Изображения», а также с оригиналами двух других оправдательных записок Барклая — «Примечания» и «Объяснения», вместе с которыми находился и подлинник его письма к Александру I от 25 октября 1812 г.

Ему был известен, как уже указывалось, писарский текст «Оправдания» в первой редакции и черновой автограф второй его редакции, располагал он писарским списком и третьей редакции «Оправдания», приложенным к разобранному выше его «Мнению».

Мы установили, таким образом, что Михайловский-Данилевский был знаком, главным образом по оригиналам, со всеми оправдательными записками полководца. Но ни разу у него не явилось желания не то чтобы опубликовать что-либо из них, но хотя бы упомянуть о их существовании в печати. До конца жизни он так и не отступил от внушенного себе правила держать записки Барклая «в тайне архива». А при его главенствующих позициях в учено-издательской деятельности по истории

1812 г. это служило в последние предреформенные десятилетия сильнейшей преградой для введения их в общественно-историографический оборот.

Сдвиг в этом отношении наступает лишь в конце 1850-х годов, когда на общей волне демократического подъема, смягчения цензурных стеснений, проникновения на страницы различных изданий документов «императорского периода» русской истории появляются ранее запретные записки Барклая. Коснемся сперва тех из них, которые предназначались им к обнародованию.

В 1859 г. М.И. Богданович в примечаниях к своей «Истории Отечественной войны» поместил вторую редакцию «Оправдания». Однако публикация эта страдала существенными изъянами. Во-первых, он напечатал записку не полностью — только начальную часть, составляющую примерно половину всего текста. Во-вторых, из пояснения, которым Богданович сопроводил публикацию: «Записка, поданная впоследствии Барклаем де Толли, может служить выражением его мыслей о плане действий в войну 1812 года»,— следовало, что историк не распознал ее назначения и места в ряду оправдательных усилий Барклая в конце 1812—1813 гг., она интересовала его лишь как осколок стратегических замыслов полководца накануне войны. В-третьих, записка была напечатана не по подлинному тексту, а по сильно расходившемуся с ним списку[63].

В том же году Богданович опубликовал — уже полностью — третью редакцию «Оправдания», но опять же по какому-то списку, авторитетность которого остается не выясненной[64].

На этом публикация оправдательных записок Барклая прерывается почти на четверть столетия.

В 1882 г., в 70-летнюю годовщину Отечественной войны, произошло событие, заметно отразившееся на знакомстве русского общества с эпохой 1812 г. Академия наук выпустила подготовленную ее членом-корреспондентом, генерал-майором Н.Ф. Дубровиным книгу «Отечественная война в письмах современников (1812—1815)». Этот богатейший свод эпистолярных и иных, близких к ним по происхождению источников, заново осветивших многие стороны военно-политической и общественной жизни того времени, составил для читающей публики, по словам позднейшего биографа историка, «целое откровение»[65]. Он и доныне служит

незаменимым пособием для всякого изучающего эпоху 1812 г.

В ряду расположенных в строго хронологическом порядке корреспонденций здесь впервые увидели свет письмо Барклая к Александру I от 25 октября 1812 г. и вслед за ним две его оправдательные записки — «Объяснение», как бы приложенное к письму, с которым оно и было направлено царю, и «Примечание» на рапорт Кутузова от 4 сентября 1812 г.[66] Их же оригиналы хранились — напомним это — в архиве Аракчеева, в сформированной им в середине 1810-х годов особой подборке секретных бумаг 1812 г., поступившей после его смерти в Военное министерство[67].

Отсюда нетрудно было заключить, что именно по этим оригиналам оправдательные записки Барклая и были опубликованы Дубровиным, поскольку какие-либо иные их рукописные тексты — и тут мы немного забегаем вперед — не имели распространения и в наших архивах не обнаружено ни одного их экземпляра.

Значит, Дубровин был допущен правительством к аракчеевскому архиву, из чего уже само собой напрашивалось предположение, что изданная им в 1882 г. книга и в остальной своей части основывалась на материалах этого архива. Сличая ее состав с материалами фонда Аракчеева в РГВИА (д. 85, 90, 91), мы убеждаемся в том, что это было действительно так, причем львиная доля помещенных здесь документов представляет собой специально изготовленные для всесильного временщика копии перлюстрированных почтовым ведомством писем множества государственных, военных, придворных и вовсе никому не известных в то время лиц. Они и помыслить тогда не могли, что их личная переписка с живыми и критическими откликами на военные события, порою сугубо доверительная и интимная, никак не рассчитанная для посторонних глаз, подвергнется столь бесцеремонному обращению.

Перлюстрация частных писем как своего рода средство «внутреннего шпионажа», укоренившаяся в России еще при Екатерине II и Павле I, в царствование Александра I достигла недосягаемого прежде совершенства. В нее были вовлечены и министр внутренних дел О.П. Козодавлев, и министр полиции А.Д. Балашов, и петербургский губернатор С.К. Вязьмитинов, и московский — Ф.В. Ростопчин. Тут были свои непревзойденные масте-

ра и «теоретики» вроде, например, небезызвестного почт-директора Москвы Д.П. Рунича, уповавшего на «внушенную в публике доверенность к почтовому департаменту».

Сам император в целях улавливания умонастроений своих подданных всячески поощрял вторжение в их переписку. В 1812 г. О.П. Козодавлев не раз представлял ему «выписки» из частных корреспонденций «политического содержания», принадлежавших перу важных военных и гражданских особ.

Предмет был, однако, крайне щекотливым, в глазах дворянской общественности более чем предосудительным, если вовсе не безнравственным, требовавшим высочайшей осмотрительности. В сентябре 1813 г. О.П. Козодавлев наставлял на сей счет Д.П. Рунича: «Тайна, и самая непроницаемая тайна, долженствует быть наблюдаема; все таковые выписки у государя предаются огню, а также и у меня, а потому и следов никаких не остается. Разве бы случилось, что нужно такую выписку оставить для справок, что, однако, случается весьма и весьма редко, то таковое огню не предается, отпусков никаких не оставливается. Все сие для соблюдения военной тайны и вам делать надлежит»[68].

Аракчеев же, как видим, пренебрег этим предостережением «не оставлять следов» и, не брезгуя ничем, со всесокрушающим педантизмом, день ото дня подшивал стекавшиеся к нему от почтмейстеров выписки из партикулярных писем, переплетая их затем в огромные фолианты,— как исторический памятник своего всевластия над умами современников.

В силу ли вопиюще скандального характера этого его архивно-полицейского усердия, то ли по общему сугубо сокровенному составу аракчеевских материалов, но и 70 лет спустя допуск к ним Дубровина был окутан покровом глубокой тайны.

Только в свете этого можно понять то труднообъяснимое, на первый взгляд, обстоятельство, что высокопрофессиональный историк, опытнейший архивист и археограф, уже тогда снискавший известность фундаментальными публикациями по военной и политической истории России начала века, завоеванию Кавказа и Крымской войне, Дубровин в этом издании ни разу не привел элементарных в таких случаях сведений об источниках своей публикации, в том числе и относитель-

но оправдательных записок Барклая. Хотя его издание было снабжено и предисловием, и подстрочными примечаниями к документам, и именным указателем, и подробной библиографией литературы о 1812 годе. Вопрос о его источниках не был затронут и в рецензии «Исторического вестника». Сообщив, что Дубровину для его занятий эпохой 1812 г. предоставили свои архивы Министерство внутренних дел и даже упраздненное недавно III Отделение Собственной Е.И.В. канцелярии, автор рецензии, явно дезориентируя читателя, отметил только, что документы для издания «Отечественная война в письмах современников» «извлечены из разных архивов»[69]. Любопытно, что в вышедшем в следующем году продолжении этого издания — книге «Письма главнейших деятелей в царствование Александра I (с 1807—1829)», также всецело основанной на эпистолярных источниках архива Аракчеева (но уже не на перлюстрации, а на его личной переписке), Дубровин снова не посчитал возможным указать на то, откуда же они почерпнуты.

До самой смерти историка, последовавшей в 1904 г., местонахождение использованных им в этих изданиях документов не разглашалось. Было бы тщетно искать указаний на обращение Дубровина при их подготовке к аракчеевскому архиву в посмертных его биографиях и в посвященных ему некрологах. Даже такой осведомленный и, видимо, близкий к Дубровину ученый, как А.С. Лаппо-Данилевский, в речи в его память на общем собрании Академии наук в сентябре 1904 г., глухо упомянув о том, что покойный имел «возможность пользоваться материалами, которые оставались недоступными большинству историков», как, «например, некоторыми бумагами, касающимися истории Пугачевского бунта и дела о декабристах», о допуске его в начале 80-х годов к аракчеевскому архиву не обмолвился ни словом[70].

Лишь в 1913 г. на страницах специального и тогда малодоступного читательской аудитории военно-исторического журнала историк и библиограф Н.М. Затворницкий, сам работавший над эпистолярной частью аракчеевского архива по эпохе 1812 г., сообщил, наконец, что труд Дубровина «Отечественная война в письмах современников» зиждется на бумагах «графа Аракчеева, пос-

тупивших из его Грузинской библиотеки в архив канцелярии Военного министерства»[71].

Неудивительно поэтому, что редко кто из историков, обращавшихся за последние сто с лишним лет к этой дубровинской публикации в целом и к помещенным в ней двум оправдательным запискам Барклая в частности, отдавал себе отчет в происхождении лежавших в его основе материалов.

Осталось оно неведомым и крупному военному историку начала XX в. Б.М. Колюбакину. В 1912 г. в «Трудах ИРВИО» без каких-либо комментариев, сославшись лишь на Дубровинскую публикацию 30-летней давности, он перепечатал оттуда «Примечание» Барклая на рапорт Кутузова от 4 сентября 1812 г. и «Объяснение»[72].

Здесь же Колюбакин опубликовал и первую, основную редакцию «Оправдания» (за год до того она была напечатана им в «Журнале ИРВИО»[73]) без указания на архивный источник и по явно дефектному списку с ошибками в тексте, датах, с пропусками цифровых данных и т.д.— в сохранившемся оригинале записки, переданном Барклаем в начале 1813 г. Александру I,они были исправлены и восполнены[74].

Совершенно очевидно, что этот список отразил ранний, незавершенный, еще окончательно не отредактированный автором вариант «Оправдания», который, видимо, каким-то образом уже в 1813 г. получил хождение в обществе. Важно вместе с тем подчеркнуть, что его публикация Колюбакиным в изданиях ИРВИО впервые ввела в оборот эту записку Барклая — до того она в печати вообще не появлялась.

И тут мы должны оспорить высказанное Н.И. Казаковым и некритически воспринятое рядом историков мнение о том, что будто бы впервые «Оправдание» было обнародовано еще в 1821 г. в Вильне[75]. Единственным основанием для этого послужила воспроизведенная в публикации Колюбакина по имевшемуся у него списку помета в конце текста «Оправдания»: «От Л.М. Г...на. Вильно, 15 декабря 1821 г.»[76]. Казаков ошибочно истолковал помету как выходные данные типографского издания, на самом же деле это была типичная для рукописного бытования произведений письменности владельческая запись, а вернее — указание переписчика на лицо, от которого был получен источник

списка, и на время и место его изготовления. Об этом же, в частности, свидетельствует и точное обозначение числа, которое в выходных данных печатных изданий обычно не проставлялось. Да и вопрос о том, при каких обстоятельствах и кому именно понадобилось в 1821 г. в Вильне публиковать потаенную записку Барклая, не был даже поставлен.

Таким образом, благодаря неправильному прочтению простейшего текста было сконструировано и пущено в литературу никогда не существовавшее, можно сказать, мифическое издание — своего рода «Поручик Киже» в археографическом исполнении.

Мы видим, сколь долго и трудно проникали на страницы русской печати даже те оправдательные записки Барклая, которые он сам намеревался обнародовать от своего имени еще в 1812—1813 гг.

Еще хуже обстояло дело с публикацией пристрастно-обличительного по своему тону «Изображения», предназначавшегося в 1812 г. исключительно для Александра I. Его появление в печати оказалось возможным также лишь в условиях общественного подъема конца 1850-х годов.

В «Чтениях МОИДР», открывших тогда свои страницы для очень ценных, державшихся прежде под спудом документов эпохи 1812 г., О.М. Бодянский сумел в 1858 г. напечатать русский текст «Изображения», не дав при этом каких-либо пояснений о происхождении документа, его исторической характеристики, комментариев и т.д., что в таком солидном научном издании должно было бы быть первейшим и непременным элементом. Не оговорил Бодянский и источника своей публикации, а им был недостаточно исправный список, напечатанный к тому же с пропусками[77].

С тех пор и до конца XIX в. «Изображения» в печати мы более не видим, и это при том, что Отечественная война являлась излюбленной темой русской пореформенной историографии, а капитальные серийные издания и исторические журналы были заполнены документальными материалами той эпохи, касавшимися и Барклая. Правда, те или иные фактические сведения «Изображения» часто использовались в исторических трудах, но историки явно избегали публиковать сам его текст — эта сугубо «секретная» в 1812 г. оправдательная записка Бар-

клая не только в первой, но и во второй половине XIX в. продолжала сохранять свой предосудительно-запретный характер.

Так, Богданович, который, как мы помним, опубликовал в 1859 г. две другие оправдательные записки Барклая, год спустя в источниковедческом разделе своей «Истории Отечественной войны» отметил критическую направленность «Изображения» и его историческую значимость, однако, дорожа, видимо, своим положением официального, пользовавшегося доверием властей историографа, от напечатания его текста уклонился[78].

Еще показательнее позиция, занятая в этом отношении Дубровиным, опубликовавшим в своем издании 1882 г. в подборке особо «секретных бумаг» 1812 г. из аракчеевского архива оригиналы «Примечания» и «Объяснения» Барклая. Но в том же самом деле, буквально рядом с этими оправдательными записками хранился и беловой подлинник «Изображения»[79], и естественно, что он не мог с ним не ознакомиться и не оценить его должным образом. Дубровин явился, очевидно, единственным после Михайловского-Данилевского историком, кому снова оказался доступным этот уникальный документ. И тем не менее Дубровин обошел его своим вниманием и от публикации в книге «Отечественная война в письмах современников» отказался. Не решился он здесь упомянуть хотя бы о самом наличии подлинника «Изображения» — верный признак невозможности по цензурно-политическим условиям того времени какой-либо огласки на сей счет.

Подобным же образом вынужден был поступить и другой видный историк конца XIX — начала XX в. В.И. Харкевич, сильно продвинувший изучение полководческой деятельности Барклая, автор двух основательных монографий о его участии в Отечественной войне[80]. В одной из них он опубликовал по архивным первоисточникам переписку Барклая с Александром I за 1812 г., включая и письмо от 9 ноября, с которым «Изображение» было отправлено из Новгорода царю. Указав во введении к книге в ряду «главнейших пособий» к составлению этой монографии «известное оправдание своих действий, представленное Барклаем Александру», Харкевич тем и ограничился, и текста его ни здесь, ни в

других своих многочисленных публикациях по эпохе 1812 г. не напечатал[81].

В 1893 г. ярославский краевед и коллекционер А.А. Титов опубликовал в «Русском архиве» случайно обнаруженные на местном базаре записки участника русско-турецкой и Отечественной войн инженер-поручика А.И. Мартоса — сына знаменитого скульптора, ректора Академии художеств[82]. Записки, составленные в 1818 г., включали в себя полный текст русского перевода «Изображения» — таким образом оно оказалось вторично опубликованным[83].

Вновь в печать «Изображение» попадает уже в дни празднования столетнего юбилея Отечественной войны, отмеченного выходом в свет многих важных исторических трудов. В 1912 г. некий Н. Гастфрейнд выпустил отдельной книгой русский его текст по рукописи, которая попала к его отцу, московскому доктору А.А. Гастфрейнду, не позднее 60-х годов XIX в.[84] Тогда же в монументальном издании архивных документов по Отечественной войне, осуществленном коллективом военных историков на базе коллекций Военно-ученого архива, появляется русский список «Изображения», датируемый 10-ми годами XIX в.[85]

Наконец, в 1912 г. Колюбакин в комплексе с другими оправдательными записками Барклая предпринял в «Трудах ИРВИО» еще одну, быть может, самую примечательную публикацию «Изображения» — он впервые напечатал здесь его текст на языке оригинала.

Незадолго до выхода этой публикации военный историк А. Витмер в историко-критическом разборе Бородинского сражения, перечислив среди своих источников и «Изображение», уведомил читателей, что его «подлинник на французском языке подготовляет к изданию Борис Михайлович Колюбакин, любезно предоставивший в мое распоряжение корректуру на французском языке подготовленного им к изданию подлинника»[86]. К сожалению, в историографии и до сих пор бытует это ошибочное мнение. Например, Казаков утверждает вслед за Витмером, что Колюбакин напечатал не что иное, как «подлинник с переводом на русский язык»[87].

На самом же деле все обстояло совсем иначе. Или Витмер был введен в заблуждение, или сам Колюбакин

неверно квалифицировал попавшую к нему рукопись, но напечатал он не беловой французский подлинник «Изображения» из аракчеевского архива, куда скорее всего вообще не был вхож, а французский черновик, который до 1818 г. находился у Барклая, после его смерти был передан в Главный штаб, а в начале XX в. хранился в ВУА. Представлял же он собой, как уже указывалось, недоработанный текст с рядом пробелов и разночтений сравнительно с подлинником[88]. Помещенный же здесь параллельно русский текст — это не специально выполненный им для этого издания перевод, а русский список 30-х — начала 40-х годов XIX в., восходивший к переводу, который соответствовал не французскому черновику, а подлиннику «Изображения»[89].

Даже сделав скидку на недостаточную развитость в начале XX в. эдиционных принципов археографии, нельзя не признать, что публикация Колюбакина являла собой довольно странное зрелище: важнейшая военно-политическая записка Барклая была представлена читателю в неидентичных текстах, и их несогласованность во французском и русском вариантах при самом вдумчивом чтении не поддавалась сколько-нибудь разумному объяснению и не могла быть понята только как следствие изъянов в переводе.

Подведем вкратце некоторые итоги.

Отметим прежде всего крайне осложненный характер и весьма замедленные темпы введения в общественно-историографический оборот оправдательных записок Барклая, растянувшегося на целое столетие.

Их оригиналы, державшиеся почти весь XIX век в недрах государственных архивов, были, как правило, недоступны нескольким поколениям русских историков. Последним из тех, кто располагал оригиналом первой редакции «Оправдания», был еще в 30-х годах прошлого века Михайловский-Данилевский. (Подлинники же его второй и третьей редакций вовсе пока не разысканы.) После Дубровина, имевшего в своих руках в начале 80-х годов XIX в. подлинники «Примечания», «Объяснения» и «Изображения», к ним с того времени также никто не обращался. Подлинник последнего вообще никогда не публиковался и еще ждет своего научного издания.

Словом, после Михайловского-Данилевского и Дубровина подлинники оправдательных записок Барклая оставались в исторической литературе неизвестными, и только ныне их судьба начинает проясняться.

Чаще всего они публиковались по случайно попадавшим в поле зрения тех или иных ученых, мемуаристов, коллекционеров рукописям — неавторитетным, неисправным и неполным спискам, иногда весьма позднего и далеко не ясного происхождения, которые не подвергались необходимому в таких случаях текстологическому изучению.

Из всего этого с непреложностью следует важный для нас вывод: само появление в 1858—1912 гг. в печати оправдательных записок Барклая стало в значительной мере возможным благодаря практике их рукописного распространения, сложившейся спонтанно — вопреки правительственным запретам, цензурным гонениям и умолчаниям официозной историографии.

«ПРЕЗРЕВШИЕ ПЕЧАТЬ...»

Принадлежность оправдательных записок Барклая к разряду рукописной, потаенной «словесности» — еще одна примечательная черта их сложной и многотрудной истории, органически вписывающаяся в культурную жизнь эпохи.

Негласное распространение в списках разных произведений оппозиционного, фрондирующего, а порой и антисамодержавного толка восходит еще к середине XVIII в., ко времени зарождения в России общественного мнения. В первые десятилетия XIX в. эти, по образному выражению Пушкина, «сочиненья, презревшие печать»[90], образуют самостоятельную отрасль культурной деятельности, влиявшую не только на собственно литературное движение, но и на политическую мысль и умонастроения общества.

По верному наблюдению П.А. Вяземского, сравнительно с подцензурной печатью, рукописная литература, «очень любимая в России, имеет несравненно более важности и ценности в глазах читающей публики»[91]. На ее специфическую роль в духовной жизни указывал в свое время Н.И. Тургенев: «В такой деспотической

стране, как Россия, где мнения не могут обнаруживаться путем печати, о мнениях публики можно осведомиться не иначе, как прислушиваясь к разговорам, вникая в то, что чаще всего говорится, и внимательно наблюдая за тем, что происходит. В странах, подчиненных деспотизму, общественное мнение проявляется также с помощью рукописной литературы... Эта литература, распространявшаяся контрабандой, указывает на направление умов в России»[92].

Наибольшей известностью пользовалась, естественно, легко расходившаяся в публике вольнолюбивая поэзия в виде стихотворных сатир, воззваний, эпиграмм, басен, од и т.д., представленная, например, именами Д.В. Давыдова, С.Н. Марина, молодого Пушкина, П.А. Катенина, К.Ф. Рылеева и других декабристов, а позднее и свободолюбивых литераторов последующих поколений. В начале XIX в. в репертуар вольной рукописной литературы входила и запретная политическая проза, менее, правда, мобильная, чем агитационная поэзия «малых форм». Тем важнее заметное распространение в списках многих произведений этого рода острой социально-критической направленности и прежде всего, конечно, знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева.

К исходу первого десятилетия XIX в. начинают расходиться в списках мемуары о тщательно скрывавшихся царизмом событиях последнего столетия российской истории. Всплывают, например, на поверхность рукописи записок Е.Р. Дашковой и И.В. Лопухина, воспоминаний Ф.В. Ростопчина о смерти Екатерины II и воцарении Павла I. На рубеже 1810—1820-х годов появляются списки наисекретнейших мемуаров самой императрицы и дневника ее секретаря А.В. Храповицкого с недоступными постороннему глазу подробностями государственной деятельности и частной жизни Екатерины II.

Во втором десятилетии XIX в. на арену негласного распространения вступают и документы, письма, записки, преимущественно мемуарного характера, об Отечественной войне. Изображая в суровых неприкрашенных тонах драматические коллизии 1812 г., затрагивая сокровенные военно-политические сюжеты и

репутации еще живших или недавно умерших военачальников, лиц царской администрации, они не могли, по понятным причинам, увидеть свет в подцензурной печати. Но расходясь в списках на протяжении всего дореформенного периода (публикация только некоторых из них стала возможной в 50—60-х годах XIX в.), они обретали животрепещущее публицистическое звучание[93]. Укажем здесь лишь на некоторые из них.

Не ранее 1810-х годов пошли в ход списки мемуарных записок члена Вотчинного департамента Сената А.Д. Бестужева-Рюмина, обнаживших закрытые тогда для гласного обсуждения стороны московской жизни в 1812 г., в том числе беззакония и самоуправство Ф.В. Ростопчина на посту столичного губернатора[94].

Выше говорилось о публикации в 1893 г. в «Русском архиве» записок инженерного офицера А.И. Мартоса, включавших в себя текст «Изображения». В них описывались главным образом события Отечественной войны, но заключительный раздел был посвящен службе автора в Петербурге адъютантом Аракчеева в 1816—1817 гг. Здесь Мартос дружески сошелся с также состоявшим при Аракчееве И.А. Долгоруковым — членом Союза спасения и блюстителем Коренного совета Союза благоденствия: «В числе наших адъютантов я познакомился с князем Ильею Андреевичем Долгоруким, молодым, умным, благороднейшим человеком. Я горжусь, что приобрел его дружбу; горжусь ею как наилучшим даром, мною владеемым. Князь к образованному сердцу присоединяет пылкую нежную душу»[95].

Это был тот самый Илья Долгоруков, которого увековечил Пушкин во всем памятных строках десятой главы «Евгения Онегина», где он назван вместе с Никитой Муравьевым:

Витийством резким знамениты
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи[96].

Видимо, благодаря ему Мартос попал в среду передовой столичной молодежи, тяготевшей к конспиративным политическим объединениям, и стал посещать заседания масонской ложи «Избранного Михаила» и Вольного общества любителей российской словесности —

периферийных филиалов ранних декабристских организаций.

Заключительная часть его записок привлекает внимание глубокими размышлениями над политическими итогами походов 1812—1814 гг., над их освобождающими для русского крестьянства последствиями и — в явном контрасте с этим — красноречивым рассказом о бедственном положении военных поселян, ужасными подробностями обращения с ними аракчеевской администрации, критикой деспотических устремлений царского временщика и убийственной характеристикой его личности: «Лице его есть» отпечаток «грозной, запачканной души... человек, в моих глазах столь марающий имя гражданина, отца семейства, брата или друга, что превышает всех негодных из самых негодных, о коих повествует История».

И, что неожиданнее всего, эти публицистически обличительные записки, касавшиеся злободневных вопросов общественной жизни конца 1810-х годов, Мартос тогда же предназначал новым своим друзьям. Приступая к их писанию после выхода в отставку — в знак протеста против губительной для России политики военных поселений,— он признается, что сама мысль о них «явилась у меня от желания... передать записки сии моим друзьям, которых я приобрел служа и которых выбором могу гордиться». А в завершение рассказа снова обращается к ним как к первым своим читателям: «Принимаюсь за перо, друзья мои, кончать мои записки, давши вам слово»[97]. Вполне естественно допустить, что сама эта ориентация на чтение записок не каким-то одним лицом, а целым содружеством единомышленников неизбежно предполагала их *рукописное размножение*. (Заметим попутно, что ни эти полузабытые записки, ни сама фигура их автора не включались доселе историками в рассмотрение умонастроений околодекабристской общественной среды рубежа 1810—1820-х годов.)

В первой половине 1820-х годов получают рукописное хождение записки А.П. Ермолова с их тенденциозностью и уничижительными характеристиками видных русских военачальников той эпохи. Наличие в наших архивах десятков их списков, датируемых 1820—1850-ми годами,

выразительно свидетельствует о размахе негласного обращения ермоловских мемуаров среди русской образованной публики[98].

В этом ряду оправдательные записки Барклая по праву занимают особое место — именно в них, как теперь выясняется, берет свое начало рукописное распространение запретных историко-публицистических и мемуарных памятников эпохи 1812 г.

Рассмотрим их далее в той последовательности, в какой уже обращались к ним ранее,— сначала те, что предназначались Барклаем к обнародованию.

По первой редакции «Оправдания» обнаружено 10 рукописных текстов. Если оставить в стороне авторско-редакторские рукописи[99] и позднейшие (конца XIX — начала XX в.) копии, снятые в историографических и коллекционных целях[100], то останутся четыре рукописи, которые могут быть квалифицированы как собственно списки, т.е специально изготовленные для чтения и последующего размножения.

Два списка — самые ранние. Один писарский, на бумаге с водяным знаком «1812» и с пометой «Оправдание Б. де Толли»[101].

Другой список тоже на бумаге с водяным знаком «1812» и карандашной пометой на первом листе: «1812. Тормасова»[102]. Из сравнения его с автографами генерала от кавалерии Александра Петровича Тормасова явствует, что это действительно его собственноручный список, расходившийся, видимо, вскоре после составления барклаевской записки и представления ее Александру I. В конце XIX в. руку Тормасова авторитетно удостоверил Н.К. Шильдер, снявший для своих исторических занятий копию со списка[103].

Один из прославленных военачальников той эпохи, занимавший в первые годы XIX в. генерал-губернаторские должности в Киеве и Риге, а затем как главнокомандующий в Грузии и на Кавказской линии руководивший боевыми действиями в войнах России с Турцией и Персией, Тормасов в 1812 г. сперва командовал на юго-западном направлении 3-й Западной армией, в октябре был отозван в кутузовский штаб, на исходе кампании и в 1813 г. предводительствовал Главной армией, а после войны сменил Ф.В. Ростопчина на посту Московского генерал-губернатора.

При сличении тормасовского списка со всеми известными нам текстами первой редакции «Оправдания» выясняется, что он полностью идентичен с авторской рукописью из коллекции Михайловского-Данилевского, на основе которой, как мы упоминали, первая редакция была преобразована Барклаем во вторую[104]. На то, что протографом тормасовского списка была именно эта авторская рукопись, указывает и почти точное воспроизведение в нем ее названия, ни в каких других текстах первой редакции «Оправдания» более не встречающееся: «Объяснение о военных действиях 1-й и 2-й Западных армий в кампании 1812-го года».

Список этот характерен еще и тем, что заключает в себе полемические возражения на «Оправдание». Текст его расположен в левой стороне каждого листа рукописи, а в правой, на полях, даны 17 развернутых замечаний Тормасова, в своей совокупности ненамного уступающих самому опровергаемому документу. Их самостоятельный характер по отношению к нему подчеркивался и раздельным обозначением авторства: если барклаевский текст подписан легко разгадываемым криптонимом «Б... д... Т...», то замечания — криптонимом самого Тормасова «Т... А... русской офицер»[105].



А.И. Тормасов. Гравюра С. Карделли. 1814—1815. ГИМ

Пути прохождения службы и перипетии жизненных судеб двух военачальников до 1812 г. не пересекались и между ними как будто бы не было личных столкновений, но как представитель старинной русской военной знати с глубоко укоренившимся чувством национальной гордости, воспитанный в военно-победительных традициях екатерининского царствования, Тормасов, видимо, органически не воспринимал отступательные маневры Барклая в 1812 г., лично к нему испытывал глубокую неприязнь и го-

тов был даже бросить упрек в недостатке патриотизма и вообще в нежелании активно противостоять наполеоновскому нашествию: «неслыханным отступлением многочисленных и лутчих в своей армии войск» Барклай лишь доказал «намерения не защищать границы». В духе прошлогодних оскорбительных нападок на него «генеральской оппозиции» Тормасов подвергает в своих замечаниях сокрушительной критике главный постулат оправдательной концепции полководца и его стремление показать неизбежность отхода русских войск в глубь страны с целью сохранения армии и истощения превосходящих сил противника: «Планы завлечь неприятеля в недра своего отечества,— разражается он гневной филиппикой в адрес Барклая,— есть мысль ужасная для всякого, кто ево истинно любит; всякой благомыслящий человек щитает отечество свое большою семьею, в которой он член, то можно ли холоднокровно решиться пустить разбойника в свой дом и ожидать своего спасения от того, что он, убив отца, мать, жену, детей, изтощит свои силы... Всем известно, что война, которую вел Наполеон, была война разорения и истребления, он придумывал все средства для исполнения сего дерзкого намерения...» Мог ли «русской полководец,— вопрошает далее Тормасов,— определять в совещании своем, чтобы заманить такового неприятеля в недра отечества?.. Спасение государства не может зависеть от спасения армии, когда народ сбережен... а когда народ разорен, тогда армии не могут быть полезны государству».

Тормасов при этом всерьез полагал, что стоило бы русской армии еще в первые дни кампании перейти к решительному натиску на французов, как война сразу же приняла бы совсем другой оборот. Верный патриархально-волюнтаристским взглядам на военное дело Багратиона и других приверженцев наступательной стратегии, Тормасов уповал не на реальную боеспособность войск, а главным образом на их высокое моральное состояние и с этих позиций всячески корил Барклая. Ведь Бородино показало, «что для русских войск превосходное число неприятельских сил ничего не значит... что же было бы, ежели бы «неприятель» с русским духом встречен был на границе и ежели бы на всяком пункте он нашел не отступление, а храброе супротивление». Всего важнее «иметь тот дух, коим отличалась всегда русская армия,

особливо же в том случае, где она защищала дражайшее отечество от злобного и ненавистного врага»[106].

Вряд ли можно сомневаться в том, что эти кипящие гневом полемические замечания на «Оправдание» Тормасов писал не в стол и не для потомков, а с целью доведения их тогда же, в 1813 г. до близкой ему генеральской и офицерской среды, а возможно, и до читающей публики вообще. Стало быть, уже сами по себе они являются перед нами наилучшим подтверждением живого бытования барклаевской записки.

Мы располагаем, кстати, и прямым свидетельством циркуляции в столичном обществе спустя три-четыре недели после появления первой редакции «Оправдания» какой-то критической по своему содержанию рукописи, связанной с именем Барклая. 25 февраля 1813 г. И.П. Оденталь писал из Петербурга А.Я. Булгакову в Москву: «Скажите мне, есть ли у вас рукописное рассуждение о прошедшей кампании и возражение на оное Барклая де Толли? Так как они пространны, то мне не хочется прежде вашего отзыва приняться за переписывание»[107].

Возможно, Оденталь в спешке текущих дел что-то напутал и исказил, имея, однако, в виду как раз те замечания Тормасова на записку Барклая, о которых у нас только что шла речь. Но не исключено, что здесь подразумевались некие иные, нам пока не известные, возражения самого Барклая. Как бы то ни было, дело определенно касается публичного распространения в начале 1813 г. в Петербурге полемического документа, касавшегося участия полководца в «прошедшей кампании».

К самым ранним спискам первой редакции «Оправдания» следует, кроме того, отнести не дошедший до нас, но обращавшийся в публике список ее первоначального варианта, по которому она впервые была напечатана в 1911—1912 гг. Колюбакиным[108].

Несколько более поздним временем датируются еще два ее списка: один — бывший у А.П. Ермолова (вторая половина 1810-х годов)[109], другой — сохранившийся в архиве А.Н. Лидерса, в 1860-х годах наместника в Царстве Польском (на бумаге с водяным знаком «1825»), принадлежал же он, очевидно, его отцу, генерал-майору Н.И. Лидерсу — участнику Отечественной войны, командиру пехотной дивизии в боях на Березине[110].

У нас есть некоторые данные в пользу того, что распространение списков этой редакции «Оправдания» вос-

ходило к окружению Барклая и едва ли не к нему самому.

Так, переданный им летом 1813 г. в Рейхенбахе Ахшарумову ее текст представлял собой, конечно, не авторский оригинал, а специально снятую копию, которая, в свою очередь, независимо от использования в «Историческом описании войны 1812 года» могла послужить источником размножения списков «Оправдания».

В этой же связи весьма существенно одно сообщение Аракчееву В.Р. Марченко, проделавшего с ним заграничные походы. Текст его сохранился в той самой зеленой сафьяновой книге из грузинского архива, в которой хранились секретные бумаги 1812 г., в виде более поздней писарской приписки к цитированному выше письму Барклая к неустановленному лицу от 9 апреля 1813 г., где он, как помним, сообщил о своем намерении «выдать в публику» «Оправдание». В приписке, сделанной уже после войны кем-то из служителей аракчеевской канцелярии, сказано следующее: «Василий Романович пишет: Благодарю всепокорнейше ваше сиятельство. Ето сочинение Койленского, и я слышал в Рейхенбахе, что он читает его по вечерам *неверным*, коих надеется обратить. Не веруящих же вовсе оставляют при заблуждении, опасаясь возражений, особливо со стороны Багратиона и Платова»[111].

Прежде чем разобраться в смысле этой смутной, малопонятной, казалось бы, записи, отметим, что имя Ивана Степановича Койленского впервые встречается в нашем повествовании. Между тем это был человек очень близкий к Барклаю и достаточно известный в русской армии начала XIX в.

Перед войной в чине полковника Койленский служил при Военном министре адъютантом Дежурного генерала, с начала кампании 1812 г. находился с Барклаем, отличившись в летних отступательных боях и в Бородине, сопровождал его при отъезде из Тарутина, после возвращения полководца в главную квартиру мы опять видим Койленского в его окружении — он участвует под его началом в крупнейших битвах 1813 г., в декабре производится в генерал-майоры и вместе с ним в марте 1814 г. вступает в поверженный Париж. После войны Койленский издает «Журнал военных движений русско-прусских армий» в кампаниях 1813—1814 гг., и кроме

того, его имя как литератора и стихотворца встречается на страницах русской печати того времени[112].

Сохранились, между прочим, письма Койленского к Аракчееву, с которым он был связан еще по службе в артиллерии в первые годы XIX в., а в 1812 г. был его постоянным корреспондентом в войсках. Именно через Койленского шла тогда переписка из Петербурга с рядом армейских генералов и офицеров из высокопоставленных семей. Благодаря его посредничеству Аракчеев сносится с братом, П.А. Аракчеевым, с Багратионом, Б.Я. Княжниным и другими своими приверженцами в армии. Через Койленского велась переписка и со знаменитым впоследствии декабристом П.И. Пестелем, с отцом которого, сибирским генерал-губернатором, Аракчеев поддерживал тесные отношения и всячески опекал его сына, пристально следя за его боевой службой. К молодому Пестелю — прапорщику лейб-гвардии Литовского полка, отважно сражавшемуся при Бородине, был далеко не безучастен и сам Койленский.

3 сентября 1812 г., по выходе армии из Москвы, он извещает Аракчеева: письмо старшего Пестеля сыну «отошлю при первом случае в Бронницу, куда он сего дня выехал раненый в ногу... Он сего дня ночевал у меня и я бы отправил его с канцеляриею в С.Пбург, но не смел приступить к тому без лекаря, коего в дороге не везде отыскать можно». По приезде с Барклаем в Калугу, куда был перевезен П.И. Пестель, Койленский навещает его, вникает в бытовые дела, заботится о лечении и 27 сентября он пишет Аракчееву, что П.И. Пестель «поручен самому лучшему по искусству и по сердцу врачу, который, вынув ему третьего дня пулю, уверяет, что теперь он уже без опасности лишиться ноги», и далее объясняет, что только «расстроенное состояние здоровья его» помешало выполнить просьбу родных об отправлении П.И. Пестеля в Петербург, но тут же успокаивает Аракчеева: «Здешний губернатор обещал мне... принять его в свое призрение»[113].

Итак, Аракчеев со своей уже тогда зловещей репутацией неожиданно является перед нами покровителем виднейшего в будущем идеолога и организатора тайных политических обществ и он же, будучи антиподом и ярым ненавистником Барклая, имеет в его ближайшем сподвижнике Койленском доверенное свое лицо в армии — поистине неисповедимы пути Господни! Как не подивиться тут причудливому переплетению исто-

рических судеб и обстоятельств в их лишь кажущейся из нашего далека предсказуемости.

Из этой переписки Койленского более всего останавливает наше внимание письмо о Бородине, отправленное через день после сражения и замечательное своей непосредственной, исполненной неостывших впечатлений оценкой его итогов. Сообщив о тяжелом ранении Багратиона, гибели А.И. Кутайсова и участи других пострадавших в бою русских генералов, Койленский заключает: «Все ето, сколь ни прискорбно для нас, но сражение сие покрыло бессмертною славою оружие наше. Нет ни полка, ни человека, который бы не дрался, как дерутся за свое. Везде, куда только не вступал неприятель, встречал он отпор, достойный его натиска, и мы в день сражения не уступили ему ни шагу»[114].

Вернемся, однако, к сообщению Марченко. Разумеется, как человек, не посвященный в подоплеку создания первой редакции «Оправдания», он ошибался, приписав ее авторство Койленскому,— его, наверное, ввело в заблуждение само чтение последним барклаевской записки.

Но здесь гораздо важнее другое — указание на то, что во время летнего перемирия 1813 г. в том же Рейхенбахе, где был тогда сосредоточен цвет командования русской армии и находился сам Барклай, рукопись этой его записки публично оглашалась в атмосфере оживленных споров. Койленский многократно знакомит с его текстом («читает... по вечерам») довольно широкую, видимо, но весьма разношерстную по своим военно-политическим симпатиям офицерскую среду с откровенно пропагандистской установкой на реабилитацию полководца и его отступательной стратегии. При том он пытается «обратить» в «барклаевскую веру» «неверных», т.е. колеблющихся, еще не преодолевших прошлогодних предубеждений к Барклаю офицеров, но наталкивается на сопротивление враждебно настроенных к нему сторонников покойного Багратиона и разделявшего его наступательные проекты М.И. Платова,— что это, как не отдаленный отголосок «генеральской оппозиции» 1812 г.?

Нам не известно, в какой мере сам Барклай был причастен к этим пропагандистским усилиям в его пользу Койленского, но что в других случаях он лично инспирировал хождение списков,— тут трудно усомниться. Косвенно свидетельствует об этом отмеченная выше идентичность текстов тормасовского списка

«Оправдания» с его авторской рукописью (вплоть до ее названия) — значит, именно она послужила источником рукописного тиражирования данной записки Барклая, что не могло произойти без его санкции.

Более того, еще в цитированном выше его письме к неустановленному лицу от 9 апреля 1813 г. после слов о намерении «выдать» первую редакцию «Оправдания» «в публику», от чего все же отказался, поскольку она «не заслуживает сего уважения», Барклай извещает адресата об отправлении ему текста этой записки: «вам же, принимающего всегда участие во всем том, что до меня касается, препровождаю сие мое объяснение, читайте, милостивый государь, и судите, но прошу, чтобы ето осталось только между нами»[115].

Как бы ни внимал адресат барклаевского письма просьбе держать «Оправдание» втуне, можно ли поручиться, что от полученного им текста не пошли новые списки?

Распространение в списках получила и третья редакция «Оправдания». Один из них, до сих пор не обнаруженный,— это тот, по которому она была опубликована в 1859 г. М.И. Богдановичем в «Военном журнале». Владельцем другого списка был участник Отечественной войны, потерявший ногу в Бородинском сражении, Аврамий Сергеевич Норов — писатель, путешественник, переводчик, коллекционер, товарищ министра народного просвещения, выступивший в 1868 г. с мемуарно-критическим разбором «Войны и мира» Л.Н. Толстого. Список из его архива — писарский, на бумаге с водяным знаком «1814» и с названием: «Заметки о войне 1812 года Барклая де Толли»[116].

Еще одним списком располагал В.А. Левшин — известный в свое время агроном-экономист, сподвижник А.Т. Болотова, член многих русских и иностранных научных обществ, подвизавшийся также на поприще драматургии, переводческой деятельности, религиозно-нравственной литературы. По этому списку, дошедшему до нас лишь в более поздней копии Н.К. Шильдера, третью редакцию «Оправдания» и собирался публиковать Ф.В. Булгарин в «Северном архиве». Список озаглавлен «Отрывки из собственноручных записок покойного фельдмаршала князя Барклая де Толли об Отечественной войне». Тут же дано подстрочное примечание издателя журнала, предназначавшееся для включения в пуб-

ликацию: «Статья сия доставлена издателю от ст. сов. Василия Алексеевича Левшина, известного в ученом свете своими трудами по экономической части. Приславший оную почтенный В.А. Левшин ручается за достоверность подлинника»[117].

По этим маргиналиям можно датировать левшинский список временем от кончины Барклая в мае 1818 г. (он назван здесь «покойным фельдмаршалом») до смерти на 80-м году жизни Левшина в июле 1826 г. Квалификация же Левшиным списка третьей редакции «Оправдания» как «собственноручных записок» Барклая и его ручательство за «достоверность подлинника» позволяют считать, что по своему происхождению он был близок к барклаевскому оригиналу, ныне не разысканному.

О тесной связи с ним как левшинского списка, так и бывшего в распоряжении М.И. Богдановича и, кроме того, норовского свидетельствуют и некоторые другие текстологические наблюдения. Все перечисленные списки, совпадающие в целом между собой, оказываются идентичными, даже в мелких деталях, с упомянутым ранее списком из коллекции Михайловского-Данилевского, датируемым 1810-ми годами[118]. Сам по себе этот список ввиду стремления историка держать оправдательные записки полководца «в тайне архива», конечно, не пускался им в обращение, но, как наиболее авторитетный из всех доселе обнаруженных, он, вероятнее всего, имел своим протографом авторскую рукопись Барклая. Если же это так, то должно признать, что именно от него исходил начальный импульс распространения третьей редакции «Оправдания».

Вместе с тем списки второй его редакции в наших архивах не встречаются. Кроме авторского текста в виде обильной правки Барклая на писарском списке первой редакции, преобразованном таким образом во вторую, и снятой с него в 1830-х годах копии для Михайловского-Данилевского[119], каких-либо иных рукописей второй редакции не выявлено, из чего напрашивается предположение, что хождения в публике она не получила. Если мы примем во внимание высказанные выше соображения об изначально инициативной роли Барклая в распространении его оправдательных записок, то это не покажется столь уже случайным.

В самом деле, текст второй редакции, переданный им в конце 1813 г. Н.И. Гречу, был почти полностью

трижды напечатан последним — в 1814 г. в «Сыне отечества» и отдельной брошюрой, а в 1816 г. в антологии публицистических материалов журналов по эпохе 1812 г., и понятно, что в таких условиях Барклай уже не был, видимо, заинтересован в рукописном размножении этой редакции,— оно никак не могло соперничать с масштабами ее печатного тиражирования. Но ни третья, ни первая редакции «Оправдания», впервые, кстати, увидевшие свет соответственно около 60 и 100 лет спустя, в послевоенную пору, при жизни полководца не имели, очевидно, шансов быть напечатанными полностью. А ведь каждая из этих редакций при общности концепции и основного состава фактических сведений сохраняла свое самостоятельное военно-публицистическое значение.

Сходными мотивами обусловлено, на наш взгляд, и отсутствие в архивах списков еще двух оправдательных записок Барклая — «Примечания» на рапорт Кутузова от 4 сентября 1812 г. и «Объяснения». Напомним, что их содержание не только популяризировалось в 1813 г. в брошюрах П.А. Чуйкевича и А.И. Барклая де Толли, но в значительной части, даже текстуально, было включено в «Оправдание», так сказать, поглощено им, и обращение в публике остававшихся у Барклая рукописей этих записок уже не представлялось для него сколько-нибудь существенным.

Что же касается оригиналов «Примечания» и «Объяснения», погребенных с осени 1812 г. в архиве Аракчеева, то до его смерти в 1834 г., да и позднее они хранились под такой плотной завесой, что саму мысль о снятии с них каких-то копий надо решительно отбросить.

Зато совершенно исключительный размах приняло рукописное распространение «Изображения военных действий 1-й армии в 1812 году» — самой «закрытой» из оправдательных записок Барклая.

Историки уже не раз имели возможность убедиться, что именно самые опасные политические сочинения, подвергавшиеся жестоким преследованиям властей и цензурным гонениям, наперекор всему и вся какими-то неведомыми путями проникали к заинтересованному читателю и получали наибольшую известность в обществе. В этом есть, несомненно, некая закономерность потаенного бытования рукописной словесности. И «Изображение» Барклая — яркое тому подтверждение.

Только в центральных архивах Москвы и Санкт-Петербурга выявлено около 50 его русских списков (французские списки вообще не встречаются), и все они, по водяным знакам бумаги и другим палеографическим признакам, датируются в пределах дореформенной эпохи[120]. Чтобы оценить по достоинству значение этой величины, отметим, например, что к 1960-м годам в столичных и провинциальных архивохранилищах было выявлено 65 списков радищевского «Путешествия» — результат целенаправленных разысканий в течение целого столетия нескольких поколений исследователей[121], тогда как изучение в этом плане барклаевской записки находится ныне у самых своих истоков.

По количеству списков (а ведь это, как принято говорить, лишь «верхняя часть айсберга») «Изображение» вообще имеет мало прецедентов в рукописном распространении запретной политической прозы относительно не только эпохи 1812 г., но и всей первой половины XIX в.

Интересно их хронологическое распределение. На 1810-е годы приходится примерно 15 списков, на 1820—1830-е — 25 списков и остальные 10 — на 1840—1850-е годы. Следовательно, подавляющая часть списков (80 %) укладывается в рамки первых 25—30 лет после Отечественной войны — это время наиболее интенсивного их обращения в публике.

Среди владельцев списков преобладают военные и дворянские «верхи». Если оставить в стороне Аракчеева и Михайловского-Данилевского, чьи списки, по указанным выше причинам, не пускались в оборот, то прежде всего выделяется группа генералов и офицеров, ветеранов кампаний 1812—1814 гг.: А.П. Ермолов, Д.В. Давыдов, Д.Н. Бологовский, Н.И. Лидерс, Д.П. Бутурлин — он же и историк Отечественной войны, А.Д. Чертков — тоже историк, нумизмат, археолог, председатель МОИДР, Аврамий Норов, М.А. Фонвизин (или брат его И.А. Фонвизин) и Ф.Н. Глинка — будущие декабристы.

В числе владельцев списков колоритные фигуры выходцев из «екатерининского века» — престарелого аристократа-«вольтерьянца», поэта, публициста графа С.П. Румянцева и писателя, чиновника Коллегии иностранных дел, члена Российской Академии Р.М. Цебрикова, отца прикосновенных к восстанию 14 декабря 1825 г. Александра и Николая Цебриковых. «Держателями» одного из списков были влиятельный сановник

николаевского царствования, министр народного просвещения С.С. Уваров и его сын, археолог А.С. Уваров.

Заметное место занимают представители столичной литературно-журнальной интеллигенции и близкого к ним круга: А.Ф. Воейков, А.И. Тургенев, А.П. Елагина, К.С. Сербинович, П.В. Долгоруков — фрондер и обличитель самодержавно-династических нравов. Владельцами многих списков были историки, библиографы, собиратели памятников русской старины, например М.П. Погодин, С.Д. Полторацкий, М.А. Оболенский, И.Е. Забелин.

Некоторые из перечисленных лиц обладали несколькими списками. Так, А.П. Ермолов владел пятью списками за 1810—1830-е годы, Д.В. Давыдов — двумя (середины 1810-х и 1820—1830-х годов). Два списка было и у С.Д. Полторацкого на бумаге с водяными знаками «1830» и «1832».

Надо сразу же сказать, что все списки «Изображения» в основе своей совпадают и восходят к одному русскому переводу, соответствующему тексту белового французского подлинника,— именно к нему, а не к черновику, который как предшествующий, неотредактированный до конца вариант имеет отличные от подлинника чтения, в том числе и ряд пробелов сравнительно с ним. (Несколько особняком стоит список Аракчеева на бумаге с водяным знаком «1815» — русский перевод с французского подлинника, специально заказанный им, как уже отмечалось, для своего пользования и имеющий ряд индивидуальных чтений редакционного порядка[122].)

При более внимательном ознакомлении со списками бросается в глаза масса разночтений в манере написания отдельных слов, личных имен, воинских званий, в расположении заголовков разделов, немало и пропусков, описок, просто неразобранных мест, стилистических поновлений и т.д. Все это — плод многолетней и разветвленной традиции рукописного размножения барклаевской записки, труда десятков, если не сотен переписчиков, всякий раз оставлявших следы своего индивидуального понимания ее текста.

Но встречаются и более существенные, смысловые разночтения, вызванные политической конъюнктурой. Так, в некоторых списках предельно резкая оценка Барклаем Ермолова: «начальник моего штаба А.П. Ермолов, человек с достоинствами, но лживый и интригант» заменена несколько смягченной редакцией: «...Ермолов, че-

ловек с достоинствами, но **чрезвычайно обманчивый и пронырливый»**[123]. Замена эта особенно характерна для ранних списков, появившихся в ту пору, когда Ермолов находился в зените своей славы и не был еще смещен с поста главнокомандующего на Кавказе, но и в дальнейшем, при жизни опального генерала, оглашение инвективы Барклая в его адрес представлялось не всегда уместным.

Показательно в этом отношении, что О.М. Бодянский, публикуя «Изображение» в 1858 г. в «Чтениях МОИДР» по такому именно списку, не решился воспроизвести даже эту смягченную редакцию, поставив вместо подчеркнутых выше слов отточия и опустив самое имя и должность Ермолова[124],— во второй половине 1850-х годов, после смерти Николая I, «патриарх» 1812 г. переживал новый взлет своей популярности.

Не будем, однако, углубляться далее во всесторонний анализ списков — это особая текстологическая проблема, заслуживающая специального рассмотрения. В плане нашего повествования достаточно еще раз подчеркнуть их множественный характер, что, кстати, было отмечено еще в начале 1830-х годов не кем иным, как Ф.В. Булгариным.

В «нравоописательно-историческом» романе из эпохи 1812 г. «Петр Иванович Выжигин», где была нарисована широкая картина общественных толков вокруг отступления русской армии, Булгарин коснулся и оскорбительных обвинений Барклая «в измене»: «Сам князь Барклай де Толли говорит об этом в своих записках, находящихся в рукописи, **но многим известных»**[125]. (К слову сказать, это было первое публичное упоминание «Изображения» в русской печати.)

О том, что оно было «многим известно» в рукописном виде и что количество списков, расходившихся в публике, намного превосходило то, чем мы сейчас располагаем, можно судить и по указанию в источниках на существование в свое время списков, которые впоследствии были утрачены или пока не разысканы.

Например, с таким списком был знаком служивший в 1816—1817 гг. в штабе 1-й армии в Могилеве Е.Ф. фон дер Брадке. Похвально отзываясь в своих записках о Барклае, который «неопровержимо доказал на деле высокий патриотизм своей души, напоминавшей древний Рим в его лучшую эпоху», Брадке затем пояснил: «Я ссылаюсь

в этом случае на его донесение государю о двенадцатом годе»[126].

В записках поэта, драматического писателя, известного мемуариста и общественного деятеля Н.В. Сушкова мы находим указание на еще один утраченный список «Изображения». На склоне лет Н.В. Сушков вспоминал: обнаруживая как-то «связи старинных и давних бумаг в моем семейном, литературном и служебном архиве», натолкнулся на бумаги старшего брата, П.В. Сушкова, директора Оренбургской таможни, отца поэтессы Е.П. Ростопчиной. Он «страстно любил русскую словесность, особенно поэзию и театр,— продолжает рассказ Н.В. Сушков.— Все что только появлялось нового, непечатного и запрещенного, он добывал, списывал и складывал в свой знатный архив», и среди его раритетов называет далее «Изображение военных действий первой армии в 1812 г. (донесение императору Александру I главнокомандовавшего ею и в то же время военного министра Барклая де Толли)»[127].

Выше упоминалось о списке «Изображения», которым располагал А.И. Мартос, поместивший его текст в своих записках с прочувствованным пояснением:«Сочинение сие по своему совершенству заслуживает такого же уважения, как и сам автор его по своему почтенному характеру и военным добродетелям. Оно писано для государя и случайно досталось мне в руки; но Боже сохрани, чтобы я до такой степени был порочен или самолюбив, дабы осмелился возмечтать, дабы в даре повествовательном могу сравниться с сим великим человеком... Я только имею в предмете сохранить для своих друзей кампанию знаменитейшего военачальника, самим им писанную»[128].

Однако «Изображение» не просто расходилось широко в списках, но, подобно «Оправданию», активно функционировало в определенных кругах общества как историко-публицистический документ и даже влияло в какой-то мере на историческую литературу об Отечественной войне.

В 1819 г. Михайловский-Данилевский напечатал в «Русском вестнике» мемуарно-исторический очерк «О сдаче Москвы», основанный на собственных впечатлениях, воспоминаниях М.А. Милорадовича и других участников событий[129]. Включил он сюда и две скрытые цитаты из «Изображения»: в характеристику позиции

русской армии 1 сентября 1812 г. перед Москвой в преддверии ожидавшегося здесь сражения и в рассказ о совете в Филях — в передаче высказывания Кутузова о том, что лишь сохранение армии может обеспечить благоприятный исход войны, в противном же случае «не только Москва, но и вся Россия была бы потеряна»[130]. Таким образом, эти знаменитые слова полководца, впервые закрепленные еще в конце 1812 г. в барклаевской записке,— впоследствии они обошли всю историографию Отечественной войны — были введены в оборот в 1819 г. Михайловским-Данилевским. Но при этом он не оговорил своего источника, хотя заимствовал обе цитаты из раннего списка «Изображения» — один из бывших у него списков имел водяные знаки бумаги «1816» и «1817»[131].

В 1834 г. были анонимно опубликованы двухтомные записки о походах 1812—1813 гг. заточенного в Бобруйскую крепость В.С. Норова — бывшего члена Союза благоденствия и Южного общества декабристов. Свое участие в войне он начал с Тарутинского сражения, прибыв накануне в армию по окончании Пажеского корпуса, а завершил Кульмским сражением 1813 г., где получил тяжелое ранение и был отправлен на лечение в Петербург. Этот период военных действий В.С. Норов осветил преимущественно по собственным воспоминаниям. Но им был предпослан и исторический очерк кампании 1812 г.— от начала ее до Тарутина, и здесь уже В.С. Норов опирался на документальные материалы, в том числе и на «Изображение», которое не раз называет «рукописными записками Г. Барклая де Толли» (тем самым вторично — после Ф.В. Булгарина — упомянув открыто в печати о существовании барклаевской записки).

В.С. Норов, несомненно располагавший своим списком «Изображения», довольно часто использует его текст, например, в описании отступательных маневров 1-й армии, нерешительных действий Барклая под Рудней («читая записки Барклая, можно догадываться...»), Бородинского сражения («Барклай говорит в своих записках...») и т.д. В первой, более пространной редакции своего труда В.С. Норов воспроизвел даже горькое признание Барклая в «Изображении» о происках враждебной ему «партии» в главной квартире, о распускавшихся против него клеветнических слухах, но это чрезмерно откровенное свидетельство, как, впрочем, и

первая редакция норовских записок в целом, не было пропущено цензурой к печати по соображениям политического свойства[132].

Следы живой реакции читателей на «Изображение», его актуального включения в военно-историческую мысль сохранили в себе и некоторые потаенно расходившиеся списки, как, скажем, список 1830—1840-х годов из архива Бутеневых-Хрептовичей — потомков дипломатического чиновника штаба 2-й армии в 1812 г., позднее русского посла в Турции А.П. Бутенева. Мы находим в нем ряд сопровождающих «Изображение» текстов с непременной пометой «Замечание переписчика», в одних случаях полемизирующих с Барклаем, в других — дополняющих и уточняющих те или иные его высказывания[133].

Но наиболее заметный из этого рода «полемических» списков (на бумаге с водяным знаком «1815») принадлежал Д.В. Давыдову. Он весь испещрен на полях его собственноручными возражениями саркастического, уничижительного свойства (а иногда и просто мелочными придирками) в адрес отступательной стратегии Барклая, самой его личности и его стремления задним числом оправдать образ своих действий летом 1812 г. В них определенно отразилось устойчивое у поэта-партизана и в послевоенные годы неприятие всего того, что было связано с именем полководца.

По поводу указания Барклая на невозможность перейти в наступление под Витебском из-за очевидной опасности быть окруженным французами Давыдов, например, разражается гневной филиппикой: «Надо быть совершенным неучем, чтобы видеть гибель во внутреннем положении своей армии, которой всякой великой генерал старается занять, как Суворов на Требице...» Там, где Барклай напоминает, что, располагая как Военный министр правом объявлять повеление императора, он никогда им не злоупотреблял, Давыдов не без злой иронии бросает реплику: «О чем же охать. Вот что значит слабость характера». А слова Барклая в описании положения русских войск на Поклонной горе и в ее окрестностях: «Позади сей позиции находился обширный город Москва и река его имени» (кстати, не очень ловкая фраза — результат не более чем неудачного перевода) — вызывают у Давыдова убийственно-односложное восклицание: «Немец!»[134].

И хотя к 30-м годам его отношение к Барклаю претерпело известное изменение и он уже готов был признать, что деятельность полководца, исполненная «самых горьких, незаслуженных испытаний», «была посвящена благу России», до последних лет жизни Давыдов так и не мог преодолеть давней своей неприязни к этой барклаевской записке, и в немалой мере из-за ее резких выпадов против боготворимого им Ермолова. Незадолго до смерти Давыдов включил критическую оценку «Изображения» в свой мемуарно-исторический труд «Материалы для истории современных войн», который готовил тогда к печати: «К сожалению, „Изображения военных действий 1-й армии в 1812 году", написанные Барклаем... с явным намерением оправдать свое поведение в эту бедственную для России эпоху, недостойны сего славного мужа. Многие события неверно описаны и даже искажены, многим замечательным личностям приписаны недостойные и несвойственные им дела; одним словом, имея в виду выставить в них лишь свои собственные заслуги, высокое значение которых никто не дерзнет оспаривать, он слишком пристрастно и несправедливо судит о действиях и заслугах других лиц»[135].

Нам остается выяснить последнее: каким же образом «Изображение», поступившее к Александру I в начале второй декады ноября 1812 г., тут же переданное Аракчееву (помета об этом его рукой на подлиннике препроводительного письма Барклая от 9 ноября 1812 г. датирована 17 ноября[136]) и с тех пор до его кончины в 1834 г. в строжайшей тайне хранившееся в грузинском архиве,— каким же все-таки образом оно могло еще в первые послевоенные годы получить столь широкое распространение в списках?

Чтобы ответить по мере наших сил на этот загадочный вопрос, обратимся снова к Н.А. Старынкевичу, имя которого уже не раз возникало по ходу нашего рассказа. Напомним, что в 1812 г. до Бородина он служил директором канцелярии штаба Багратиона, после чего состоял при Кутузове, в мае 1813 г., когда Барклай был назначен главнокомандующим русско-прусскими войсками, он привлек Старынкевича в свой штаб и лично приблизил его к себе. Во время перемирия мы видим Старынкевича в офицерском кружке военных историков с их отчетливо выраженными симпатиями в пользу Барклая. После вой-

ны он примыкает к передовому общественному движению в России и европейских странах.

В начале 1826 г. Старынкевич — друг и близкий знакомец Н.И. Тургенева, М.Ф. Орлова, В.К. Кюхельбекера, С.П. Трубецкого, А.Н. Раевского — был арестован по подозрению в связях с тайными декабристскими организациями и представил следствию несколько пространных записок с ценнейшими сведениями о своей службе.

В них он рассказывал, в частности, о том, как, выполняя предсмертное желание Багратиона защитить перед царем свои действия летом 1812 г., составил по его замыслу и плану «отчет» о боевых операциях 2-й армии «с начатия войны» до назначения Кутузова. Однако по приезде в декабре 1812 г. в Вильну Александр I, издавна не питавший к Багратиону добрых чувств и посмертно, так сказать, задним числом вменявший ему неподчинение своим предписаниям насчет отхода 2-й армии от границы, отверг этот «отчет». Взамен его он поручил бывшему начальнику ее штаба генералу Э.Ф. Сен-При, враждовавшему с Багратионом и исподволь, через его голову доносившему о нем царю, подготовить «подробное историческое объяснение всех действий главнокомандовавшего 2-й армиею».

И тут Старынкевич сообщает нечто такое, что не может не приковать наше внимание: оказывается, что Александр I дал при этом «графу Сен-При копию с отчета Барклая по 1-й армии», т.е. копию «Изображения»[137], ибо никакого другого «отчета по 1-й армии» Барклай царю не представлял и именно так называлось оно часто в официальной правительственной документации. Например, в описи документов, содержащихся в зеленой сафьяновой книге из аракчеевского архива, об «Изображении» Барклая сказано как о «кратком отчете к обозрению военных операций вверенной ему армии»[138]. (Ясно, что текст, врученный французскому эмигранту Сен-При, говорившему и писавшему в России на своем родном языке, представлял собой копию с французского оригинала, а не перевод, которым, по плохому знанию русского языка, он не мог бы воспользоваться.)

Нетрудно понять, что копия «Изображения» с его достаточно прозрачным недоброжелательством в адрес Багратиона и способа его действий в период отступления

была передана Сен-При не просто для общей ориентации в военной обстановке лета 1812 г., а с определенным умыслом — ведь это вполне укладывалось в рамки стремления Александра I получить «историческое объяснение» с критическим, а то и вовсе осуждающим Багратиона уклоном.

Подтверждением тому служит и то, что, по свидетельству Старынкевича, вместе с «Изображением» Александр I передал Сен-При для использования в «историческом объяснении» свой «рескрипт» «адмиралу Чичагову, в коем с негодованием замечены были отступления князя Багратиона от предначертанного в начале войны плана»[139]. Речь шла, вне всякого сомнения, о порицавшем Багратиона письме царя к П.В. Чичагову от 5 сентября 1812 г., где он не скупился на подробное перечисление истинных и мнимых ошибок главнокомандующего 2-й армией, как раз в те дни умиравшего в мучениях из-за тяжкого бородинского ранения в селе Симы Владимирской губернии[140].

Перед нами ситуация более чем парадоксальная: кто бы мог ожидать, что конфиденциальнейшую записку Барклая, предназначенную им исключительно для царского чтения, сам же Александр I выведет из-под режима «секретности» и в угоду своей застарелой неприязни к Багратиону даст ей ход — в расчете, конечно, на достаточно замкнутую военно-ведомственную сферу. Но так или иначе, текст «Изображения», хотя бы в одном экземпляре, был размножен, как бы оторвался от места своего сокровенного хранения, и его дальнейшая судьба вышла уже из-под всякого контроля. Можно даже довольно точно определить время изготовления этой копии с французского подлинника «Изображения» — либо до 17 ноября, когда он был передан на хранение Аракчееву, либо уже после того, но никак не позднее отъезда царя в декабре 1812 г. в армию.

Далее события приняли действительно неконтролируемый оборот. Из показаний Старынкевича мы узнаем, что Сен-При, отвлеченный в Вильне другими обязанностями, а после перехода русскими войсками границы получивший назначение в действующую армию, от подготовки «исторического объяснения» устранился,— он «поручил мне заниматься оным делом» и «велел мне все бывшие у него бумаги оставить у себя до удобнейшего времени»[141].

Можно поэтому полагать, что и французская копия «Изображения» со всеми нужными для «исторического объяснения» материалами с конца 1812 г. оказалась в полном распоряжении Старынкевича, и им самим (или кем-то из его окружения) был сделан с нее русский перевод. Сразу же в этой связи возникает в сознании имя Д.И. Ахшарумова, так же как и Старынкевич, привлеченного тогда командованием к военно-историческим работам, написавшего книгу в защиту Барклая и осведомленного о других его оправдательных записках. Вот отсюда-то, из этой расположенной к Барклаю среды, и пошли, на наш взгляд, первые списки «Изображения».

В числе тех, кто был тогда прикосновенен к их распространению, мы видим еще одно близкое к Барклаю лицо.

В 1870-х годах престарелый И.П. Липранди — один из самых сведущих знатоков эпохи 1812 г., ее истории, мемуарист, собиратель всех возможных печатных и рукописных материалов о ней, многое знавший и по личным впечатлениям как крупный штабной офицер,— помогал А.Н. Попову в разыскании источников для его исторического труда об Отечественной войне. 4 мая 1876 г., пересылая ему очередную партию книг и рукописей, Липранди писал: «Барклая записка известна вашему превосходительству, но я посылаю эту **как списанную в начале 1813 года**, адъютантом Барклая Каверине, а потому, может быть, имеет кое-какую разницу»[142].

То, что под «запиской Барклая» подразумевалось «Изображение», не требует в свете сказанного особых пояснений.

«Каверине» — это, без сомнения, неточно переданная Липранди из-за давности лет фамилия Е.В. Кавера, верного сотрудника Барклая и одного из его адъютантов,— ему он и поручил осенью 1812 г., как мы помним, доставление в Петербург «Примечания» и письма к Александру I.

Далее. Липранди располагал списком, который он считал высокоавторитетным, восходящим к какому-то очень надежному источнику (раз переслал его А.Н. Попову для сличения с имевшимся у него списком), гарантом же этого было и время изготовления списка, близкое к моменту создания «Изображения», и само имя переписчика, столь тесно связанного с его автором.

Именно потому трудно допустить, что «списывание» Е.В. Кавером текста «Изображения», да еще, очевидно, в штабе Барклая, при котором он тогда находился, укрылось бы от него и не было бы им одобрено.

Что же могло послужить первоисточником «каверовского» списка?

Думать, что это была копия, снятая Барклаем с французского подлинника в начале ноября 1812 г. перед его отправлением из Новгорода в Петербург (и затем переведенная на русский язык), вряд ли возможно, поскольку Барклай менее всего стремился к тому, чтобы записка, с которой он связывал столько надежд на личное оправдание перед царем, получила бы в тот момент с его стороны хоть какую-то огласку.

По тем же основаниям следует отвести предположение о том, что в основе «каверовского» списка лежала копия с остававшегося у Барклая французского черновика. Остается предположить, что он восходил (быть может, через ряд опосредствующих звеньев) к самому раннему списку, пущенному в оборот окружением Старынкевича.

Что же до самого Барклая, то по прошествии нескольких месяцев, в 1813 г., когда он убедился в нежелании Александра I предавать гласности оправдательные записки, его позиция относительно предназначения «Изображения» должна была измениться. Теперь и этот, прежде сугубо доверительный документ, раз он уже независимо от Барклая был пущен в оборот, мог тоже послужить средством реабилитации полководца перед общественным мнением,— правда, средством, ограниченным ареалом распространения списков. Во всяком случае в такой ситуации заинтересованность Барклая в их распространении представляется вполне вероятной. Тем более что его уже не косвенная, а самая непосредственная причастность к распространению списков «Изображения» в несколько более позднее время подтверждается документально.

Примерно в марте 1818 г. А.А. Закревский — в ту пору Дежурный генерал Главного штаба — известил А.П. Ермолова о хождении в Петербурге этой барклаевской записки, пообещав прислать ее с условием, что он воздержится от гласных или личных возражений. Письмо Закревского до нас не дошло, но сохранился ответ Ермолова от 17 апреля 1818 г.: «Ты уведомляешь меня

об описании военных 1812 года действий, составленном фельдмаршалом Барклаем, и не прежде соглашаешься доставить оное ко мне, как взяв прежде от меня слово, что я не пущусь в дружескую с ним переписку. Если сочинение сие не печатное и не выпущенное в публику, а только им самим раздаваемое некоторым особам по доверенности, то я и не смею тебя выдавать нескромностию моею», но если записка Барклая появится в печати, то тогда он, Ермолов, сочтет себя вправе «возражать как Бог на душу положит мне... Итак присылай сие достопамятное творение, а мы станем любоваться»[143].

Фраза о раздаче Барклаем списков «Изображения» «доверенным особам» — не догадка, внезапно осенившая Ермолова, а, думается нам, реальный факт, сообщенный самим Закревским в том же не дошедшем до нас письме,— и он был одним из тех «доверенных» лиц, которые получили списки «Изображения» от Барклая. Иначе Ермолову незачем было бы уверять Закревского в своем намерении «не выдавать» его своей «нескромностию», т.е. не выступать каким-либо образом с полемическим ответом на записку Барклая. Ясно, что в том же письме Ермолов был предупрежден, что в противном случае, зная об их дружеских отношениях, тот сразу же поймет, благодаря чьей «нескромности» она оказалась у бывшего начальника его штаба.

Список «Изображения» Ермолов получил уже после кончины полководца. 9 июня 1818 г., отзываясь на нее: «Грусть мучительная беспрестанно приводит на память Барклая», он писал Закревскому о «замечаниях его на кампанию 1812 года, которые ты мне с такими ужасными условиями доставил. Не знаю, с каким намерением он их писал. Ошибки не преступления, и в них не было нужды оправдываться, а что с честию и усердием служил он, то и самые неприятели его не сомневаются». Но и в этом проникнутом печалью отклике, задетый резким отзывом Барклая, он не удержался от изъявления чувств досады и старинного недоброжелательства — даже смерть полководца не могла примирить с ним Ермолова: «Мне напрасно дал наименование интриганта, ибо я весьма явным образом признавался, что я в нем ничего не видел, кроме человека весьма обыкновенного и даже посредственного. Как приметна злоба его на меня за приверженность мою к великому князю и за то, что я привязан был к покой-

ному князю Багратиону. Мещанская холодная немецкая душа, незнакомая с чувствами благодарности»[144].

Стало быть, Барклай и перед смертью был озабочен преданием «Изображения» гласности, а его адъютант и сподвижник по 1812 г. Закревский, сам некогда доставивший этот документ Александру I, способствует теперь распространению его списков.

По всему сказанному нас не должно вводить в заблуждение мнение Н.И. Казакова о том, что лишь «после смерти М.Б. Барклая де Толли (в мае 1818 года)... „Изображение" становится достоянием общества»,— это как бы отклоняло саму мысль о личном участии полководца в его распространении. Исходя из этого, Казаков полагает, что «первому», кому вообще «удалось снять копию» записки, был Закревский и что «не только Ермолов, но и некоторые другие участники Отечественной войны и, в частности Денис Давыдов, смогли ознакомиться» с ней «после 1818 года»[145].

Возможно, что Ермолов впервые узнал об «Изображении» в 1818 г. Все же остальное опровергается вышеизложенным: Давыдов располагал списком (с водяными знаками бумаги «1815») еще за два-три года до того, «некоторые участники» кампании могли ознакомиться с «Изображением» еще в первые послевоенные годы, ибо его списки стали расходиться, как мы видели, не позднее 1813 г., причем не менее восьми списков активно обращалось еще при жизни Барклая[146].

Возвращаясь в 30-е. Вместо эпилога

В завершение нашего повествования остается бросить общий взгляд на положение Барклая в драматических обстоятельствах эпохи.

Первейшую свою задачу мы видели в том, чтобы, сняв налет вымышленных, нередко совершенно фантастических домыслов вокруг его имени, восстановить по первоисточникам реальный облик Барклая в военно-политической ситуации 1812 г. При этом, как мог заметить читатель, мы следовали определенному методическому принципу: опираясь по возможности на всю совокупность сохранившихся по нашей теме источников, как опубликованных, так и добытых в результате архивных разысканий, в событийно-фактических построениях отдавать предпочтение синхронному слою информации, запечатленному в современной переписке, дневниках, памятных заметках и т.д., корректируя ими свидетельства ретроспективные, прежде всего мемуарные,— очищенные от позднейших искажений, они существенно дополняли первоначально нарисованную картину. Причем не менее значимыми, нежели прямые свидетельства источников, оказывались иногда их случайные, мимоходом брошенные проговорки, и даже сами умолчания тех или иных событий несли в себе ценную историческую информацию.

В противовес пущенным в оборот еще недругами Барклая суждениям о том, будто отступление русских войск летом 1812 г. совершалось без всякого расчета, стихийно, на ощупь, вызываясь лишь «обстоятельствами минуты», мы старались показать, что в его основе лежал выношенный им еще за несколько лет до того «скифский» замысел заманивания неприятеля в глубь России ради достижения решающего перевеса над его силами,— в этом и состоял принципиальный смысл всей отступательной стратегической линии Барклая. Замысел этот разделялся наиболее

дальновидной и образованной частью русского офицерства и был одобрен в качестве военно-оперативного плана Александром I, который поддерживал в этом Барклая вплоть до смоленских событий конца июля — начала августа 1812 г., сыгравших в его судьбе вообще роковую роль.

Мы видели, что проведение этой стратегической линии затруднялось не только ее непопулярностью в общественном мнении, но и двусмысленностью официального статуса Барклая, о чем не было должной ясности не только в историографии, но и у самих современников. Александр I, в угоду своим честолюбивым притязаниям возглавлять в войне с Наполеоном все русские армии, при отъезде в начале июля 1812 г. из Полоцка не назначил Барклая на пост единого главнокомандующего. В глазах же войск и общества он представал первенствующим лицом в руководстве вооруженными силами страны, хотя, не имея на то официальных полномочий, был предельно скован в своих полководческих усилиях.

Вопреки ошибочному и до сих пор еще бытующему мнению об утрате Барклаем авторитета чуть ли не с первых дней войны, о том, что в армии и в России осуждающие его толки получили всеобщее распространение до конца кампании, мы старались воссоздать реальную динамику антибарклаевских умонастроений с их колебаниями, подъемами и спадами. Выяснилось, в частности, что в первые полтора месяца войны репутация Барклая еще не пошатнулась, а искусно руководимое им, невзирая на все трудности, отступление встречало в армии понимание. Перелом в отношении к Барклаю ее рядовых слоев и гражданского населения наступил лишь в результате оставления Смоленска, возбудившего повсюду взрыв патриотического негодования, но и тогда порицание Барклая не было абсолютно повсеместным — и в ту пору находились отдельные сторонники полководца, выступавшие в его защиту в противовес преобладающему мнению. Кульминация нападок на Барклая длилась в армии, как можно считать ныне доказанным, относительно недолго — до его отъезда в 20-х числах сентября из главной квартиры, т.е. в течение пяти-шести недель. Затем, особенно после тарутинского перелома в ходе кампании, в военной среде намечается тенденция к

признанию целесообразности полководческих действий Барклая летом 1812 г.

Выясняется также, что первичным очагом антибарклаевских настроений явились столичные придворно-аристократические круги и генеральская оппозиция в самой армии, еще с июля 1812 г. сеявшие недоверие к полководцу, слухи о его измене, трусости, отсутствии патриотизма и т.д. Именно таков был механизм распространения подобного рода слухов о Барклае,— как правило, они возникали сначала в высших военно-общественных слоях и уже затем проникали в офицерско-солдатские «низы» и в простонародье. «Ужасные гонения» на него, нашедшие массовый отзвук лишь после оставления Смоленска, инспирировались не только крайностями национально-патриотических чувств, общим неприятием отступательной стратегии и уж вовсе не толками о «немецком» происхождении Барклая — воплощении некоего чужеродного, инонационального начала, как то принято было считать в исторической литературе. Они имели еще и скрытую, но вполне очевидную социальную подоплеку: страх военно-дворянской верхушки и более широких помещичьих слоев перед тем, как бы проводимое Барклаем отступление, увлекавшее наполеоновскую армию в крепостнический центр государства, не привело к антифеодальным и антиправительственным волнениям. Именно этой консервативно-охранительной подосновой критики в адрес Барклая во многом объясняется прежде не обращавшее на себя внимания историков сопряжение в дворянском сознании и народной молве 1812 г. его имени с фигурой удаленного накануне войны в опалу и также обвиненного в измене реформатора М.М. Сперанского.

Один из наиболее распространенных доселе мифов о Барклае связан с истолкованием причин устранения его в 1812 г. с высших военных постов,— в силу естественного хода вещей оно было предопределено назначением М.И. Кутузова единым главнокомандующим русскими армиями. И пристрастно заинтересованные современники, и позднейшие историки в полном единодушии утверждали, что Александр I вынужден был пойти на это лишь после оставления Смоленска под давлением «ропота» против Барклая армии, столичного дворянства и народа. Между тем, как мог убедиться читатель, вопрос о назначении единого главнокомандующего был предрешен

еще 5 августа 1812 г. постановлением специально для того учрежденного в Петербурге царем Чрезвычайного комитета, тогда как Смоленск был оставлен позже — в ночь с 6 на 7 августа, всеобщий же «ропот» против Барклая выявился и того позднее: в армии только к концу первой декады августа, а в столицах и провинции — не ранее 10-х чисел месяца. Стало быть, общественное мнение, действительно сильно проявившее себя в разных формах в 1812 г., никакого воздействия на данное решение Александра I оказать, понятно, не могло.

Подлинные причины устранения Барклая лежали в иной плоскости — в отношении к нему не народа и общества, а высшего командования и верховной власти. Непосредственно же побудили к тому два обстоятельства.

Во-первых, происки враждебной Барклаю «партии» в главной квартире. Сплотившиеся вокруг Багратиона генералы — рьяные сторонники наступательных действий — уверовали в легкую победу над Наполеоном, опираясь на воинственно-патриотические устремления дворянства и значительной части армии. Это были те самые «влиятельные лица штабов», которые вели против Барклая и пропаганду в войсках. Имея своим оплотом в 1-й армии А.П. Ермолова и великого князя Константина Павловича, они после соединения ее под Смоленском со 2-й армией составили своего рода заговор с целью смещения любыми способами полководца с его постов и с конца июля упорно домогались перед Александром I замены его Багратионом или обеспечения единоначалия каким-либо иным путем.

Во-вторых, острое недовольство самого царя образом действий Барклая, отказавшегося, вопреки его предписаниям в последних числах июля, переходить под Смоленском к наступательным операциям, что и склонило окончательно Александра I на столь ответственный шаг.

Многие в 1812 г. и позднее считали, что Барклай, обладавший верховной властью над войсками, был «замещен», «сменен» Кутузовым. Однако, как следует из сказанного выше, ни официально, ни фактически он такой властью не располагал, Кутузов же был назначен на не занятый прежде пост единого главнокомандующего. Но после его приезда в армию отношения между двумя военачальниками действительно стали осложняться. Барклай постепенно был оттеснен от управления вверенной ему по-прежнему 1-й армией и почувствовал себя

лишним в главной квартире. Некоторые современные критики Барклая выдвинули на этом основании вымышленную версию о том, что якобы он возглавил после оставления Москвы враждебную Кутузову генеральскую группировку и за интриги был выслан им из армии. На самом деле Барклай вел себя по отношению к Кутузову вполне лояльно и готов был к сотрудничеству, покинул же он главную квартиру по собственной инициативе.

Мы старались рассеять обманчивое впечатление современников и позднейших историков о том, что после того Барклай на несколько месяцев сошел с исторической арены, как бы растворившись в частной жизни. Впервые по материалам секретных в XIX в. государственных архивов, на основе текстологического анализа рукописного наследия Барклая раскрывается доселе почти неизвестный пласт его биографии и военно-политической истории эпохи в целом — энергичная и целеустремленная борьба полководца за свою реабилитацию перед общественным мнением страны. Барклай с его высокоразвитыми понятиями о личном достоинстве и воинской чести не мог смириться с нагнетавшимися вокруг него клеветническими и оскорбительными слухами.

Изначальным к тому стимулом послужили его глубокие переживания в связи с «дурными толками» в армии после оставления Смоленска и в первую очередь обвинениями в измене. Уже тогда у Барклая созрело намерение выступить с открытой отповедью своим хулителям, что и явилось, видимо, одной из причин его решения покинуть армию и выйти в отставку. Еще более укрепился он в этом намерении под впечатлением вспышки народного недовольства, с которым воочию столкнулся, проезжая в конце сентября — начале октября через внутренние русские губернии по пути из Тарутина во Владимир. Окончательно Барклай убедился в неотложности гласного оправдания, ознакомившись здесь с публикацией в правительственной прессе рапорта Кутузова Александру I от 4 сентября 1812 г., где сдача Москвы французам объявлялась прямым следствием оставления Смоленска, а тем самым и Барклай выступал виновником падения древней русской столицы. Опровержение этого тяжкого для него упрека стало лейтмотивом всех последующих его усилий по восстановлению своего попранного авторитета.

В них он всерьез рассчитывал на поддержку Александра I и с целью оправдания прежде всего в его глазах направил в начале ноября 1812 г. в Петербург исключительно для сведения царя предельно откровенную по тону, конфиденциальную мемуарно-историческую записку — «Изображение военных действий 1-й армии». Главным же образом борьба Барклая за реабилитацию воплотилась в серии оправдательных военно-публицистических записок, составленных им в октябре 1812 — апреле 1813 г. для обнародования в России от своего собственного имени. Однако надежды на царя оказались тщетными — он упорно отклонял неоднократные настояния Барклая напечатать их в правительственной прессе, более всего опасаясь открытой и личностной защиты полководцем своей репутации. В этой связи вообще высветляются в новом ракурсе взаимоотношения Барклая с царем в 1812 г. В противовес распространенным в старой историографии, да и в ряде современных работ идиллическим и исторически беспочвенным представлениям об Александре I — «добром гении» полководца, в ходе нашего повествования со всей отчетливостью выявился конфликтный характер этих отношений, который в истории с запретом публикации оправдательных записок выразился, быть может, лишь с наибольшей последовательностью.

Александра I явно не устраивала независимая личная позиция Барклая и его неуклонное следование самостоятельному стратегическому курсу. Мы видели, как после соединения армий у Смоленска этот курс вошел в резкое противоречие с военными установками царя. Последовавшее затем отстранение Барклая от руководства войсками было обставлено им самым оскорбительным для полководца образом.

Более того, именно по воле Александра I был опубликован в правительственных газетах адресованный лично ему рапорт Кутузова от 4 сентября с намеком на вину Барклая в сдаче Москвы, что со стороны царя было актом публичной — в общероссийском масштабе — его дискредитации.

Натолкнувшись на сопротивление Александра I в своем стремлении лично обратиться в печати к соотечественникам со своими оправданиями, Барклай, как мы выяснили, встает на путь продвижения их в печать уже не от своего имени, а анонимно — скрытно от верховной

власти. Для этого он прибегает к помощи доверенных сотрудников своего штаба, выпустивших в 1813 г. ряд историко-публицистических брошюр с отчетливой установкой на защиту полководческого авторитета Барклая и популяризации его оправдательных записок. В 1814 и в последующие годы эту миссию берет на себя Н.И. Греч, напечатавший одну из этих записок в своем «Сыне отечества» — лучшем и наиболее читаемом в ту эпоху общественно-политическом журнале — и в других изданиях. Таким негласным путем, в обход царя Барклаю удалось в первые послевоенные годы довести до публики содержание всех своих оправдательных записок.

Выясняется также, что одновременно он столь же негласно поощрял их рукописное распространение. Причем с его участием расходились не только те из них, что предназначались к обнародованию, но и сугубо «секретное» в 1812 г. «Изображение военных действий 1-й армии»; «раздачей» его списков в публику он был озабочен почти до самой своей кончины. В послевоенные десятилетия их размножение приняло весьма широкий размах, органически влившись в общее русло недозволенной правительством и не совместимой с официальной идеологией рукописной словесности.

Их хождение в обществе сопровождалось острой полемикой заинтересованных читателей, которая велась обычно в духе оскорбительных нападок на полководца «генеральской оппозиции» 1812 г.,— тексты критических замечаний персонально в его адрес и по поводу самих отступательных маневров сохранились в ряде циркулировавших после войны списков. Свидетельством живого бытования оправдательных записок Барклая явилось также чтение и горячее обсуждение их рукописей во время заграничных походов в офицерской среде.

Примечательно, что, как установлено в ходе наших разысканий, в скрытой от правительственно-придворных кругов реабилитации Барклая — будь то издание в его защиту военно-публицистических брошюр, анонимное печатание текстов оправдательных записок или их рукописное размножение — принимали участие не только ближайшие сподвижники и единомышленники полководца из его штаба. Не меньшую роль играла в этом передовая офицерская молодежь преддекабристского толка. Это были прежде всего члены сообщества военных историков, сложившегося во время летнего перемирия

1813 г. в Рейхенбахе и преемственно связанного, с одной стороны, с кружком вольнолюбиво настроенных литераторов походной типографии русского штаба, которую основал, кстати, еще в июне 1812 г. сам Барклай[1], а с другой — со стоявшим тогда на прогрессивных литературно-политических позициях Н.И. Гречем и его «либералистски» ориентированным «Сыном отечества».

Наконец, мы проследили дальнейшую — уже послевоенную и в значительной мере потаенную — участь его оправдательных записок. Поскольку все связанное с опалой Барклая в 1812 г. и общественным брожением вокруг его имени было окружено в царствование Александра I и Николая I глубокой тайной, они находились под бдительным надзором властей и официально замалчивались. В первой половине XIX в. это усугублялось намеренным утаиванием Аракчеевым их оригиналов из-за застарелой его вражды к Барклаю, а также и фактическим запретом, наложенным на эти записки влиятельнейшим в 1830—1840-х годах военным историком А.И. Михайловским-Данилевским, который, видимо, по традиции, идущей еще из кутузовского окружения 1812 г., относился к памяти давно сошедшего в могилу полководца с крайней неприязнью.

Только на волне демократического подъема рубежа 1850—1860-х годов оправдательные записки Барклая попадают в сферу внимания историков и публикаторов. Однако нависшее над ними до того цензурно-политическое «табу» отчасти сохраняло свое значение и во второй половине XIX в. В результате их введение в общественно-историографический оборот растянулось после Отечественной войны на целое столетие.

Вместе с тем все сказанное выше важно в том отношении, что, пожалуй, впервые с такой полнотой восстанавливает исторический подтекст пушкинского «Полководца» и возникшего в ходе полемики вокруг него «Объяснения» поэта. Мы можем, таким образом, снова перенестись в 1830-е годы, с которых и начали наше повествование, чтобы соотнести с этим подтекстом исторические реалии, запечатленные в двух произведениях Пушкина на барклаевскую тему.

Прежде всего нам легче теперь увидеть некоторые отклонения в изображении поэтом своего героя от исторически-конкретных черт эпохи. Еще раз подчеркнем: отклонения эти вызывались не только пробелами в

исторических познаниях поэта, но и его художественно-творческими задачами.

Так, выше была отмечена неточность выразившегося в «Полководце» представления о том, что для Барклая Россия была «чужой землей»,— отголоска массовых предубеждений 1812 г. В действительности же всей своей биографией, своими связями, воспитанием, обликом Барклай неискоренимо принадлежал к военно-общественному укладу российской жизни, сознавал себя русским гражданином и русским патриотом.

Не вполне точен был Пушкин, когда писал в «Полководце», что Барклай «уступил власть» Кутузову (мысль эта дважды повторена и в «Объяснении»). В том-то и состоял, как мы видели, драматизм положения Барклая, что он не обладал, подобно Кутузову, высшими военными полномочиями. Поэтому об «уступлении» им власти можно было говорить лишь с большой натяжкой — в метафорическом, а не в строгом военно-юридическом смысле слова. Впрочем, винить в этом Пушкина было бы неверно, ибо вопрос о властных прерогативах Барклая в 1812 г. представлялся запутанным для самих участников событий и даже для крупных специалистов в области военной истории более позднего времени.

Пушкин явно преувеличивал масштабы антибарклаевских настроений 1812 г. Нуждается в оговорках его формула об «общем заблуждении», с которым столкнулся тогда полководец. Ведь в «Объяснении» на ведущее место среди противостоявших ему сил поставлено народное недовольство — первоисточник всех постигших его невзгод («роптал народ ожесточенный и негодующий...») — и отодвинута в этом отношении на второй план борьба против Барклая генеральской оппозиции. Но мы видели, что приоритет в развязывании вражды к Барклаю принадлежал именно ей — «опытным военным», по терминологии «Объяснения». Пушкину остался неведом истинный механизм распространения антибарклаевских настроений в их реальных хронологических очертаниях, но это опять же меньше всего может быть вменено в вину ему лично, поскольку даже очевидцы-мемуаристы отчасти разделяли заблуждение на этот счет, и подлинное положение вещей устанавливается только разысканиями последнего времени.

Сами эти неточности вполне объяснимы влиянием и в 1830-х годах общераспространенных предрассудков

относительно Барклая, тем, что его опала в 1812 г. продолжала и тогда оставаться запретной темой, наконец, невозможностью в официальных печатных источниках найти сколько-нибудь достоверные сведения.

Удивительно другое — как ограниченный условиями своего времени Пушкин сумел в главном, в постижении характера Барклая и образа его действий, существенных сторон военно-политической ситуации 1812 г. проявить психологическую и историческую проницательность.

И тут мы опять должны обратиться к антикутузовской теме «Полководца», более резко выраженной в беловом и альбомном его автографах. Напомним, что Кутузов представлен здесь как «преемник» и даже «соперник» вынужденного сойти с полководческой арены Барклая, как военачальник, воспользовавшийся его глубоко обдуманным замыслом отражения неприятельского нашествия,— замыслом, который уже заключал в себе предпосылки успешного исхода кампании. Пушкин, таким образом, не только высоко оценил «скифский» план Барклая, но и правильно понял, что Кутузов на первых порах своего командования именно его и проводил в жизнь, следуя той же стратегической линии, что и Барклай.

Видимо, Пушкин знал что-то определенное о возникшей после приезда Кутузова в армию коллизии между ними, о затаенном недоброжелательстве и ревности фельдмаршала к Барклаю, стремлении ограничить его влияние в армии и т.д. Более того, можно предполагать, что Пушкину был известен наиболее острый и ключевой момент этой коллизии — рапорт Кутузова Александру I от 4 сентября 1812 г., где, прямо не называя Барклая, он давал понять о его хотя бы частичной вине в сдаче Москвы. От Пушкина также не укрылось и то, в какой мере был уязвлен полководец этим намеком. На наш взгляд, именно выпад Кутузова и подразумевал прежде всего поэт в следующих строках «Полководца»: «И тот, чей острый ум тебя и постигал,// В угоду им тебя лукаво порицал» («им» — это ожесточенным против Барклая «народу» и «черни»). К Кутузову же относит данные строки «Полководца» и Г. Кока, аргументируя это, правда, другими фактами из истории его отношения к Барклаю[2].

Но по сему поводу была высказана и иная точка зрения. «Почти нет сомнения, что этот упрек был обра-

щен и к «великому шарлатану»,— пишет В.Э. Вацуро, переадресовывая пушкинские строки А.П. Ермолову, о котором именно такими словами отозвался, как мы помним, поэт в своем дневнике 1834 г.[3]

Сомнения, однако, есть, и вызваны они, в частности, тем, что Вацуро опирается, как увидим чуть далее, на источниковедчески не вполне надежные доводы. Но дело не только в этом. За фразой «В угоду им тебя лукаво порицал...» определенно скрывается некое публичное, гласное действие, чему соответствует факт обнародования кутузовского рапорта от 4 сентября 1812 г. в газетах того времени. Но она не может быть верно понята, если согласиться на минуту с тем, что ее адресат — А.П. Ермолов, который «порицал» Барклая исподволь, за его спиной, в частных разговорах с высокопоставленными лицами», в доверительных письмах и т.д. Кроме того, недоброжелательство к нему Ермолова в июле — августе 1812 г. выражалось столь непримиримо и вероломно, что, знай что-либо об этом Пушкин, он никогда не отозвался бы о нем как о «лукавстве» — слишком уж это было бы мягко и расплывчато. В то же время к действительно лукавому упреку в адрес Барклая, высказанному в двусмысленно-анонимной, несколько даже дипломатичной — вполне в духе Кутузова — форме в его рапорте от 4 сентября 1812 г., пушкинские строки о «лукавом порицании» в угоду нападкам на полководца «черни дикой» были как нельзя более применимы. Ведь сам Барклай опасался (мы отмечали это выше), как бы публично оглашенный упрек Кутузова не подогрел и без того расползавшиеся в сентябре 1812 г. слухи о его измене.

Что именно этот мотив являлся как бы сокровенным контрапунктом исторических аллюзий «Полководца» и откликов на него в печати 1830-х годов, видно из того, что он продолжал муссироваться и после смерти поэта главным его оппонентом Л.И. Голенищевым-Кутузовым. Весной 1838 г. по случаю 25-летия со дня смерти своего дядюшки-фельдмаршала он выпустил брошюру «Воспоминания 16-го апреля 1838 года». Собственно, это не воспоминания, а краткий биографический очерк М.И. Кутузова, особенно сжатый в описании 1812 года. Однако при упоминании оставления русскими Москвы Голенищев-Кутузов вдруг приводит дословно сакраментальную фразу из рапорта фельдмаршала от 4 сентября, возлагавшую ответственность за эту акцию на Барклая,

сопроводив ее восторженным восклицанием: «Какое величие духа доказывает такое донесение»[4]. Если принять во внимание, что участие Кутузова в Отечественной войне освещено здесь лишь в виде лапидарного перечня основных его вех и в тексте «Воспоминаний» нет больше вообще ни одной цитаты, то подчеркнуто-нарочитый характер включения сюда выдержки из кутузовского рапорта представится совершенно очевидным. Это, несомненно, явилось актом возобновления полемики с покойным теперь уже поэтом (что, кстати, не было замечено пушкинистами, изучавшими преломление барклаевской темы в его творчестве). Складывается даже такое впечатление, что само составление и издание «Воспоминаний» понадобилось только для того, чтобы словами Кутузова поставить последнюю точку в этом напряженном и затянувшемся споре, еще раз бросив тень на репутацию Барклая.

Надо заметить, что и другие исторические «ремарки» «Полководца» и «Объяснения» обнаруживают в себе следы почти документального знакомства поэта с подлинными обстоятельствами эпохи — они словно «подсмотрены» Пушкиным в живой жизни 1812 г. или заимствованы из переписки участников событий и их мемуаров, которые, однако, увидели свет много лет спустя и не могли быть им прочтены.

Сказанное относится, например, к частично процитированным выше строкам об «ожесточенном и негодующем народе» и «черни дикой», которые «своими криками» преследовали полководца, «ругаясь» над его «священной сединою»,— это находит свою просто фразеологическую параллель в свидетельствах мемуаристов-современников о том, как при проезде Барклая через внутренние русские губернии он «подвергался поруганию от ослепленной и раздраженной черни» (В.И. Левенштерн), как «народ не хотел выпускать изменника, а собирался удержать его» (А.А. Закревский). Когда мы читаем в «Объяснении» о воинах, тоже «почти в глаза» называвших Барклая изменником, то сразу приходят на память описания в походных офицерских записках такого рода сцен после оставления Смоленска (Н.М. Распопов, Н.Е. Митаревский, Н.Н. Муравьев-Карский). Пушкин, видимо, хорошо знал и о широко распространенных в 1812 г. обличениях «немца» Барклая («И в имени твоем звук чуждый не взлюбя...»), и о взятой им на себя жер-

твеннической миссии («Все в жертву ты принес...»), но ведь о принесении им в жертву делу спасения родины своей репутации писал в своем «Оправдании» сам Барклай, о «самоотвержении» полководца много разговоров было, как мы видели, и среди наблюдавших его офицеров русской армии, записавших их потом в своих воспоминаниях (А.Х. Бенкендорф, П.Х. Граббе).

Каковы же были источники осведомленности Пушкина о Барклае, что мог он знать о нем к середине 1830-х годов? — вопрос, который волновал не одно поколение пушкинистов.

Если оставить в стороне впечатления юного Пушкина от горячих споров и слухов об «измене» Барклая, косвенно отразившихся в приведенном выше письме Ю.Я. Кюхельбекер от 24 августа 1812 г. к сыну Вильгельму — лицейскому однокашнику и другу поэта, то надо будет признать, что его познания на сей счет могли быть почерпнуты из известных к тому времени мемуаров очевидцев и прежде всего из устной мемуарной традиции.

Среди множества друзей, приятелей, просто знакомых Пушкина были десятки, если не сотни ветеранов 1812 г.— гвардейских и штабных офицеров, военных дипломатов и разведчиков, партизан, генералов, рядовых участников событий и прославленных героев. Были среди прикосновенных к военным событиям 1812—1814 гг. и такие близкие к нему впоследствии литераторы и поэты, как В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, К.Н. Батюшков, А.Ф. Воейков. Круг этих потенциальных его информаторов ни персонально, ни в целом, сюжеты и время их возможных рассказов, в том числе, естественно, и о Барклае,— все это установлено далеко еще не в полной мере.

В их числе исследователи называют обычно несколько имен, например знаменитого генерала Н.Н. Раевского, с которым Пушкин общался во время путешествия по югу России в 1820—1821 гг., в Москве в 1826 г. и в Петербурге в начале 1829 г. По словам П.И. Бартенева, поэт от него «наслушался рассказов про Екатерину, XVIII век, про наши войны и про 1812 год»[5]. С 1821 г. в Кишиневе Пушкин близко сошелся с И.П. Липранди — одним из самых осведомленных участников наполеоновских войн, который много знал о Барклае и имел на его деятельность в 1812 г. свою собственную точку зрения, не совпадающую с официальной. Несомненно, он делился с поэтом военными воспоминаниями, поверяя их записями за 1812

год своего дневника. Есть сведения, что и сам этот дневник Липранди давал читать Пушкину[6]. В Кишиневе он познакомился с местным почтмейстером А.П. Алексеевым, полковником русской армии, прошедшим кампании 1812—1814 гг. По свидетельству В.П. Горчакова, «Пушкин, по преимуществу уважавший самоотвержение и неподдельную отвагу, с наслаждением выслушивал все рассказы Алексеева, как участника в битвах при Бородине и на высотах Монмартра». Там же немало интересного о 1812 годе он мог услышать и от генерала Д.Н. Бологовского, замешанного перед войной в дело Сперанского, участвовавшего в Бородине и других сражениях кампании и состоявшего тогда штаб-офицером 6-го пехотного корпуса Д.С. Дохтурова.

К этому следует еще добавить и самого Сперанского, дочь которого писательница Е.М. Фролова-Багреева была давней поклонницей поэта. В их доме Пушкин бывал еще с 1828 г., особенно же часто они встречались в 1834 г., когда Сперанский наблюдал за печатанием «Истории Пугачевского бунта» в типографии II Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии. Дневник Пушкина заключает в себе примечательные записи разговоров со Сперанским, делившимся с поэтом воспоминаниями о «своем изгнании в 1812 г.», о противостоянии с Аракчеевым, о либеральных устремлениях начала века и вообще «о первом времени царствования Александра, о Ермолове etc». Уже сама тематика этих бесед естественным образом подводила и к такой крупной фигуре эпохи, как Барклай: к его стремительному возвышению перед Отечественной войной, деятельности на постах Финляндского генерал-губернатора и военного министра (когда Сперанский с ним тесно сотрудничал), к отношениям с царем и генералитетом, мнениям о нем в обществе, наконец, к его опале в 1812 г., столь созвучной личной судьбе бывшего государственного реформатора,— на этот счет последний был для Пушкина едва ли не самым авторитетным рассказчиком[7].

Среди информаторов Пушкина о Барклае называют в литературе и А.П. Ермолова[8]. Между тем конкретные обстоятельства, при которых Пушкин мог слышать его рассказы о 1812 годе, должным образом не прояснены. Известно о двух их встречах. Одна состоялась во время поездки поэта на Кавказ в мае 1829 г., когда, с тем чтобы повидать опального генерала, Пушкин специально заехал

в Орел, где тот тогда жил после отъезда из Грузии. Из сохранившихся описаний этой встречи Пушкина в «Кавказском дневнике», в «Путешествии в Арзрум»[9] и в записанных Д.В. Давыдовым и другими лицами рассказов о ней самого Ермолова[10] вовсе не видно, чтобы последний говорил что-либо о Барклае, хотя в ходе беседы затрагивались животрепещущие для того времени историко-политические и военные темы. Вторая встреча имела место в декабре 1831 г. в Петербурге, но какие-либо данные о содержании их разговоров до нас не дошли[11]. Судя по упоминаниям Пушкина в «Кавказском дневнике» («Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки») и в черновике его письма к Ермолову от апреля 1833 г. («Если в праздные часы занялись вы славными воспоминаниями и оставили записки о своих войнах»)[12], поэту не была известна и расходившаяся в 1820—1830-х годах в списках первая редакция ермоловских записок об Отечественной войне со множеством сведений о личности и полководческой деятельности Барклая. Таким образом, вопрос о Ермолове как информаторе Пушкина остается пока открытым.

Еще более часто упоминается исследователями в этом плане Д.В.Давыдов. На то есть свои достаточно серьезные основания, ибо поэт-партизан — один из ближайших друзей и литературных соратников — общался с ним на протяжении почти 20 лет многократно и подолгу. Свидетельства Д.В. Давыдова о Барклае в 1812 г. должны были представлять для Пушкина особый интерес не только по его богатейшим личным наблюдениям и военному опыту, но и потому, что Д.В. Давыдов — двоюродный брат и доверенный человек Ермолова — аккумулировал в своей памяти и его рассказы о полководце.

Наиболее развернуто о зависимости пушкинских познаний о Барклае в 1812 г. от свидетельств Д.В. Давыдова высказался В.Э. Вацуро. Но ссылался он при этом на сведения, которые Пушкину не могли быть известны ни в письменно закрепленном виде, ни в устной передаче Д.В. Давыдова.

Так, Вацуро цитирует по посмертным изданиям его сочинений впечатляющие характеристики внешнего облика Барклая, считая влияние последних на стилистику «Полководца» настолько бесспорным, что называет их «буквально пушкинскими словами»: «сумрачный, постоянно угрюмый», «холодный, как мраморная

статуя», «мужественный и хладнокровный до невероятия, Барклай, на высоком челе которого изображалась глубокая скорбь» и т.д.[13] Вслед за тем он приводит, со ссылкой на Д.В. Давыдова, рассказы о том, как Барклай искал смерти в Бородинском сражении, со слезами на глазах признаваясь в том Ермолову, и как на совете в Филях, где Барклай первым предложил сдать Москву без сражения, Ермолов, внутренне согласный с ним, из боязни повредить своей популярности в войсках покривил душой, выступив с противоположным мнением. (Это-то свидетельство, кстати, и послужило для Вацуро доводом в пользу отнесения к Ермолову процитированных выше строк из «Полководца» о «лукавом порицании», поскольку данный поступок генерала и был, как он считает, для Пушкина "шарлатанством", угодничеством перед общим мнением», хотя в этом ли, или в чем-либо другом усматривал поэт «шарлатанство» Ермолова,— этого вскользь брошенная реплика еще не решает.) Главное же — Вацуро подчеркивает, что Д.В. Давыдов «писал так задолго до появления пушкинских стихов»[14].

Согласиться с этим, однако, трудно.

Все приведенные выше тексты, интерпретируемые Вацуро как хорошо знакомые Пушкину свидетельства Д.В. Давыдова, почерпнуты им из двух источников.

Во-первых, из обширного мемуарного труда Д.В. Давыдова «Материалы для истории современных войн (1806 и 1807)», который в интересующей нас части был составлен уже после смерти Пушкина, скорее всего в 1837—1838 гг. Здесь он упомянут как «наш незабвенный», а Барклаю дана оценка, которая по своему пафосу, лексике, ритму есть не что иное, как перифраза из возвышенного отзыва о нем в пушкинском «Объяснении»: «Барклай, испивший до дна чашу самых горьких, незаслуженных испытаний, в то самое время, как деятельность его была посвящена благу России, для спасения которой он не раз жертвовал своей жизнью, есть в полном смысле слова та величественная личность, о которой... А.С. Пушкин сказал...» — и далее процитированы строки «Полководца»: «Но сей высокий лик в грядущем поколенье // Поэта приведет в восторг и умиленье...» Совершенно очевидно, что первична в данном случае хронологически более ранняя пушкинская художественно-историческая концепция образа Барклая в «Полководце» и «Объяснении»,— именно ею навеяна та впечатляющая характеристика Д.В. Давыдовым личности полководца,

на которую мы ранее ссылались, а не наоборот, как думает Вацуро[15].

Во-вторых, в подтверждение своего мнения он ссылается на пространные исторические примечания к тексту «Дневника партизанских действий» — факт их принадлежности перу Д.В. Давыдова представляется само собой разумеющимся. Хотя такая точка зрения давно и прочно укоренилась в литературе, она глубоко ошибочна. Оставляя сейчас в стороне этот важный вопрос, заслуживающий специального рассмотрения, отметим здесь лишь, что эти примечания отсутствуют не только в прижизненных публикациях «Дневника», но и во всех его рукописных оригиналах из архива Д.В. Давыдова[16]. Впервые они были включены в состав «Дневника» при подготовке изданного в 1860 г. сыном поэта-партизана Денисом Давыдовым-младшим посмертного собрания сочинений отца[17]. С этими примечаниями знаменитый партизанский «Дневник» Д.В. Давыдова и публикуется в его многочисленных переизданиях — вплоть до нашего времени, что, кстати, вводит в заблуждение вот уже не одно поколение читателей и исследователей относительно его подлинного, аутентичного текста. Происхождение этих вставок-примечаний не вполне еще ясно. Можно, однако, предполагать, что они были составлены с определенными полемическими целями Денисом Давыдовым-младшим, видимо, при участии Ермолова, как раз тогда — в конце 1850-х годов — перерабатывавшего свои записки о 1812 годе. Как бы то ни было, но авторство самого Д.В. Давыдова тут решительно исключается.

Вместе с тем Вацуро полагает, что «о конфликтах Барклая и Багратиона, и о взаимной нелюбви его с Ермоловым,— и, наконец, о непопулярности Барклая в войсках» Пушкин «мог прочесть» в выпущенной еще в 1832 г. мемуарно-критической брошюре Д.В. Давыдова «Замечания на некрологию Н.Н. Раевского» — в них история «говорила голосом "ермоловца"», а потому и в «Полководце» «есть отзвуки устных преданий, идущих из ермоловского круга», т.е. от того же Д.В. Давыдова[18].

Как ни заманчиво такое предположение, но ничего подобного в издании «Замечаний», осуществленном в 1832 г. Д.В. Давыдовым, Пушкин прочитать не мог хотя бы потому, что сведения эти там не содержались. Нет их и в единственной дошедшей до нас авторской рукописи «Замечаний» из архива Д.В. Давыдова[19]. Они, так же

как и только что упомянутые примечания к «Дневнику партизанских действий», появляются лишь в изданном в 1860 г. собрании сочинений Д.В. Давыдова — в одном из примечаний к тексту «Замечаний на некрологию Н.Н. Раевского». Прямая причастность Дениса Давыдова-младшего к проникновению сюда этих сведений удостоверяется пометой: «Примечания издателя»[20].

Безусловно, Д.В. Давыдов не мог не рассказывать Пушкину всякого рода подробности о перипетиях судьбы Барклая в 1812 г.— вероятно, под достаточно пристрастным углом зрения. Но специфические следы именно этих рассказов в строках «Полководца» и в «Объяснении» уловить трудно. Судить же о их содержании и характере по свидетельствам Д.В. Давыдова, которые были записаны им после смерти Пушкина, без предварительного анализа того, что в них могло относиться к предшествующему времени, или же судить об этом по текстам, которые вообще не принадлежали перу поэта-партизана и происхождение которых еще предстоит выяснить, было бы, на наш взгляд, опрометчиво.

Зато в свете наших разысканий можно несколько дополнить круг информаторов Пушкина о Барклае, введя в него имена лиц, которые ранее не привлекали к себе в этом плане внимания.

Один из них — П.С. Пущин, добрый знакомец поэта по Кишиневу и Одессе, где они часто виделись в 1820—1824 гг. После отставки П.С. Пущин поселился в своем псковском имении Жадрицы и опять встречался в 1824—1826 гг. с жившим по соседству в Михайловском Пушкиным[21]. П.С. Пущин — офицер лейб-гвардии Семеновского полка, входившего в 1-ю Западную армию, имел о Барклае немало личных впечатлений и был непосредственным очевидцем столкновений с ним великого князя Константина Павловича, о чем, как помним, сохранилась запись в его походном дневнике. Возможно, что приведенные выше слова Пушкина из письма к П.А. Катенину от 4 декабря 1825 г. о «вражде с немцем Барклаем» великого князя явились отражением бесед поэта с П.С. Пущиным.

Свидетелем публичных нападок на Барклая великого князя был и близкий к Пушкину А.С. Норов — 1812 г. прапорщик гвардейской артиллерии, потерявший ногу в Бородинском сражении, а в 1830-х гг.— чиновник, литератор, путешественник, коллекционер. Пушкина связы-

вали с ним разносторонние интеллектуальные интересы, он пользовался его обширной библиотекой, А.С. Норов собирал пушкинские автографы и на смерть поэта откликнулся проникновенными стихами[22]. По всему сказанному было бы неверно исключать его из числа возможных рассказчиков Пушкину о Барклае.

Напомним также, что одним из тех, кто осенью 1812 г. стал очевидцем «ожесточения» и «ропота» народа против Барклая и кто оставил об этом свои воспоминания, был исторический романист И.И. Лажечников, встретившийся с Пушкиным еще в 1819 г. и в первой половине 1830-х годов состоявший с ним в переписке[23].

Об антибарклаевском брожении в 1-й и 2-й армиях после сдачи Смоленска мог сообщить Пушкину Н.Б. Голицын — в 1812 г. ординарец (и близкий родственник) Багратиона. Яркие подробности об этом запечатлелись в цитированных нами его военных записках о наполеоновских войнах, завершенных как раз к 1835 г. Историк, мемуарист, музыкант, богослов, литератор, Н.Б. Голицын был знаком с Пушкиным еще с конца 1810-х годов и поддерживал отношения до его смерти. Н.Б. Голицын был связан с поэтом и творчески, как переводчик на французский язык его стихотворных произведений, в том числе и знаменитого «Клеветникам России»[24].

О положении Барклая в армии во время отступления 1812 г. много доподлинно знал квартирмейстерский офицер штаба 1-й армии Н.Н. Муравьев-Карский — и по собственным впечатлениям (его содержательные записки о 1812 годе были составлены еще во второй половине 1810-х годов), и, видимо, от брата А.Н. Муравьева, особенно приверженного Барклаю,— на его записки об Отечественной войне мы тоже многократно ссылались по ходу нашего повествования. Рассказы Н.Н. Муравьева-Карского о Барклае Пушкин мог слышать во время поездки летом 1829 г. на Кавказ, где часто беседовал с ним в присутствии своих друзей — Н.Н. Раевского-младшего и В.Д. Вольховского[25].

Чрезвычайно важным представляется и то, что Пушкин хорошо знал двух доверенных в 1812 г. адъютантов Барклая. Один из них — А.А. Закревский, осведомленность которого в деятельности полководца и отношении к нему армии и простонародья в 1812 г. была, как мы видели, особенно разносторонней и точной. Его

жена, А.Ф. Закревская, известная столичная красавица — в конце 1820-х годов предмет сердечного увлечения поэта и прообраз его стихотворных и прозаических произведений, частые же встречи Пушкина с самим А.А. Закревским в домах петербургской знати относятся к 1828—1831 гг., когда он занимал пост министра внутренних дел[26].

Другой знакомец Пушкина из адъютантов Барклая — П.Х. Граббе, автор замечательных по своей правдивости мемуаров о 1812 годе, не раз цитированных нами выше. Но Граббе был не просто адъютантом Барклая. Человек высокого благородства и личного мужества, прикосновенный после войны к тайным политическим обществам, он был одним из тех немногочисленных офицеров 1-й армии, которые глубоко сочувствовали участи полководца и разделяли его стратегические принципы. Еще с конца 1810-х годов Граббе связывал с Пушкиным обширный круг общих друзей-декабристов и лиц из близкой к ним общественной среды, однако знакомство состоялось много позднее, о чем сам Граббе рассказал в своих «Памятных записках». В январе 1834 г., будучи в Петербурге (заметим, за год с небольшим до создания «Полководца»), он посетил в Демутовом трактире Н.Н. Раевского-младшего, своего сподвижника по Кавказской войне. «Я изъявил сожаление,— пишет Граббе,— что не знаю лично Пушкина. Он жил неподалеку. Раевский послал его просить и, к живому удовольствию моему, Пушкин пришел. Мы обедали и провели несколько часов втроем. 12-й год был главным предметом разговора»[27]. Трудно предположить, чтобы в этой примечательной беседе Пушкин не расспрашивал бы Граббе о Барклае, а тот не поделился бы своими богатейшими воспоминаниями о нем.

Но если о хорошо известном всем «ропоте» против Барклая армии и народа, о его тяжелых взаимоотношениях с Багратионом, Кутузовым, Ермоловым, о враждующих группировках в главной квартире, что тоже не составляло тогда особого секрета, Пушкину могли рассказать многие его собеседники — очевидцы событий той эпохи, то был один эпизод военно-политической биографии полководца, о котором тогда вообще мало кто знал в пушкинском окружении даже и из участников войны.

Речь идет, как, наверное, догадался читатель, о борьбе Барклая с осени 1812 г. за реабилитацию перед обще-

ственным мнением страны, о его оправдательных записках и тайном от правительства их распространении. Правда, кое-что об этом, например, о составлении Барклаем для Александра I «Изображения военных действий 1-й армии», осенью 1812 г., знал А.А. Закревский.

Но единственным лицом из знакомых Пушкина 1830-х годов, досконально посвященным в эти сокровенные обстоятельства деятельности Барклая в 1813—1814 гг., был Н.И. Греч — его давний и верный приверженец.

Именно Греч, который в апреле 1814 г. напечатал анонимно в своем «Сыне отечества» (и ранее выступавшем в защиту полководца) почти полный текст второй редакции «Оправдания», а затем дважды перепечатал его в других изданиях, именно Греч, который, как мы выяснили, получил этот важнейший документ от самого Барклая и должен был знать о царском запрете на его обнародование,— именно Греч и никто другой мог рассказать Пушкину об оправдательных усилиях полководца после отъезда из армии, о препятствиях, стоявших на его пути и не позволивших ему публично и от своего имени оправдаться перед соотечественниками. Рассказы эти скорее всего следует отнести к 1834 — началу 1835 г.— времени наиболее интенсивного общения Пушкина с Гречем перед написанием «Полководца».

Но если все это так, то становится понятным, почему именно Греч проявил такой недюжинный интерес к «Полководцу», как только стихотворение увидело свет, почему он сразу же перепечатал его в «Северной пчеле», воспрепятствовал помещению здесь тенденциозных возражений Л.И. Голенищева-Кутузова, почему именно он вообще так высоко оценил поэтическую реабилитацию Пушкиным Барклая. Может быть, и потому, что увидел в ней продолжение той борьбы за восстановление доброго имени и попранного авторитета полководца, которую сам он так и не смог довести до конца?

Признав же Греча информатором Пушкина в столь живо занимавшем его вопросе, мы тем самым можем окончательно прояснить не только конкретный смысл загадочной фразы из «Объяснения» (Барклай, «не успев оправдать себя перед глазами России...»). В свете сказанного можно понять и то, почему Пушкин ограничился в «Объяснении» столь лаконичной фразой и не сообщил об этом ничего более подробного: борьба Барклая за свою реабилитацию и в 1830-х годах сохраняла, как мы

видели, сугубо конфиденциальный характер и официально ее разглашение не допускалось.

Однако познания Пушкина об этой стороне деятельности Барклая черпались не только из рассказов Греча, но и из рукописного распространения оправдательных записок полководца, в частности списков самой «секретной» из них — «Изображения военных действий 1-й армии». Как ныне выясняется, не менее четырнадцати знакомых Пушкина, с которыми он в разные годы поддерживал отношения, были владельцами списков «Изображения», датируемых временем жизни поэта. Это Д.Н. Бологовский, Д.П. Бутурлин, А.Ф. Воейков, Ф.Н. Глинка, Д.В. Давыдов, А.П. Елагина, А.П. Ермолов, А.И. Михайловский-Данилевский, М.П. Погодин, С.Д. Полторацкий, С.П. Румянцев, К.С. Сербинович, А.И. Тургенев, А.Д. Чертков. Поскольку некоторым владельцам принадлежало по нескольку списков, суммарная их численность составляла 21 экземпляр (из общего числа 50 списков, выявленных нами). К этому также надо добавить, что Ермолов располагал списком первой редакции «Оправдания», датируемым 1810-ми годами, а А.С. Норов — списком третьей его редакции на бумаге с водяным знаком «1814». Следовательно, знакомые Пушкина были обладателями 23 списков оправдательных записок Барклая.

Причем среди них были люди, особенно близкие к Пушкину, с которыми он в 20—30-х годах постоянно соприкасался, встречался на светских приемах, бывал в их домах, с которыми его связывали деловые и дружеские отношения,— например, тот же Д.В. Давыдов, А.И. Тургенев, М.П. Погодин, А.П. Елагина, А.Ф. Воейков, К.С. Сербинович (он же, как помним, привлекался в 1834 г. к посмертному разбору архива Аракчеева, где таились подлинники барклаевских записок, о чем, между прочим, тоже мог рассказать Пушкину).

Можно сказать, не боясь впасть в преувеличение, что окружение Пушкина было буквально насыщено списками оправдательных записок полководца, и опять же трудно допустить, чтобы хоть один из них не оказался у него в руках.

Подводя итоги всему сказанному, уточним теперь бытующие в литературе представления об идейном смысле выступления Пушкина в защиту Барклая.

Мнение о том, что его стихотворение явилось актом общественной «реабилитации оклеветанного полководца», едва ли не впервые высказал еще до революции известный пушкинист Н.О. Лернер[28]. С тех пор оно более чем на полвека возобладало среди исследователей. При этом подчеркивалось, что, недооцененный в 1812 г., Барклай был «затем несправедливо забыт», что «начисто умалчивала» о нем «современная Пушкину печать», в том числе записки и воспоминания участников войны, беллетристика, всякого рода исторические повествования и т.д., что его имя и «спустя четверть века по-прежнему исключалось из официальной военной истории»; вместе с тем утверждалось, что казенно-бюрократические круги середины 30-х годов «ругались» над Барклаем, возрождая тяжкие для него обвинения военного времени[29]. Вслед за Ю.Н. Тыняновым, усмотревшим в «Полководце» вызов «официальной истории»[30], стихотворение расценивалось пушкинистами «звеном» в борьбе поэта против официозной, реакционно-монархической трактовки Отечественной войны[31].

Так было до выхода в 1969 г. цитированной выше статьи Г. Коки «Пушкин и полководцы двенадцатого года». Он предпринял здесь пересмотр этих версий и небезуспешно их оспорил.

Ведь к середине 1830-х годов, напоминает Г. Кока, Барклай, возвращенный в 1813 г. в армию и еще при жизни удостоенный самых высоких наград и званий, не только не был предан забвению, но, напротив, пользовался в России широкой известностью, его заслуги в наполеоновских войнах получили официальное признание, были отмечены правительством всеми возможными посмертными почестями, и ни о каких прямых нападках на него «правящей верхушки и казенно-бюрократических кругов уже не могло быть и речи». А значит, заключает Г. Кока, ничего противоречащего в этом плане официальному взгляду на Барклая, ничего не угодного властям в выступлениях Пушкина в его защиту не было — таков окончательный вывод автора[32].

С фактической стороны многое из сказанного здесь вполне справедливо. Можно только возразить, что отношение правительственно-придворных верхов к Барклаю не было столь однозначным и безоговорочным.

Официальное признание его военных заслуг заключало в себе, как мы видели, характерный нюанс: при том,

что поднималось на щит участие полководца в заграничных кампаниях 1813—1814 гг., намеренно затемнялась его роль в Отечественной войне. Опала Барклая в 1812 г., вспыхнувшее против него независимо от властей общественное возбуждение, раздоры в высшем генералитете, болезненные для военно-государственного престижа царизма неудачи начального периода кампании — все это в николаевской России по соображениям охранительного порядка не поощрялось для открытого обсуждения в печати и в официальной историографии замалчивалось.

Именно этот нюанс в официальном отношении к наследию и памяти Барклая, открыто, кстати сказать, никем тогда не декларированный, это, в сущности, полупризнание его военных заслуг необыкновенно тонко и почувствовал Пушкин,— быть может, как никто другой из мыслящих людей 1830-х годов. И всей силой своего художественного гения и своей исторической проницательности он привлек к этой полузапретной теме внимание современников, приоткрыл завесу над военно-политической борьбой 1812 г. вокруг Барклая и вплотную приблизился к совсем уже потаенным его усилиям публично оправдаться перед общественным мнением страны.

Уже одно это дает нам достаточное основание внести существенный корретив в вывод Г. Коки и признать, что защита Барклая в «Полководце» и в «Объяснении» по своему объективному звучанию была все же в немалой мере направлена и против официальной точки зрения на его роль в Отечественной войне.

Но субъективно для Пушкина официальное отношение к Барклаю в ситуации 1830-х годах не было столь уж значимым, что он и выразил с предельной ясностью в «Объяснении», отводя нападки на «Полководца» Л.И. Голенищева-Кутузова. В ответ на его недоумение — о какой же жертвенности Барклая можно говорить, когда «за ревностное полезное свое служение он от щедрот государя получил все возможные награды: высшую степень по службе, титул графа, князя» и т.д., а вступление под его предводительством русских войск в 1814 г. в Париж общепризнано как «великий, приснопамятный подвиг»[33], Пушкин возражает: «Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб, вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены.

Так, но кем и когда? Конечно, *не народом и не в 1812 году*» (курсив мой.— *А.Т.*)[34].

Вот что Пушкину было более всего важно: оценка исторических заслуг своего героя не по формулярному списку, не властью, не монаршими наградами и почестями и не за участие в заграничных кампаниях, как ни блистательны были их итоги,— а народом в пору великой национальной войны. Поэтому и свою задачу (насколько вообще историко-политические установки могли входить в творческий замысел поэта) он видел в реабилитации полководца в бурных треволнениях самого 1812 г., когда трагический (хотя и относительно кратковременный, как мы теперь знаем) разлад с народом наложил неизгладимую печать на жизненное поприще и историческую судьбу Барклая.

Два пушкинских шедевра — один в стихах, другой в прозе — нравственно возвысили образ Барклая в глазах русского просвещенного общества, но тем самым они подняли на новую ступень и его собственное нравственно-историческое самосознание. И мы уверены, что, проживи Пушкин еще два с лишним года, он был бы солидарен с чеканным отзывом о полководце А.И. Тургенева в письме к брату, Н.И. Тургеневу, от 21 сентября 1839 г.: «Барклай — древний, великий характер и, следовательно, всем народам, человечеству принадлежащий»[35].

Список сокращений

АВ	—	Архив князя Воронцова.
АР	—	Архив Раевских.
Архив СПб. ИРИ	—	Архив СПб. филиала Института Российской истории РАН.
Балязин	—	Балязин В. Фельдмаршал Барклай де Толли. М., 1990.
Безотосный	—	Безотосный В.М. Французская и русская разведка и планы сторон в 1812 г. Дис. канд. ист. наук. М., 1987.
Бескровный	—	Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 года. М., 1962.
Богданович	—	Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. СПб., 1859—1860. Т. I—III.
Бутурлин	—	Бутурлин Д.П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. СПб., 1823 — 1824. Ч. I — II.
Вацуро, Гиллельсон	—	Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986.
ВД	—	1812 год... Военные дневники. М., 1990.
ВЕ	—	Вестник Европы.

ВЖ	—	Военный журнал.
ВИС	—	Военно-исторический сборник.
Висковатов	—	Висковатов А.В. М.Б. Барклай де Толли // Военная галерея Зимнего дворца. СПб., 1849., Т. V.
ВС	—	Военный сборник.
ГАРФ	—	Государственный архив Российской Федерации.
Глинка Ф.	—	Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1814—1815. Ч. 1—8.
Граббе	—	Из памятных записок графа П.Х. Граббе. М., 1873.
Греч	—	Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1930.
Давыдов	—	Сочинения Д.В. Давыдова. СПб., 1893. Т. 1.
Джоссельсон	—	Josselson M. and D. The conmander. A life of Barclay de Tolly. Oxford. New York. Toronto. Melbourne 1980.
Дубровин 1	—	Дубровин Н.Ф. Отечественная война в письмах современников (1812—1815). СПб., 1882.
Дубровин 2	—	Дубровин Н.Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (с 1807—1829). СПб., 1883.
Ермолов 1	—	Записки А.П. Ермолова. М., 1863.
Ермолов 2	—	Записки А.П. Ермолова. М., 1865. Т. 1.

Ефремов П.А.	— Сочинения А.С. Пушкина / Ред. П.А. Ефремова. 1905. Т. VIII.
ИВ	— Исторический вестник.
ИРВИО	— Императорское русское военно-историческое общество.
Казаков	— Казаков Н.И. О записках М.Б. Барклая де Толли // Военно-исторический журнал. 1974. № 4.
Клаузевиц	— Клаузевиц. 1812 год. М., 1937. 2-е изд.
Кока Г.	— Кока Г. Пушкин и полководцы двенадцатого года // Прометей. М., 1969. № 7.
Кочетков	— Кочетков А.Н. М.Б. Барклай де Толли. М., 1970.
Кутузов	— М.И. Кутузов. Сборник документов. М., 1954—1955. Т. IV. Ч. 1—2; 1956. Т. V.
Мануйлов. Модзалевский	- Мануйлов В.А., Модзалевский Л.Б. «Полководец» Пушкина // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. Т. 4—5.
Материалы ВУА	— Отечественная война 1812 года. Материалы военно-ученого архива.
МД. Описание	— Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1839. Ч. 1—4.

Миркович	— Миркович Ф.Я. 1789—1866. Его жизнеописание, составленное по собственным его запискам, воспоминаниям близких людей и подлинным документам. СПб., 1889.
Митаревский	— Воспоминания о войне 1812 года Н.Е. Митаревского. М., 1871.
МОИДР	— Общество истории и древностей Российских при Московском университете.
Муравьев	— Муравьев А.Н. Сочинения и письма. Иркутск, 1986.
Надлер	— Надлер В. Император Александр I и идея Священного союза. Рига, 1886. Т. 1.
ОА	— Остафьевский архив князей Вяземских.
ОВИРО	— Отечественная война и русское общество. М., 1912. Ч. 1—7.
ОЗ	— Отечественные записки
ОПИ ГИМ	— Отдел письменных источников Государственного исторического музея.
ОР РГБ	— Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки.
ОР РНБ	— Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки.
Переписка	— Переписка императора Александра I с сестрою великой княгиней Екатериной Павловной. СПб., 1910.

Пушкин	—	Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 16 т.
Пущин П.	—	Дневник Павла Пущина. 1812—1814. Л., 1987.
РА	—	Русский архив.
Радожицкий	—	Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год. Артиллерии подполковника И... Р... М., 1835. Ч. 1.
РБС	—	Русский биографический словарь.
РВ	—	Русский вестник.
РГАДА	—	Российский государственный архив древних актов.
РГАЛИ	—	Российский государственный архив литературы и искусства.
РГВИА	—	Российский государственный военно-исторический архив.
РГИА	—	Российский государственный исторический архив.
РИ	—	Русский инвалид.
РО ИРЛИ	—	Рукописный отдел Института русской литературы РАН.
РС	—	Русская старина.
Сб. РИО	—	Сборник Русского исторического общества.
Сб. соб. канц.	—	Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Собственной его императорского величества канцелярии.
СВМ	—	Столетие Военного министерства. 1802—1902.
СО	—	Сын отечества.

Современник — Современник. Литературный журнал, издаваемый А. Пушкиным. СПб., 1836. Факсимильное издание. М., 1987. Т. I—V.

СПб. вед. — Санкт-Петербургские ведомости.

Спч — Северная пчела.

Тарле — Тарле Е.В. Сочинения. В 12 т. М., 1959. Т. VII.

Тартаковский 1 — Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого изучения. М., 1980.

Тартаковский 2 — Тартаковский А.Г. Военная публицистика 1812 года. М., 1967.

Тартаковский 3 — Тартаковский А.Г. У истоков русской историографии 1812 года // История и историки. Историографический ежегодник. 1978. М., 1981.

Тотфалушин 1 — Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в дворянской историографии Отечественной войны 1812 года // Историографический сборник. Саратов, 1989. Вып. 14.

Тотфалушин 2 — Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года (Советская историография) // Историографический сборник. Саратов, 1984. Вып. 8(11).

Тотфалушин. Дис.	—	Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года. Дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 1986.
Тотфалушин. 1991	—	Тотфалушин В.П. М.Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года. М., 1991.
Троицкий	—	Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. М., 1988.
Фонвизин	—	Фонвизин М.А. Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2.
Харкевич 1	—	Харкевич В.И. Война 1812 года от Немана до Смоленска. Вильно, 1901.
Харкевич 2	—	Харкевич В.И. Барклай де Толли в Отечественную войну после соединения армий под Смоленском. СПб., 1904.
Харкевич. 1812	—	Харкевич В.И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вильно, 1900 — 1904. Вып. 1 — 4.
Черейский	—	Черейский Л.А. Пушкин и его современники. Л., 1988.
Чичерин	—	Дневник Александра Чичерина. 1812 — 1813. М., 1966.
Шильдер	—	Шильдер Н.К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. III.

Примечания

ВСТУПЛЕНИЕ В ТЕМУ

[1]ВИС. 1912. № 3. С. 81.

[2]Тартаковский 1. С. 243.

[3]В новейшем исследовании В.М. Безотосного и А.М. Горшмана формулярных списков Барклая установлено, что временем его рождения вероятнее всего следует полагать 1757 г., а не 1761 г., как было принято считать ранее (см.: Советские архивы. 1989. № 1. С. 37—44).

[4]Воспоминания Ф. Булгарина. СПб., 1848. Ч. 4. С. 175—176; Давыдов. С. 137; РС. 1897. № 8. С. 350.

[5]СВМ. СПб., 1903. Т. 1. С. 208—209.

[6]Ермолов 1. С. 66.

[7]Военная галерея Зимнего дворца. СПб., 1845. Ч. II. Д.С. Дохтуров. С. 143.

[8]Ермолов 1. С. 66.

[9]РО ИРЛИ, ф. 309, № 706, л. 49; Волконский С.Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 102.

[10]РА. 1892. № 4. С. 428; ОВИРО. Т. III, с. 226.

[11]Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 т. Т. 14. С. 62, 335; Т. 15. С. 88; Т. 16. С. 12; Зайденшнур Э.Е. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Создание великой книги. М., 1966. С. 346.

[12]Большевик. 1947. № 3. С. 7—8.

[13]Критическую оценку этих работ см.: Троицкий Н.А. Отечественная война 1812 года. История темы. Саратов, 1991. С. 44—52, 56—71; Родина. 1992. № 6—7; Отечественная история. 1993. № 2. С. 202—207.

[14]Гарнич Н. 1812 год. М., 1956. С. 70; Ростунов И.И. П.И. Багратион. М., 1957. С. 219—220.

[15]Жилин П.А. Контрнаступление русской армии в 1812 г. М., 1953. С. 85; Гарнич Н. Указ. соч. С. 10.

[16]Клаузевиц. С. 86.

[17]Джоссельсон. С. 1.

[18]Балязин В.Н. Фельдмаршал Барклай. М., 1992. С. 26—30, 33—34.

[19]Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 187. (см. также: Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1928. Т. II. С. 187); ГАРФ, ф. 1153, оп. 1, д. 41, л. 11а—19.

[20]РС. 1875. № 7. С. 336; Русская литература. 1990. № 1. С. 162.

[21]Джоссельсон. С. 208.

[22]Гарнич Н. Указ. соч. С. 101.

[23]Там же.; Жилин П.А. Указ соч. С. 87—88.

[24]Тартаковский 2. С. 13—52; Троицкий. С. 123—124.

[25]Об историографии барклаевской темы см.: Тотфалушин 1. С. 34—49; Тотфалушин 2. С. 100—123.

[26]Висковатов.

[27]Богданович. Т. 1.

[28]Балязин. С. 298; Воспоминания Ф. Булгарина. Ч. IV. С. 163.
[29]Тотфалушин 2. С. 122.
[30]Джоссельсон.
[31]Висковатов. С. 69.
[32]Тотфалушин. Дис. С. 4; Балязин. С. 301.
[33]Джоссельсон. С. 220—226.
[34]Тартаковский А.Г. 1812 год глазами современников // ВД. С. 8—9.

ГЛАВА I
«СТОИЧЕСКОЕ ЛИЦО БАРКЛАЯ...»

[1]Современник. Т. III. С. 192—194.
[2]Тартаковский 1. С. 186—205.
[3]Пушкин. Т. XVI. С. 122.
[4]Современник. Т. IV. С. 303.
[5]Там же. Т. III. С. 314; Т. IV. С. 301, 302.
[6]Петрунина Н.Н. «Полководец» // Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974. С. 278—305; Вацуро, Гиллельсон. С. 316—327; Старк В.П. К истории создания стихотворения «Полководец» // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1988. Вып. 22. С. 149—158.
[7]Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969. С. 392—393.
[8]Пушкин. Т. XVI. С. 163—164.
[9]Там же.
[10]Кока Г.С. 7.
[11]Булгарин Ф.В. П.И. Выжигин. СПб., 1831. Ч. II. С. 269; Ч. III. С. 76.
[12]Вацуро, Гиллельсон. С. 320.
[13]Греч. С. 349.
[14]РС. 1873. № 2. С 137.
[15]Гиллельсон М.И. Отзыв современников о «Пире Петра Первого» Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1963. С. 49—51.
[16]Спч. 1837. № 7. 11 января.
[17]Ефремов П.А. С. 361—362.
[18]Граббе. С. 10—11.
[19]Греч. С. 353.
[20]Мануйлов, Модзалевский. С. 152.
[21]Ефремов П.А. С. 364—367.
[22]Пушкин. Т. III. С. 379.
[23]Трофимов И. «Полководец» // Прометей. М., 1974. № 10. С. 194—200; Старк В.П. Указ. соч. С. 157—158.
[24]Петрунина Н.Н. Указ. соч. С. 301.
[25]Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов. Сочинение сира Вальтера Скотта. СПб., 1832. Ч. IX. С. 297, 301, 303, 387—339.
[26]Московский телеграф. 1833. Май. № 9. С. 139; Тартаковский 1. С. 195—197.
[27]Энциклопедический лексикон. СПб., 1835. Т. IV. С. 356—359.
[28]Пушкин. Т. III. С. 267.
[29]Там же. Т. VI. С. 522.
[30]Там же. Т. VIII. С. 155.
[31]Там же. Т. III. С. 416.
[32]Современник. Т. IV. С. 295—295.
[33]Кока Г.С. С. 28; Петрунина Н.Н. Указ. соч. С. 278.
[34]Тарле Е.В. Книга о Лермонтове // Литературная газета. 1951. № 145. 8 декабря.

[35]Спч. 1837. № 7. 11 января.

[36]Пугачев В.В. Пушкин и 1812 год (К истолкованию «Полководца») // Проблемы истории, культуры, литературы, социально-экономической мысли. Межвузовский научный сборник. Саратов, 1984. С. 176—180.

[37]РА. 18В2. Кн. 1. Тетрадь 1 и 2. С. 245.

[38]Мануйлов, Модзалевский. С. 164; Андроников И. Лермонтов. Новые разыскания. М., 1948. С. 79—112; Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961. С. 325—326; Тарле Е.В. Указ. соч.; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 81; Висковатов П.А. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1987. С. 91—93.

[39]ОА. Т. III. С. 334; Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 85.

[40]РА. 1870. Ст. 1262—1263.

[41]Иванов-Разумник. Н.И. Греч и его записки // Греч. С. 31.

ГЛАВА II
«РОПТАЛ НАРОД...»

[1]РС. 1893. № 12. С. 514.

[2]См., например, ОВИРО. Т. III. С. 92; Тарле. С. 495; Троицкий. С. 93—94.

[3]РС. 1909. № 9. С. 492.

[4]Ермолов 1. С. 58—59.

[5]Муравьев. С. 89; РА. 1885. № 9. С. 48—49, 81; Фонвизин. С. 160—161; РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, 92541, л. 1.

[6]Тарле. С. 496.

[7]ВИС. 1912. № 2. С. 121; Архив П.Н. Симанского. СПб., 1912. Вып. II. С. 3.

[8]ВИС. 1912. № 2. С. 121—150; № 3. С. 215—226; № 4. С. 151—178; 1913. № 1. С. 147—170; № 2. С. 157—172; № 3. С. 137—146; № 4. С. 127— 134.

[9]Архив П.Н. Симанского. Вып. 2. С. 20—25.

[10]Пущин П. С. 45—57.

[11]Миркович. С. 28—87.

[12]ВД. С. 195—212.

[13]Там же. С. 132—140.

[14]ВЕ. 1874. № 8. С. 582—588.

[15]РС. 1912. № 6. С. 607—614. № 7. С. 134—143.

[16]Саратовский исторический сборник. Саратов, 1891. Т. 1.

[17]Киевская старина. 1894. № 7. С. 451—455.

[18]Мурзакевич Н.А. История города Смоленска. Смоленск, 1903. Приложение. С. 53—69.

[19]РС. 1912. № 6. С. 136—137.

[20]РА. 1910. № 8. С. 616.

[21]Липранди И.П. Война 1812 года. Замечания на книгу «История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Соч. г.-м. М. Богдановича». М., 1869. Ч. 1. С. 3.

[22]РА. 1881. III(I). С. 68.

[23]Митаревский. С. 34.

[24]Граббе. С. 41.

[25]АВ. М., 1882. Кн. 23. С. 152.

[26]Галерея гравированных портретов генералов, офицеров и проч... Тетрадь 2. СПб., 1813.

[27]Ушаков С. Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с французами в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. СПб., 1822. Т. 1. С. 137.

[28]Спч. 1818. № 73. 11 сентября.
[29]Радожицкий. Ч. 1. С. 45, 49, 58, 59.
[30]РА. 1887. № 2. С. 211.
[31]РС. 1900. № 11. С. 358; № 12. С. 561.
[32]Миркович. С. 52.
[33]Харкевич. 1812. Вып. 1. С. 9.
[34]А.П. Ермолов. Материалы для его биографии, собранные М. Погодиным. М., 1864. С. 445.
[35]Историческое описание войны 1812 года. СПб., 1813. С. 59—60.
[36]Записки графа Е.Ф. Комаровского. СПб., 1914. С. 199.
[37]РС. 1909. № 9. С. 492.
[38]РА. 1885. № 10. С. 244.
[39]Радожицкий. Ч. 1. С. 131, 170—171.
[40]Висковатов. С. 59—60, 69; РС. 1893. № 11. С. 344; ВИС. 1912. № 2. С. 61; Тарле. С. 261; Манфред А. Наполеон Бонапарт. М., 1971. С. 634; Казаков. С. 102, 103.
[41]ПСЗ 1. Т. 32. С. 43—44.
[42]Кочетков. С. 21.
[43]РС. 1912. № 7. С. 158—163.
[44]РС. 1909. № 6. С. 52.
[45]Ермолов 1. С. 27.
[46]Переписка. С. 88.
[47]Архив СПб. ИРИ, ф. 16, оп. 1, карт. 2, пакет 15, № 1, л. 31.
[48]РА. 1892. № 6. С. 191.
[49]РА. 1905. № 8. С. 516.
[50]ВС. 1902. № 4. С. 231.
[51]Шильдер. С. 38, 368.
[52]РС. 1900. № 11. С. 341, 351—352.
[53]Харкевич 2. С. 13.
[54]Труды ИРВИО. 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 25.
[55]РС. 1893. № 11. С. 343.
[56]Труды ИРВИО. 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 25.
[57]Клаузевиц. С. 67.
[58]Ермолов 1. С. 73.
[59]РГВИА, ф. ВУА, д. 468, л. 1—9; Переписка. С. 85, 101—102; Вел. кн. Николай Михайлович. Императрица Елизавета Алексеевна, супруга императора Александра I. СПб., 1909. Т. II. С. 257—258; РА. 1911. № 1. Внутр. обложка; Грибанов В.К. Багратион в Петербурге. Л., 1979. С. 147—148, 206—207.
[60]ВС. 1864. № 11. С. 6; Воспоминания Ф. Булгарина. Ч. 4. С. 176—177.
[61]Генерал Багратион. Сб. док. и матер. М., 1945. С. 130—138.
[62]Пугачев В.В. К вопросу о первоначальном плане войны 1812 г. // 1812 год. К стопятидесятилетию Отечественной войны: Сб. статей. М., 1962. С. 49; Бескровный. С. 165—167, 171, 173; Троицкий. С. 41—42.
[63]Ермолов 1. С. 8.
[64]РА. 1881. III(I). С. 179.
[65]РС. 1885. № 9. С. 396—397.
[66]РС. 1912. № 7. С. 161.
[67]Дубровин 1. С. 91.
[68]Генерал Багратион. С. 190—191; Материалы ВУА. Т. XIV. С. 17; Ермолов 2. Приложение. С. 170.
[69]Дубровин 1. С. 91; Ермолов 2. Приложения. С. 171.
[70]Ермолов 2. Приложения. С. 170—171.
[71]Давыдов. С. 133.
[72]Троицкий. С. 94.

[73]Давыдов. С. 134; Воспоминания Ф. Булгарина. Ч. 4. С. 172.
[74]Ермолов 2. Приложения. С. 170; Ермолов 1. Приложения. С. 97; Материалы ВУА. Т. XVI. С. 217, 224—225; Дубровин 1. С. 73, 75, 96.
[75]МД. Описание. Ч. 1. С. 148—149.
[76]ВС. 1902. № 2. С. 221.
[77]Бутурлин. Ч. II. С. 348—350.
[78]Генерал-квартирмейстер К.Ф. Толь в Отечественной войне. [СПб.], 1912. С. 195.
[79]Жилин П. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974. С. 115—116.
[80]Тарле. С. 495—496.
[81]Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1959. Т. 14. С. 93.
[82]Тартаковский А.Г. Труд К.Ф. Толя об Отечественной войне1812 г. // Исторические записки. М., 1970. Т. 85. С. 368—428; Жомини А. Политическая и военная жизнь Наполеона. СПб., 1840. 2-е изд. Ч. 5. С. 276—331.
[83]Родина. 1992. № 6—7. С. 46.
[84]Военная энциклопедия. М., 1911. Т. IV. С. 355.
[85]Богданович. Т. 1. С. 104—105; Пугачев В.В. Толстой об отступлении русской армии в 1812 г. и историческая действительность // Л.Н. Толстой. Статьи и материалы. Горький, 1963. V. С. 200; Балязин. С. 71.
[86]РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 123, л. 5—8; Родина. 1992. № 6—7. С. 46—47; Корнилова А.В. Мир альбомного рисунка. Л., 1990. С. 198—201.
[87]Военная энциклопедия. Т. IV. С. 395; Балязин В.Н. М.Б. Барклай де Толли // Герои 1812 года. М., 1987. С. 14—15.
[88]Материалы ВУА. Т. I. Ч. 2. С. 1—3; Харкевич 1. С. 77.
[89]Ярков Ив. Мысли и замечания о плане отступления русских войск внутрь империи при нашествии Наполеона // Чтения в МОИДР. 1867. Кн. IV. С. 27.
[90]Тарле. С. 468.
[91]Бескровный. С. 168—169.
[92]Безотосный. С. 117—119.
[93]РС. 1883. № 3. С. 540.
[94]РГВИА, ф. ВУА, д. 16876, л. 143—165.
[95]Там же, ф. 474, д. 14, л. 2, 4, 6, 7.
[96]Надлер. С. 181.
[97]РС. 1893. № 1. С. 179.
[98]Шильдер. С. 79.
[99]РС. 1893. № 1. С. 97.
[100]Переписка. С. 91.
[101]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 474.
[102]Труды ИРВИО. 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 3.
[103]Материалы ВУА. Т. XVIII. С. 275.
[104]ВИС. 1912. № 3. С. 200, 204.
[105]Безотосный. С. 129.
[106]ВС. 1902. № 1. С. 183—188; № 4. С. 36—38.
[107]РС. 1900. № 11. С. 351.
[108]Сб. соб. канц. СПб., 1913. Вып. 14. Ч. 1. С. 23.
[109]Там же. 1889. Вып. 2. С. 414; Дубровин 1. С. 98.
[110]Харкевич 2. С. 8.
[111]Харкевич. 1812. Вып. 1. С. 184.
[112]Тотфалушин. Дис. С. 63—64.
[113]Сб. соб. канц. Вып. 14. Ч. 1. С. 20.
[114]РС. 1900. № 12. С. 571.
[115]Там же. 1885. № 9. С. 403—407.

[116]Там же. 1889. № 12. С. 686.
[117]Давыдов. С. 133—134.
[118]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 474.
[119]Родина. 1992. № 6—7. С. 46.
[120]Харкевич. 1812. Вып. 2. С. 85.
[121]Граббе. С. 13.
[122]РС. 1900. № 11. С. 341.
[123]Муравьев. С. 88—89.
[124]РС. 1912. № 9. С. 312.
[125]Липранди И.П. Указ. соч. С. 3.
[126]РС. 1885. № 9. С. 397—398.
[127]ВД. С. 31—48, 77.
[128]РС. 1900. № 11. С. 352.
[129]Троицкий. С. 106—108.
[130]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 25; Материалы ВУА. Т. 19. С. 374.
[131]АВ. Кн. 23. С. 152.
[132]Давыдов. С. 134.
[133]Троицкий. С. 120.
[134]Муравьев. С. 102—103; Фонвизин. С. 161.
[135]Давыдов Д. Военные записки. М., 1940. С. 362.
[136]Пушкин. Т. 8. С. 445; Т. 12. С. 330.
[137]Ермолов 1. С. 90—91.
[138]Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 111. С. 363.
[139]Давыдов. С. 134.
[140]РС. 1893. № 11. С. 350.
[141]Кавтарадзе А.Г. Генерал А.П. Ермолов. Тула, 1977. С. 32; Балязин В.Н. М.Б. Барклай де Толли // Герои 1812 года. С. 29.
[142]Чтения в МОИДР. 1861. Кн. III. С. 217; Сочинения Д.В. Давыдова. М., 1860. Ч. 1. Приложения к партизанскому дневнику. С. 185; РС. 1960. № 11. С. 341; Муравьев. С. 95—96.
[143]Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 27.
[144]РО ИРЛИ, ф. 265, вп. 2, № 123, л. 1.
[145]РС. 1912. № 8. С. 182.
[146]Кочетков. С. 54.
[147]Муравьев. С. 102.
[148]А.П. Ермолов. Материалы для его биографии... С. 445—446.
[149]Чтения в МОИДР. 1861. Кн. III. С. 217—219, 221—222; Вел. кн. Николай Михайлович. Император Александр I. Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Т. 1. С. 119—120.
[150]Харкевич. 1812. Вып. 1. С. 184.
[151]Ермолов 2. Приложения. С. 175.
[152]Материалы ВУА. Т. XVI. С. 217.
[153]Дубровин 1. С. 96, 99; РА. 1892. № 3. С. 444.
[154]Дубровин 1. С. 97; 1812—1814. Из собрания Государственного исторического музея. М., 1992. С. 168.
[155]Муравьев. С. 103; Тарасова В.М. Россия и русские (Н.И. Тургенев о России 30—50 годов XIX в.) // Ученые записки Марийского Гос. пед. ин-та. Йошкар-Ола. 1965. Т. 27. С. 142.
[156]Дубровин 1. С. 97.
[157]Ермолов 2. Приложения. С. 176.
[158]Русский биографический словарь. Т. Ибак—Ключарев. СПб., 1897. С. 423—438; РА. 1892. № 4. С. 434.

[159]Материалы ВУА. Т. XVIII. С. 220—221.
[160]Генерал Багратион. С. 219; Ермолов 2. Приложения. С. 176; Дубровин 1. С. 97.
[161]РС. 1889. № 12. С. 686; РА. 1892. № 8. С. 434—435.
[162]Материалы ВУА. Т. XIV. С. 259—261; Сб. соб. канц. Вып. 2. С. 417.
[163]РС. 1893. № 12. С. 514—515.
[164]Граббе. С. 40; Родина. 1992. № 6—7. С. 46.
[165]Архив СПб. ИРИ ф. 16, оп. 1, карт. 8, пакет 229, № 40; Дубровин 1. С. 101; РС. 1889. № 12. С. 693; Материалы ВУА. Т. 5. С. 74; Ермолов 1. Приложение. С. 100—101; Дубровин 1. С. 81—82.
[166]Граббе. С. 57; ОР ГБЛ, ф. 53, карт. 1, № 20, л. 73 об.
[167]РА. 1887. № 2. С. 214—215; Давыдов Д. Военные записки. С. 353, 358.
[168]Балязин. С. 76.
[169]Харкевич 2. Приложение. С. 4—5. Ермолов 2. С. 147.
[170]ИВ. 1892. № 7. С. 65.
[171]РС. 1889. № 12. С. 677; 1912. № 7. С. 92.
[172]Граббе. С. 68.
[173]Надлер. С. 219.
[174]РС. 1893. № 2. С. 519.
[175]Муравьев. С. 103; РА. 1884. № 1. С. 166—167; РС. 1912. № 10. С. 128—129.
[176]Муравьев. С. 103.
[177]Харкевич 2. С. 19—21.
[178]Миркович. С. 55; РС. 1874. № 8. С. 651.
[179]Материалы ВУА. Т. XVI. С. 69; РА. 1887. № 2. С. 214.
[180]Муравьев. С. 104.
[181]ОВИРО. Т. III. С. 204; РГВИА, ф. ВУА, д. 3918, л. 149.
[182]РС. 1897. № 9. С. 612.
[183]Материалы ВУА. Т. XVI. С. 217; Дубровин 1. С. 97.
[184]РС. 1893. № 11. С. 349; № 12. С. 514; Граббе. С. 41.
[185]Тарле. С. 495.
[186]ВЖ. 1848. № 1. С. 45; Фонвизин. С. 161—162; Муравьев. С. 96; РА. 1885. № 9. С. 49.
[187]Ермолов 1. С. 58—59; Тарле. С. 495; Давыдов. С. 142—143.
[188]Пущин П. С. 51—52.
[189]Граббе. С. 68; Митаревский. С. 41—42, 47.
[190]РА. 1881. III(I). С. 180.
[191]РС. 1874. № 8. С. 651.
[192]Пресняков А.Е. 14 декабря 1825 года. М., 1926. С. 83; Азадовский М.К. Воспоминания В.Ф. Раевского // Лит. наследство. М., 1956. Т. 60. Кн. 1. С. 63—64; Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. С. 99; Лит. наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 99; Герцен А.И. Соч.: В 30 т. Т. VIII. С. 63, 79.
[193]Пушкин. Т. 13. С. 247.
[194]Давыдов. С. 138.
[195]РИ. 1849. № 93. 11 мая; Граббе. С. 40.
[196]Экштут С.А. Чурбан-паша // Родина. 1991. № 5. С. 83—87.
[197]АВ. Кн. 37. С. 230; Пущин П.С. 58; Чичерин. С. 87. Родина. 1992. № 6—7. С. 46.
[198]Москвитянин. 1843. № 2. С. 510; РС. 1892. № 8. С. 444. Дубровин 1. С. 90; РА. 1900. № 5. С. 32, 33.
[199]ВД. С. 140; ВЕ. 1874. № 8. С. 494

[200]Сочинения Державина. СПб., 1871. Т. 6. С. 241; РА. 1912. № 4. С. 492.

[201]АР. СПб. 1908. Т. 1. С. 171.

[202]Генерал Багратион. С. 190—191; Ермолов 2. Приложения. С. 170; АВ. Кн. 23. С. 153.

[203]РС. 1885. № 9. С. 403.

[204]Там же. 1889. № 12. С. 686; Ермолов 1. С. 59; ВЖ. 1848. № 1. С. 45.

[205]АВ. М., 1891. Кн. 37. С. 231.

[206]Чичерин. С. 87; ИВ. 1884. № 8. С. 283.

[207]Митаревский. С. 46—47.

[208]Харкевич. 1812. Вып. 2. С. 88; ВС. 1865. № 7. С. 194; 1891. № 11. С. 319—321.

[210]Материалы ВУА. Т. XVI. С. 59.

[211]Архив СПб. ИРИ, ф. 16, оп. 1, карт. 8, пакет 229, № 38.

[212]Дубровин 1. С. 94—95; Архив СПб. ИРИ, ф. 16, оп. 1, карт. 8, пакет 229, № 39.

[213]ВЕ. 1874. № 8. С. 596.

[214]РС. 1889. № 12. С. 694.

[215]Атеней. 1858. № 8. С. 532; РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 707.

[216]РС. 1901. № 1. С. 111; ВС. 1865. № 7. С. 198.

[217]Пантеон. 1853. № 7. С. 8—9.

[218]Сб. РИО. СПб., 1890. Т. 73. С. V—VI.

[219]Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 2.

[220]РА. 1872. № 9. С. 38; Митаревский. С. 47; ВЖ. 1848. № 1. С. 45.

[221]Родина. 1992. № 6—7. С. 46; Воспоминания Ф. Булгарина. Ч. 5. С. 163, 176—177.

[222]РА. 1885. № 10. С. 246; ИВ. 1890. № 10. С. 155; Записная книжка графа П.Х. Граббе. М., 1888. С. 479.

[223]Родина. 1992. № 6—7. С. 47; РА. 1875. № 1. С. 31.

[224]Давыдов. С. 138.

[225]РА. 1895. № 11. С. 350.

[226]Дубровин 1. С. 94—95; Атеней. 1858. № 8. С. 532; Фонвизин. С. 161.

[227]Фонвизин. С. 160; Граббе. С. 40; Клаузевиц. С. 85.

[228]РА. 1912. № 4. С. 492; АВ. Кн. 23. С. 160; Миркович. С. 55; Архив СПб. ИРИ, ф. 16, карт. 8, пакет 229, № 39.

[229]РС. 1893. № 12. С. 509; АВ. Кн. 23. С. 160.

[230]МД. Описание. Ч. 1. С. 423—425; Лотман Ю.М. Тарутинский период Отечественной войны и развитие русской общественной мысли // Уч. зап. Тарт. ун-та. 1963. Вып. 139. С. 13—14; 1812 год в песнях. М., 1912. С. 21; РС. 1912. № 10. С. 13; 1885. № 9. С. 402.

[231]Тарле. С. 497, 631—632; Ливчак Б.Ф. Народные ополчения в вооруженных силах России 1806—1856 гг. // Уч. труды Свердл. юрид. ин-та. 1961. Т. IV. С. 59—62.

[232]РС. 1912. № 7. С. 140.

[233]Предтеченский А.В. Отражение войны 1812—1814 гг. в сознании современников // Исторические записки. Т. 31. С. 227. РА. 1912. № 4. С. 489—490.

[234]Бескровный. С. 175.

[235]РС. 1885. № 9. С. 397.

[236]АР. Т. 1. С. 171; 1812—1814. Из собрания Государственного исторического музея. С. 214.

[237]Материалы ВУА. Т. XIV. С. 83; Ермолов 2. Приложения. С. 171.

[238]РА. 1872. № 10. С. 1857.

[239]Тарле. С. 497.

[240]Граббе. С. 40; Сб. материалов по истории Прибалтийского края. Рига, 1883. Т. IV. С. 528.

[241]РС. 1873. № 8. С. 143; Чтения в МОИДР. 1912. Кн. IV (243). Отд. 2. С. 3; Архив СПб. ИРИ, ф. 16, вп. 1, карт. 8, пакет 229, № 44; Дубровин 1. С. 176—179.

[242]Записки Ф.Ф. Вигеля. М., 1892. Ч. IV. С. 33.

[243]РС. 1885. № 9. С. 393; Записки Ф.Ф. Вигеля. Ч. IV. С. 33.

[244]ОВИРО. Т. 11. С. 71—92; Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1. С. 114; Погодин М.П. Сперанский // РА. 1871. Ст. 1135. Минаева Н.В. Правительственный конституционализм и передовая общественная мысль России в начале XIX в. Саратов, 1982. С. 132—144; РС. 1912. № 8. С. 179.

[245]СВМ. СПб., 1903. Т. 1. С. 170, 183, 202, 280.

[246]ОР РГБ, ф. 53, карт. 1, № 20, л. 96.

[247]ВД. С. 61; РС. 1885. № 9. С. 353.

[248]АВ. Кн. 23. С. 149.

[249]РС. 1902. № 4. С. 35; ОР РГБ, ф. 53, № 6338, л. 907.

[250]РА. 1871. № 2. Ст. 2075—2078; РС. 1902. № 3. С. 498—500; Старина и новизна. СПб., 1904. Вып. 7. С. 138—156.

[251]АВ. Кн. 23. С. 146, 148, 153.

[252]АР. Т. 1. С. 171.

[253]АВ. Кн. 23. С. 157; РА. 1886. № 7. С. 340—341.

[254]ВС. 1860. № 4. С. 525.

[255]Надлер. С. 235, 236, 243, 248; Мануйлов, Модзалевский. С. 125, 126; Тарле. С. 551; Грибанов В.К. Указ. соч. С. 194.

[256]ОВИРО. Т. III. С. 204; Кавтарадзе А.Г. Указ. соч. С. 34.

[257]РС. 1889. № 12. С. 694; ВС. 1902. № 2. С. 283.

[258]ВИС. 1912. № 3. С. 211; Переписка. С. 86; Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 475.

[259]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 71—73; Надлер. С. 244—247.

[260]Сб. соб. канц. Вып. 14. Ч. 1. С. 34—36; Шильдер. С. 99; ОВИРО. Т. III. С. 205.

[261]Материалы ВУА. Т. XVIII. С. 220—221.

[262]РС. 1892. № 8. С. 444.

[263]Дубровин 1. С. 71; Сб. соб. канц. Вып. 14. Ч. 1. С. 23; Харкевич 2. Приложение. С. 16.

[264]АВ. Кн. 23. С. 153; Тарле. С. 553; Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 72.

[265]Клаузевиц. С. 86; РА. 1887. № 2. С. 216.

[266]Сб. соб. канц. Вып. 14. Ч. 1. С. 23—26.

[267]Харкевич 2. Приложение. С. 13—15.

[268]Клаузевиц. С. 86.

[269]Переписка. С. 82.

[270]Сб. соб. канц. Вып. 1. С. 52—53; Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 71—73.

[271]Архив СПб. ИРИ, ф. 16, оп. 1, карт. 2, пакет 15, № 1, л. 33.

[272]Кока Г. С. 20, 25.

ГЛАВА III
«НЕ УСПЕВ ОПРАВДАТЬ СЕБЯ...»

[1]РО ИРЛИ, ф. 309, № 706, л. 49 и об.

[2]Давыдов. С. 138; Висковатов. С. 68—69; Харкевич 2. С. 30; Тотфалушин. 1991. С. 80—107.

[3]Жилин П.А. Отечественная война 1812 года. М., 1988. С. 209—213; Гарнич Н. 1812 год. М., 1956. С. 241; Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 332.

[4]РС. 1901. № 1. С. 110—111.

[5]Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П.И. Щукиным. М., 1908. Ч. X. С. 183; РС. 1897. № 7. С. 123.

[6]Тартаковский 2. С. 223—226; ВД. С. 45—46, 95, 99, 102, 104, 105.

[7]Висковатов. С. 69; Харкевич 2. Приложение. С. 34, 39; Сб. соб. канц. Вып. 11. С. 38—39; ГАРФ, ф. 1463, оп. 1, д. 468, л. 1; Дубровин 1. С. 294; АВ. Кн. 35. С. 463; Марин С.Н. Полн. собр. соч. М., 1948. С. 333—334.

[8]ОПИ ГИМ, ф. 160, д. 254, л. 3.

[9]Дубровин 1. С. 129; Висковатов. С. 67.

[10]Казаков. С. 104.

[11]Материалы ВУА. Т. XIX. С. 344.

[12]Тарле. С. 699.

[13]Белинский В.Г. ПСС. М., 1953. Т. III. С. 348—349.

[14]РО ИРЛИ, ф. 309, № 318, л. 103; Харкевич 2. Приложение. С. 25; РС. 1912. № 12. С. 633.

[15]РГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV, л. 389 об.; Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 95— 96; Харкевич 2. Приложение. С. 23, 31.

[16]Висковатов. С. 61.

[17]Муравьев. С. 128—129; РГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV, л. 380 и об.; РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 123, л. 1—2.

[18]РС. 1892. № 8. С. 538; Дубровин 1. С. 128; Харкевич 2. Приложение. С. 27—28, 36.

[19]Тарле. С. 700.

[20]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 314; Кочетков. С. 66.

[21]Харкевич 2. Приложение. С. 39—43; РГВИА, ф. ВУА, д. 3492, л. 27—32 об.; Тотфалушин. 1991. С. 113—116.

[22]Сб. РИО. Т. 73. С. VI; СВМ. СПб., 1909. Т. III. Отд. 5. С. 6, 48, 485, 488; Безотосный. С. 196, 368; Тотфалушин. 1991. С. 116; РС. 1912. № 9. С. 311; № 12. С. 648; РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 123, л. 5—8; РГАДА, ф. Госархив, разр. XX, д. 384, л. 3; Эйдельман Н. Записки Беннигсена // Встреча с книгой. М., 1978. С. 301; Джоссельсон. С. 246.

[23]Тотфалушин 2. С. 101.

[24]РС. 1902. № 1. С. 109.

[25]Там же. 1885. № 9. С. 400, 403.

[26]Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 237—238.

[27]РА. 1884. № 1. С .166; 1881. III(I). С. 68; РС. 1897. № 6. С. 464.

[28]Сб. РИО. Т. 73. С. 477; АВ. Кн. 37. С. 355—356.

[29]Митаревский. С. 105.

[30]Чичерин. С. 86; АР. Т. 1. С. 180—181.

[31]Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 68, 73.

[32]Энциклопедический лексикон. СПб., 1835. Т. IV. С. 359; Бантыш-Каменский Д.Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. Ч. 3. С. 235; Висковатов. С. 47; Кока Г. С. 24.

[33]Ермолов 1. С. 70.

[34]Свербеев Д.Н. Первая и последняя моя встреча с А.С. Шишковым // РА. 1871. Ст. 170—171; Шишков А.С. Записки, мнения и переписка. Berlin, 1870. Т. 1. С. 126—140.

[35]Сб. соб. канц. СПб., 1876. Вып. 1. С. 52—53, 59; Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 13; Попов А.Н. Москва в 1812 году. М., 1876. С. 156—157.

[36]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 475.

[37]Харкевич 2. Приложение. С. 43.

[38]Там же. С. 42; РС. 1897. № 6. С. 530; Тотфалушин. Дис. С. 114.

[39]Радожицкий. Ч. 1. С. 178—180.

[40]1812 год. Воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 50, 187; Радожицкий. Ч. 1. С. 50, 187.

[41]Пугачев В.В. К форме выработки русского стратегического плана Отечественной войны 1812 // Уч. зап. Горьк. гос. ун-та. Серия историко-филологическая. 1966. Вып. 7—8. С. 627—637. См. также: Тотфалушин. 1991. С. 118—121.

[42]Пугачев В. В. Указ. соч. С. 627—632; Казаков. С. 103—106.

[43]Казаков. С. 105.

[44]РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 80, л. 193—196.

[45]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 232—234.

[46]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 2, 13.

[47]Материалы ВУА. Т. XIX. С. 344.

[48]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 5—6.

[49]Тартаковский 2. С. 56—57, 75; Он же. Журналы военных действий штаба Кутузова как летучие армейские издания // Археографический ежегодник за 1967. М., 1969. С. 185.

[50]Ермолов 2. С. 205; Шильдер. С. 99; РА. 1912. № 1. С. 48.

[51]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 115, 120, 126, 158, 159.

[52]Там же. С. 233—234; Джоссельсон. С. 160.

[53]РА. 1874. № 5. Ст. 1112.

[54]ВС. 1902. № 2. С. 223.

[55]РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 80, л. 186—192 об.; д. 102, л. 580 и об.

[56]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 2, 3—5.

[57]Материалы ВУА. Т. XIX. С. 344.

[58]Харкевич 2. Приложение. С. 34.

[59]РС. 1912. № 12. С. 648; Сб. соб. канц. Вып. 11. С. 39; РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 5.

[60]Висковатов. С. 74; МД. Описание. Ч. III. С. 27; Харкевич 2. С. 37; Кочетков. С. 67; Балязин В. М.Б. Барклай де Толли // Герои 1812 года. М., 1987. С. 41.

[61]Сб. соб. канц. Вып. 11. С. 38—39; ГАРФ, ф. 1663, оп. 1, д. 468; РС. 1912. № 8. С. 181; Джоссельсон. С. 159; Миркович. С. 65; ВД. С. 149.

[62]РА. 1900. № 3. С. 35.

[63]РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 123, л. 5—8.

[64]ОР РГБ, ф. 41, карт, 86, № 8, л. 3—4.

[65]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 12—13.

[66]Харкевич 2. Приложение. С. 28, 33, 39.

[67]АВ. Кн. 37. С. 233; РС. 1912. № 8. С. 181; № 12. С. 648; Тотфалушин. Дис. С. 120.

[68]Сб. соб. канц. Вып. 11. С. 39—40.

[69]Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 14.

[70]Там же. С. 17—67; Давыдов. С. 153—154.

[71]Богданович. Т. III. С. 328.

[72]РГВИА, ф. 154, оп. 2, д. 80, л. 202—229.

[73]Пугачев В.В. Указ. соч. С. 633.

[74]РГВИА, ф. ВУА, д. 3493, л. 8—46; РГАДА; ф. Госархив, разр. XX, д. 384, л. 3.

[75]ОР РГБ, ф. 41, карт. 86, № 8, л. 5; См.: Сб. РИО. Т. 73. С. VI; СПб. вед. 1812. № 92. 15 ноября. Второе прибавление.

[76]РС. 1912. № 11. С. 337; РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 123, л. 3.

[77]Кутузов. Т. IV. Ч. 1. С. 474—476.

[78]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 15.

[79]РС. 1896. № 3. С. 103.

[80]Харкевич 2. Приложение. С. 47; Висковатов. С. 75; Шильдер. С. 132; РС. 1896. № 3. С. 50—504.

[81]РС. 1912. № 12. С. 543; СПб. вед. 1812. № 100. 13 декабря. Первое прибавление.

[82]ОР РГБ, ф. 55, карт. 4, № 20, л. 75 об.; РО ИРЛИ, ф. 265, вп. 2, д. 123, л. 1—2; РС. 1896. № 3. С. 503—504; Джоссельсон. С. 166.

[83]РС. 1912. № 12. С. 649; РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 123, л. 5—8; Кутузов. Т. V. С. 168, 213; Шильдер. С. 139.

[84]ОР РГБ, ф. 41, карт. 86, № 8, л. 9; РС. 1872. № 5. С. 689; Кутузов. Т. V. С. 124—125; Переписка. С. 118—119; Джоссельсон. С. 166—167.

[85]ОР РГБ, ф. 41, карт. 86, № 8, л. 12.

[86]ВИС. 1912. № 3. С. 71.

[87]Висковатов. С. 75.

[88]Казаков. С. 106.

[89]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 68, 73.

[90]Кутузов. Т. IV. Ч. 2. С. 292, 322, 335, 418.

[91]РС. 1912. № 11. С. 336—337.

[92]Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 68—73.

[93]РГВИА. ф. ВУА, д. 1078, л. 19—71; «Оправдание» — л. 68—71.

[94]Там же, л. 4—14 об.

[95]ОПИ ГИМ, ф. 160, д. 254, л. 3; РГВИА, ф. 154, вп. 1, д. 99, л. 217—219.

[96]РГВИА, ф. ВУА, д. 3493, л. 2; д. 1078, л. 5 об.

[97]Джоссельсон. С. 167; Труды ИРВИО. Т. VI. Ч. 2. С. 12.

[98]Труды ИРИО. Т. VI. Ч. 2. С. 12—13.

[99]Кутузов. Т. V. С. 213—261.

[100]РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 72—80 об.

[101]Там же, л. 73 об., 74 об., 75 об.

[102]Там же, д. 3465, ч. IV, л. 80—93 об.

[103]Там же.

[104]Там же, л. 94—104 об.

[105]Там же, л. 443—448.

[106]Там же, л. 442.

[107]Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. Сб. док. М., 1964. С. XXV.

[108]ВЖ. 1859. № 1. С. 1, 6, 7, 11, 12.

[109]РГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV, л. 93 об.

[110]Там же, л. 377.

[111]Там же, д. 1078, л. 71 и об.

[112]Тартаковский А.Г. Из истории русской военной публицистики 1812 года // 1812 год. К стопятидесятилетию Отечественной войны. М., 1962. С. 240—241.

[113]Кутузов. Т. V. С. 754—755; Жизнь и военные деяния генерал-фельдмаршала светлейшего князя М.Л. Голенищева-Кутузова. СПб., 1813; Анекдоты или достопамятные сказания о его светлости генерал-фельдмаршале М.Л. Голенищеве-Кутузове Смоленском... СПб., 1814. Ч. 1—2.

[114]Тартаковский З.С. 78—80, 93; Краткое известие о жизни и подвигах генерал-майора Кульнева // СО. 1813. № 42. С. 131—135; Жизнь, характер и военные деяния храброго генерал-майора Я.П. Кульнева... СПб., 1815. Ч. 1—2; Дух генерала Кульнева или черты и анекдоты, изображающие великие свойства его... СПб., 1817.

[115]Победы графа П.Х. Виттенштейна, или Жизнь, свойства и военные деяния его. ... СПб., 1803—1805. Ч. 1—3; Военные подвиги и анекдоты

графа П.Х. Витгенштейна... М., 1814; Граф Платов и подвиги Донских воинов. М., 1813; Победы, увенчанные графа Платова и храбрых казаков... М., 1814. Ч. 1—2.

[116]В память графу А.И. Кутайсову. Соч. Де-Санглена. СПб., 1812; Известие о службе и подвигах генерала Коновницына // СО. 1813. № 27; Говоров Я.И. Последние дни жизни князя П.И. Багратиона. СПб., 1815; Воспоминания о днях и о смерти генерала И.С. Дорохова // РВ. 1815. Кн. 12. С. 77—89; О генерале Дохтурове // СО. 1817. № 2. С. 75—82.

[117]Жизнь генерала Моро, вступившего во время войны 1813 года против французов в Российскую службу. СПб., 1814; Жизнь, военные подвиги и анекдоты прусского генерал-фельдмаршала Блюхера... М., 1814. Ч. 1—3; Жизнь и военные подвиги шведского наследного принца Карла Иоанна, бывшего французского генерала Бернадота. М., 1814.

[118]Галерея гравированных портретов генералов, офицеров и проч. ... Тетрадь 2. СПб., 1813. (В действительности вышла в свет не ранее 1814 г.)

[119]Жуковский В.А. Певец во стане русских воинов. СПб.: Морская типография, 1813; То же. 2-е исправл. изд. СПб., Медицинская типография, 1813; Сочинения В.А. Жуковского. 7-е изд. СПб., 1878. Т. 1. С. 501; Стихотворения Василия Жуковского. СПб., 1815. Ч. 1. С. 25—56; Жуковский В.А. Стихотворения. (Библиотека поэта. Большая серия). Л., 1939. Т. 1. С. 364—368.

[120]ОПИ ГИМ, ф. 397, д. 20, л. 26.

[121]Современник. Т. IV. С. 297.

[122]СВМ. Т. III. Отд. 5. С. 77—78, 488; Безотосный. С. 367—368; РГВИА, ф. ВУА, д. 498, Л. 82 об.—85 об., 100 об.—102 об.

[123]РИ. 1813 № 18. СО. 1813. № 19. С. 334—337. ВЕ. 1813. Ч. 68. № 7 и 8, с. 274—279.

[124]Систематический каталог Библиотеки Главного штаба. СПб., 1879. № 8619—8621.

[125]Чуйкевич П. Рассуждения о войне 1812 года. СПб., 1813. С. 1, 6—7, 24.

[126]РГВИА, ф. 1409, оп. 1, д. 845, л. 1—2.

[127]Чуйкевич П. Указ. соч. С. 4; Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 3.

[128]См., напр., каталог личной библиотеки А.И. Михайловского-Данилевского: РО ИРЛИ, ф. 527, д. 29, л. 320.

[129]Липранди И. Опыт каталога всем изданным сочинениям по 1872 г. об Отечественной войне 1812 г. М., 1876. С. 15; Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов. М., 1956. Т. 1. С. 31.

[130]Тарле. С. 581, 817.

[131]Абалихин Б.С. О стратегическом плане Наполеона на осень 1812 года // Вопросы истории. 1985. № 2. С. 64—65.

[132]РГВИА, ф. ВУА, д. 3471.

[133]СВМ. Т. III. Отд. 5. С. 48; Дубровин 1. С. 295; РГВИА, ф. 103, оп. 208-а, св. 141, д. 31/1, л. 115.

[134]РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 102, л. 580 и об.

[135]Пугачев В.В. Указ. соч. С. 635—637; Материалы ВУА. Т. XXI. С. 375—400.

[136]Труды ИРВИО. 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 3—4.

[137]Краткое обозрение знаменитого похода российских войск против французов 1812 года. СПб., 1813. С. 19—20; 32—33.

[138]Там же. С. 19—20.

[139]РГВИА, ф. ВУА, д. 3493, л. 1—5; См.: Тартаковский 3. С. 75—79.

[140]ОЗ. 1820. № 8, с. 851—852; Соревнователь просвещения и благотворения. 1820. Ч. 9. Кн. 1. С. 113—115; СО. 1819. № 50. С. 181—184; Соц В. Опыт библиотеки для военных людей. СПб., 1826. С. 338.

[141]Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 129—132.

[142]Военная энциклопедия. М., 1911. Т. III. С. 301; Нерсисян М.Г. Отечественная война и народы Кавказа. Ереван, 1965. С. 226—230; Тартаковский 2; Березина С.В. А.С. Кайсаров и В.А. Жуковский в военной типографии при штабе Кутузова (по неопубликованным воспоминаниям Н.А. Старынкевича) // Русская литература. 1986. № 1. С. 147; Греч. С. 391.

[143]Историческое описание войны 1812 года. СПб., 1813. С. 88.

[144]Там же. С. 1—8, 33, 48—52, 55—60, 68, 85—86, 129—131, 132.

[145]Ср.: Там же. С. 55—57 и Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 69—70.

[146]Историческое описание войны 1812 года. С. 30—31, 59; Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 69, 71.

[147]Ахшарумов Д. Описание войны 1812 года. СПб., 1819. С. 11—14, 42—43, 53—57, 78, 84—85 и др.

[148]РГАДА. Госархив, разр. XI, № 1170, л. 50—51 об.

[149]ОЗ. 1820. № 8. С. 251—252.

[150]РС. 1901. № 1. С. 110.

[151]РГВИА, ф. ВУА, д. 3376, ч. 3, л. 395 об.

[152]Там же, л. 386 об., 388 об., 390, 392—393 об., 398 об.

[153]Там же, л. 398 об.—399 об.

[154]Там же, л. 393, 403 об.—404.

[155]ОПИ ГИМ, ф. 397, д. 20, л. 24.

[156]Тартаковский 3. С. 68—74; Он же. 1812 год глазами современников // ВД. С. 17—19; Он же. Н.Д. Дурново. Там же. С. 38—41; РГАДА. Госархив. разр. XI, д. 1170, л. 51 об.

[157]Глинка Ф. Ч. IV. С. 48; РС. 1874. № 2. С. 217; РГВИА, ф. ВУА, д. 3376, ч. 3, л. 401, 407, 408 об.

[158]СО. 1816. № 4. С. 139—164.

[159]Глинка Ф. Ч. IV—V; ОЗ. 1821. № 12. С. 68—69; РГАДА. Госархив, разр. XI, № 1170, л. 17, 50—51.

[160]Глинка Ф. Ч. V. С. 191—192; ОЗ. 1821. № 12. С. 68—69.

[161]Глинка Ф. Ч. V. С. 152; ВД. С. 349; РГВИА, ф. ВУА, д. 3376, ч. 3, л. 401—402, 407—408.

[162]РГВИА, ф. 35, оп. 1/242, св. 16, д. 10, л. 1.

[163]ОР РГБ, ф. 95, № 9536, л. 30; АВ. Кн. 37. С. 242.

[164]Лыжин Н.П. Знакомство Жуковского со взглядами романтической школы // Летописи русской литературы и древности. М., 1859. Кн. II. С. 65; РС. 1913. № 5. С. 437.

[165]РГАДА. Госархив, разр. XI, д. 1170, л. 10, 11, 51 об.

[166]Глинка Ф. Ч. IV. С. 42—46.

[167]Тартаковский А.Г. К изучению текста «Писем русского офицера» Ф. Н. Глинки // Источниковедение отечественной истории. 1981. М., 1982. С. 206—207.

[168]ОПИ ГИМ, ф. 397, д. 20, л. 20.

[169]Журнал ИРВИО. 1911. № 6. С. 4.

[170]РГИА, ф. 777, оп. 1, д. 164, л. 1—4.

[171]Пасенко В.А. Отечественная война в литературе на иностранных языках (1812—1813) // Библиографические известия. 1911. № 1, 2, 3.

[172]ОЗ. 1820. № 8. С. 251; СО. 1813. № 50. С. 190. РГВИА, ф. 35, вп. 1/242 св. 16, д. 10, л. 1.

[173]Бенардаки Н. и Богушевич Ю. Указатель статей серьезного содержания, помещенных в русских журналах прежних лет. Вып. 1. Сын отечества. 1812—1852. СПб., 1858. С. 1; Греч. С. 290—306.

[174]ОА. Т. 1. С. 8.

[175]Бенардаки Н. и Богушевич Ю. Указ. соч. С. 11.

[176]Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1928. Т. II. С. 28; Мейлах Б.С. Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 185—188; ГАРФ, ф. 1153, вп. 1, д. 39, л. 22—23; д. 40 л. 24—25.

[177]Колюпанов Н.П. Биография А.И. Кошелева. М., 1889. Т. 1. Кн. 1. С. 309—311; ОВИРО. Т. V. С. 140.

[178]Бенардаки Н. и Богушевич Ю. Указ. соч. С. 1.

[179]СО. 1813. № 25. С. 237—240. См.: Тартаковский А.Г. Русская армейская публицистика Отечественной войны 1812 года. Дис. ... канд. ист. наук. М., 1965. С. 526—529; Тартаковский 2.

[180]СО. 1813. № 27. С. 21—29.

[181]РГВИА, ф. ВУА, д. 3376, ч. 3, л. 384.

[182]Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П.И. Щукина. М., 1902. Ч. 10. С. 178.

[183]СО. 1813. № 40. С. 83; ОР РНБ, ф. 859, карт. 2, № 1, л. 158.

[184]СО. 1813. № 41. С. 128—129; ОР РНБ, ф. 859, карт 2, № 1, л. 158.

[185]СО. 1813. № 44. С. 258.

[186]Там же. № 9. С. 124—125; № 39. С. 42; № 50. С. 190—196.

[187]Там же. 1814. № 16. С. 145—151; № 17. С. 188—192.

[188]Там же. № 16. С. 145; № 17. С. 191—192.

[189]Масанов И.Ф. Указ. соч. Т. III. С. 7—8; Тартаковский 2. С. 43—44.

[190]РС. 1873. № 8. С. 158.

[191]Сб. РИО. Т. 73. С. I, VII.

[192]ОР РГБ, ф. 41, карт. 86, № 8; АВ. Кн. 37. С. 241.

ГЛАВА IV
ПОТАЕННАЯ СУДЬБА

[1]РГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV, л. 394 и об.

[2]Там же, д. 3590, л. 1—29; Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855. СПб., 1908. С. 529—539; Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. М., 1973. С. 296—301.

[3]РГВИА, ф. ВУА, д. 3715, л. 183—183 об., 185—203; Думин А.А. «Секретные» бумаги А.И. Тургенева // Наша старина. 1914. № 7. С. 666—671.

[4]ОР РНБ, ф. 859, карт. 9, 19.

[5]Висковатов. С. 62, 67, 68.

[6]РГВИА, ф. 410, д. 31, л. 1—7; д. 32, л. 1—2, 13; Джоссельсон. С. 208.

[7]РС. 1901. № 10. С. 136; Ширяев Н.А. О памятниках князю Кутузову и его сподвижникам // РС. 1893. № 4. С. 217, 223.

[8]РВ. 1815. Кн. 6. С. 37—44; Ушаков С. Указ. соч. Ч. 1. С. 134—158; Спч. 1818. 11 октября. № 73; Бантыш-Каменский Д.Н. Указ. соч. Ч. 3. С. 229.

[9]Исторический, статистический и географический журнал. 1827. Ч. I. Кн. 1. С. 81—82; Памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли. Скульптор Орловский. Л., 1967. С. 7—21; Шурыгин Я.И. Монументы Кутузову и Барклаю // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. М.; Л., 1958. Т. II. С. 313—328.

[10]Ефремов П.А. С. 367.

[11]«России верные сыны...» Л., 1988. Т. 1. С. 60.

[12]РВ. 1814. № 10. С. 63—65; Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1816. Т. 1. С. 369.

[13]Галерея гравированных портретов генералов, офицеров и проч... СПб., 1813. Тетрадь 2.

[14]Спч. 1818. 11 сентября. № 73; Прибавление к Русской Истории С. Глинки, или Записки и замечания о происшествиях 1812, 13, 14 и 15 годов, им самим изданные. М., 1818. Ч. 1. С. 41—42.

[15]Энциклопедический лексикон. СПб., 1835. Т. У. С. 356—359; РИ. 1836. 17 сентября. № 237; Булгарин Ф.В. П.И. Выжигин. СПб., 1831. Ч. III. С. 74, 75, 285.

[16]ОЗ. 1824. № 48. С. 72; Радожицкий. Ч. 1. С. 170—171.

[17]Бутурлин Д.П. Указ. соч. Ч. I. С. 205, 226—227, 240, 241, 250, 151; МД. Описание. Ч. 2. С. 181.

[18]ГВИА, ф. 494, д. 3, л. 4 и об.; д. 4, л. 7—80; РГИА, ф. 777, вп. 27, д. 29, л. 8; оп. 1, д. 614, л. 12.

[19]Пушкин и его современники. СПб., 1908. Вып. VI. С. 7.

[20]Вацуро, Гиллельсон. С. 322.

[21]РС. 1881. № 12. С. 887—888. Подлинник — РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 1—3 об.

[22]Кононов Ю.Ф. Из истории организации и комплектования б. Государственного архива Российской империи // Труды МГИАИ. М., 1957. Т. 8. С. 282—33; РГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 3978, л. 1.

[23]Русский биографический словарь. СПб., 1912. Т. Суворов-Ткачев. С. 288; Дубровин 2. С. 230—231, 334, 435—436, 488.

[24]ГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 3978, л. 1—2.

[25]Русский биографический словарь. 1890. Т. II. С. 268.

[26]РС. 1870. № 5. С. 499. Описание этого редчайшего издания см.: Вел. кн. Николай Михайлович. Император Александр I. Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Т. II. Приложение. С. 545. Рескрипты и записки Александра I опубликованы: Там же. С. 545—660; Рескрипты и письма Павла I см.: РС. 1873. № 4. С. 479—490.

[27]РА. 1875. № 1. С. 46; РС. 1870. № 3. С. 275; 1873. № 4. С. 477; 1882. № 10. С. 191.

[28]РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 137, л. 1 и об., 3.

[29]Там же, ф. 1, оп. 1, д. 3978, л. 6.

[30]РС. 1881. № 12. С. 888.

[31]РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 1—17.

[32]РС. 1881. № 12. С. 888.

[33]Кизеветтер А.А. Император Александр I и Аракчеев // Кизеветтер А. Исторические очерки. М., 1912. С. 384.

[34]РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 68—71.

[35]Там же, ф. 154, оп. 1, д. 80, л. 188—196, 202—229.

[36]Сигунов Н.Г. Черты из жизни графа Аракчеева // РС. 1870. № 3. С. 275—276; Последние дни и кончина графа Аракчеева. (Из рассказов отставного штабс-капитана Е.М. Романовича) // РА. 1868. Ст. 284—286, 952—956.

[37]РО ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 4618, л. 6—8; РГИА, ф. 1661, оп. 1, д. 40, 65, 66, 237.

[38]Отто Н.К. Черты из жизни графа Аракчеева // Древняя и новая Россия. 1875. № 1, 3, 4, 6, 10; ОР РГБ, ф. 53, д. 6334, л. 9—13.

[39]Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба России в начале XIX в. М., 1989. С. 10, 25.

[40]Иконников В.С. Опыт русской историографии. Киев, 1892. Т. I. Кн. 2. С. 1176—1177; Герасимова Ю.И. Архив Аракчеева // Записки ОР ГБЛ. М., 1980. Вып. 41. С. 56—80; Аннотированный указатель рукописных фондов ГПБ. Л., 1981. Вып. 1. С. 42—48; Путеводитель по фондам личного происхождения ОПИ ГИМ. М., 1967. С. 12. Путеводитель по Архиву ЛОИИ. М.; Л., 1958. С. 253—254.

[41]АВ. Кн. 23. С. 146.

[42]РС. 1896. № 3. С. 492.

[43]РА. 1866. Ст. 925—926; РС. 1874. № 5. С. 191; Русский биографический словарь. Т. 2. С. 266.

[44]РА. 1912. № 5. С. 44; РС. 1912. № 11. С. 324; ОР РГБ, ф. 41, карт. 86, 58, л. 6.

[45]Ермолов 1. С. 66—67.

[46]ГВИА, ф. 154, вп. 1, д. 99, л. 217 и об.

[47]РС. 1896. № 3. С. 492—493, 503—504.

[48]ВС. 1861. № 6. С. 334—358.

[49]«Россия и русские» Николая Тургенева. М., 1915. С. 10—11.

[50]Спч. 1837. 19 января. № 14.

[51]РС. 1897. № 8. С. 350.

[52]Там же. № 6. С. 464.

[53]Там же. 1900. № 6. С. 588.

[54]РГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV. л. 379, 381 об.; 386, 390 об., 393 об., 394.

[55]Там же, л. 396—441.

[56]Там же, д. 3708, л. 1—29 об.; д. 3672, л. 164 об.

[57]РС. 1897. № 8. С. 350.

[58]РГВИА, ф. 35, оп. 3, св. 119, д. 673, л. 1—3, 6—7; ф. 37, оп. 1/191, св. 16, д, 183, л. 1—5.

[59]Там же, ф. 37, оп. 1/191, св. 16, д. 183, л. 10 об.; ф. ВУА, д. 3493, л. 1—46.

[60]Там же, ф. ВУА, д. 3672, л. 164.

[61]Тартаковский 1. С. 204—211.

[62]РГВИА, ф. ВУА, д. 3379, л. 34.

[63]Богданович. Т. 1. С. 486—489.

[64]ВЖ. 1859. № 1. С. 1—12.

[65]Рудаков В.Е. Учено-литературная деятельность Н.Ф. Дубровина // ИВ. 1904. № 8. С. 549.

[66]Дубровин 1. С. 287—294.

[67]РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 80.

[68]Предтеченский А. О перлюстрации писем в начале XIX века // Красный архив. 1927. 6 (25). С. 201—206; Тарле. С. 640—643; РГВИА, ф. ВУА, д. 3593, л. 10, 17, 39—43, 58—62.

[69]ИВ. 1883. № 6. С. 683.

[70]Известия Академии наук. СПб., 1914. 5 серия. № 2. С. V.

[71]ВИС. 1913. № 1. С. 195.

[72]Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 3—6.

[73]Журнал ИРВИО. 1911. № 1. С. 1—8.

[74]Труды ИРВИО. 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 68—73.

[75]Казаков. С. 103, 106. См.: Тотфалушин 1. С. 49; Балязин. С. 213.

[76]Труды ИРВИО. 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 73.

[77]Чтения в МОИДР. 1858. Кн. IV. Отд. 2. С. 1—32.

[78]Богданович. Т. III. С. 528.

[79]РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 80, л. 188—196 («Объяснение»); л. 202—229 («Изображение»).

[80]Харкевич 1. 2.

[81]Харкевич 2.

[82]РА. 1893. № 7. С. 305—368; № 8. С. 449—542.

[83]Там же. № 8. С. 468—496.

[84]Изображение военных действий 1812-го года. Сочинения Барклая де Толли. М., 1912.

[85]Материалы ВУА. СПб., 1911. Т. XVIII. С. 171—194. Ср.: РГВИА, ф. ВУА, д. 3708, л. 2—29 об.

[86]ВИС. 1912. № 3. С. 100.

[87]Казаков. С. 107.

[88]Труды ИРВИО. 1912. Т. VI. Кн. 2. С. 17—67. Ср.: РГВИА, ф. ВУА, д. 3493, л. 8—46.

[89]РГВИА, ф. ВУА, д. 3590, л. 1—28 об.

[90]Пушкин. Т. 1. С. 99.

[91]Вяземский П.А. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 36.

[92]«Россия и русские» Николая Тургенева. Ч. 1. С. 50.

[93]Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. От рукописи к книге. М., 1991. С. 207—210.

[94]ОР РНБ. Собрание автографов А.Д. Бестужева-Рюмина, л. 6—21. См.: Чтения в МОИДР. 1859. Кн. II: Смесь. С. 65—89, 163—178.

[95]РА. 1893. № 8. С. 523.

[96]Пушкин. Т. 6. С. 523.

[97]Базанов В. Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 63, 402; РА. 1893. № 7. С. 305; № 8. С. 522, 524, 525, 527, 529, 535.

[98]Тартаковский 1. С. 210—212.

[99]РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 68—71 об., 72—80 об.; д. 3465, ч. IV, л. 80—93.

[100]ОР РНБ, ф. 859, карт. 10, № 6; ОПИ ГИМ, ф. 160, д. 304, л. 51—58.

[101]Архив СПб. ИРИ, ф. 226, оп. 1, д. 334, л. 1—11.

[102]РГВИА, ф. ВУА, д. 3574, ч. 11, л. 170—179 об.

[103]ОР РНБ, ф. 859, карт. 10, № 6.

[104]ГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV, л. 80—93.

[105]Там же, д. 3574, ч. II, л. 170 и об.

[106]Там же, л. 171 об., 173 и об., 178 об.—179.

[107]PC. 1913. № 2. С. 411.

[108]Труды ИРВИО. Т. IV. Кн. 2. С. 68—73.

[109]РГАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 233, л. 100—106 об.

[110]ОР РГБ, ф. 150, карт. III, № 8, л. 3—8 об.

[111]РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 71 об.

[112]СВМ. Т. 3. Отд. 5. С. 477, 904; РГВИА, ф. 103, вп. 208а, св. 126, д. 9, л. 404—406; св. 141, д. 31/1, л/ 2—5; Писарев А.А. Военные письма и замечания... М., 1817. Ч. 2. С. 159; Колюпанов Н.П. Указ. соч. М., 1889. Т. 1. Кн. 2. С. 414; Койленский И. Змия и муравей. СПб., 1812.

[113]РГВИА, ф. 154, д. 98, л. 653—654, 712, 786.

[114]Nам же, л. 725 об.

[115]Там же, ф. ВУА, д. 1078, л. 71 и об.

[116]РГАЛИ, ф. 349, оп. 1, д. 107, л. 8—11 об.

[117]ОР РНБ, ф. 859, карт. 9, № 19.

[118]РГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV, л. 442—448.

[119]Там же, л. 80—93 об.; 94—104 об.

[120]РГВИА, ф. ВУА, д. 3708, л. 1—29 об.; д. 3474, ч. 11, л. 133—169 об.; д. 3465, ч. IV, л. 396—413; 414—441; д. 3590, л. 1—28 об.; д. 3571, л. 1—71; д. 3715, л. 185—203; д. 3638, л. 1—24; ф. 154, оп. 1, д. 81, л. 11—46; ф. 194, оп. 1, д. 25, л. 1—23 об., 24—56 об.; ф. 204, оп. 1, д. 7, л. 1—42; ф. 192, оп. 1, д. 22, л, 1—17; РГАДА, ф. 1406, оп. 1, д. 233, л. 1—28, 29—84, 88—99 об.; д. 1043, л. 1—23; ф. 181, д. 528, л. 1—66; РГАЛИ, ф. 141, оп. 2, д. 5, л. 49— 60 об.; ф. 88, оп. 2, д. 5; РГИА, ф. 1075, вп. 1, д. 227, л. 2—29 об.; ф. 1661, д. 196, л. 1—об.; ф. 1101, оп. 1, д. 299, л. 1—25; Архив СПб. ИРИ, ф. 226, оп. 1, д. 70, л. 1—35 об., 37—52; д. 333, л. 1—27; ОР РНБ, ф. 830, Т. IV, л. 1—24; ф. 550 (ОСРК), F.XVII.39, л. 141—169, F.IV. 280, л. 1—24;

F.IV. 908, л. 1—20; F.IV.482, л. 173—200, 247—275; Q.IV.54, л. 1—38; ф. 274, д. 6, л. 120—143; Ф. Колобова, д. 742, л. 1—49; ф. 523, д. 1025, л. 1—14; ОР РГБ, ф. 319, карт. 5, № 35; ф. 150, карт. 3, № 8, л. 1—23; ф. 99, карт. 16, № 3, л. 1—39 об.; ф. 231, III. Карт. 25, № 8, л. 1—22 об.; ф. 235, карт. 17, № 20; ф. 233, карт 8, № 27, л. 1—49; № 28, л. 1—19; ф. 607, карт. 1, № 8, л. 3—32; ф. 201, № 5, л. 147а—173; ОПИ ГИМ, ф. 455, д. 68; Ф. 440, д. 939, л. 2—33; ф. 17, оп. 2, д. 347, л. 46—81. Всесоюзный музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, ф. 52, д. 25; Список из собрания автора с водяными знаками бумаги «1817».

[121]Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. СПб., 1992. С. 475.

[122]РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 81, л. 11—46.

[123]Архив СПб. ИРИ, ф. 226, оп. 1, д. 70, л. 39; д. 333, л. 5; РГВИА, ф. 154, оп. 1, д. 81, л. 11. Смягченная редакция этого текста присутствует и в списке А.И. Мартоса.

[124]Чтения в МОИДР. 1858. Кн. IV. С. 6.

[125]Булгарин Ф.В. П.И. Выжигин. Т. II. С. 269; Т. III. С. 285.

[126]РА. 1875. № 1. С. 30.

[127]Сушков Н.В. Из записок о времени Александра I // ВЕ. 1867. № 6. С. 192.

[128]РА. 1893. № 8. С. 468.

[129]Знамя. 1987. № 8. С. 188—190.

[130]РВ. 1819. № 5 и 6. С. 9—10; Ср.: Труды ИРВИО. Т. VI. Кн. 2. С. 57, 59.

[131]РГВИА, ф. ВУА, д. 3465, ч. IV, л. 414—441.

[132]Записки о походах 1812 и 1813 годов от Тарутинского сражения до Кульмского боя. СПб., 1834. Ч. I. С. 148, 149, 154; ОР РНБ, ф. 531, д. 756, л. 98 об.—99. См.: Тартаковский 1. С. 46—48.

[133]ОР РГБ, ф. 607, карт. 1, д. 8, л. 2—32.

[134]РГВИА, ф. 194, оп. 1, д. 25, л. 25 об., 28 и об.; 50 об.

[135]Давыдов. С. 139.

[136]РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л, 55—56.

[137]РГАДА. Госархив, разр. XI, № 1170, л. 9, 49—50 об.

[138]РГВИА, ф. ВУА, д. 1078, л. 5 об.

[139]РГАДА. Госархив, разр. XI, № 1170, л. 50 об.

[140]ВИС. 1912. № 3. С. 210—211.

[141]РГАДА. Госархив, разр. XI, № 1170, л. 50 об.—51; Тартаковский 1. С. 75—76, 156—157.

[142]ОПИ ГИМ, ф. 231, д. 3, л. 17.

[143]Сб. РИО. Т. 73. С. 275.

[144]Там же. С. 290—291, 297.

[145]Казаков. С. 107.

[146]РГВИА, ф. ВУА, д. 3708, л. 1—29 об.; д. 3474, ч. 11, л. 133—169 об.; д. 3465, ч. IV, л. 414—441; ф. 154, оп. 1, д. 81, л. 11—46; ф. 194, оп. 1, д. 25, л. 24—56 об.; Архив СПб. ИРИ, ф. 226, оп. 1, д. 70, л. 37—52; ОР РНБ, ф. 830, т. IV, л. 1—24; Список из собрания автора с вод. зн. бумаги «1817».

ВОЗВРАЩАЯСЬ В 30-е. ВМЕСТО ЭПИЛОГА

[1]Тартаконский 2. С. 12—45.

[2]Кока Г. С. 37.

[3]Вацуро, Гиллельсон. С. 319.

[4]Голенищев-Кутузов Л. Воспоминание 16-го апреля 1838 года. СПб., 1838. С. 6.

[5]РА. 1866. Ст. 1117.

[6]Мануйлов, Модзалевский. С. 128.

[7]Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 266; Пушкин. Т. 12. С. 318, 323—324; Черейский. С. 44, 416.

[8]Кока Г. С. 18; Вацуро, Гиллельсон. С. 317.

[9]Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1983. С. 19; Пушкин. Т. 8. С. 445—446.

[10]Шторм Г.П. Новое о Пушкине и Карамзине // Известия ОЛЯ АН СССР. 1960. Вып. 2. С. 144—148.

[11]РС. 1874. № 5. С. 198—200.

[12]Пушкин. Письма. 1935. Т. 3. С. 91.

[13]Вацуро, Гиллельсон. С. 318.

[14]Там же. С. 318—319.

[15]Давыдов. С. 138.

[16]РГВИА, ф. 194, д. 6, 19, 20, 21.

[17]Сочинения Д.В. Давыдова. М., 1860. Т. 1.

[18]Вацуро, Гиллельсон. С. 318.

[19]РГВИА, ф. 194, д. 16, л. 72—85 об.

[20]Сочинения Д.В. Давыдова. Т. 1. С. 3—6, 16.

[21]Пущин П.С. 13—14.

[22]Черейский. С. 297—298.

[23]Там же. С. 227—228.

[24]Там же. С. 107—108.

[25]Там же. С. 272—273.

[26]Там же. С. 162—163.

[27]Граббе. С. 8—9; Мануйлов, Модзалевский. С. 139—140.

[28]Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова. Пушкин. Птг., 1915. Т. VI. С. 475.

[29]Мануйлов, Модзалевский. С. 139, 162; Андроников И.Л. Лермонтов. М., 1951. С. 93—94.

[30]Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 236.

[31]Мейлах Б. Пушкин и его эпоха. М., 1958. С. 229—230.

[32]Кока Г. С. 22—23.

[33]Ефремов П.А. С. 363, 367.

[34]Современник. Т. IV. С. 298.

[35]РО ИРЛИ, ф. 309, № 706, л. 49.

Указатель имен*

* В указатель включены имена реальных исторических лиц из основного текста книги и Примечаний, кроме М.Б. Барклая де Толли.

ОГЛАВЛЕНИЕ

научное издание

ТАРТАКОВСКИЙ Андрей Григорьевич

НЕРАЗГАДАННЫЙ БАРКЛАЙ
ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ
1812 ГОДА

Редакторы *Н.Н. Матвеева, С.А. Левина*

Художественный редактор *Е.Д. Косырева*

Художник *Э.А. Марков*

Технический редактор *С.В. Светикова*

Корректор *Н.А. Кравченко*

Оператор *Г.А. Шестакова*

Оригинал-макет изготовлен
в издательстве «Высшая школа»

ЛР № 070787 от 16.12.92

Формат 84Х108 1/16. Гранитура Таймс. Печать офсетная.
Тираж 3000. Заказ № 4129

Издательство «Археографический центр»
тел. 245–83–55; Факс. 245–30–98

Отпечатано в Московской типографии № 2 РАН
121099, Москва Г-99, Шубинский пер. 6